

В е н и а м и н К о л ы х а л о в

Т О Т С А М Ы Й Я Р ...

Р о м а н

2010 – 2012

Томск – Академгородок

Литературно-художественное издание

Колыхалов Вениамин Анисимович

ТОТ САМЫЙ ЯР...

Р о м а н

Набор, верстка Тихонова Т.Ю.

Формат 84/108 ^{1/32} Бумага офсетная. Печать офсетная. Стр.

___ Тираж ___ экз. Издательство –

© Колыхалов Вен. А., 2012



Об авторе

Вениамин Анисимович Колыхалов – член Союза писателей СССР, России. Автор 33 книг, изданных в Москве, Сибири и на Дальнем Востоке.

Стихи, повести, рассказы, очерки публиковались в журналах «Наш современник», «Москва», «Новый мир», «Молодая гвардия», «Дружба», «Знамя», «Октябрь», «Смена», «Сибирские огни», «Дальний Восток» и в др.

Лауреат 5 литературных премий: три столичные, две областные.

Родился 8 апреля 1938 года в селе Кандин Бор Парабельского района Томской области.

Воспитанник Усть-Чижапского детского дома Каргасокского района.

В 1956 году окончил Томское Горнопромышленное училище № 1.

1958-1961 гг. – армейская служба в г. Владивостоке.

С 1962 г. – член Союза журналистов СССР.

В 1968 г. окончил Литературный институт им. Горького – Москва.

С 1976 г. – член Союза писателей СССР, России.

Работал грузчиком, монтажником-верхолазом на строительстве третьей очереди Томской ГРЭС-2, слесарем по ремонту промышленного оборудования, ассистентом кинооператора, корреспондентом различных газет.

По творческим командировкам ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, литературных журналов побывал на многих ударных стройках страны, во многих Союзных республиках, которые нынче принято называть б л и ж н и м з а р у б е ж ь е м.

Во всех своих произведениях поднимал на пьедестал Почёта и Уважения рабочего человека. Тема труда – главная магистральная тема. Герои моих рассказов, очерков, повестей – гидростроители, нефтяники, речники, лесорубы, геологи, хлеборобы... ветераны войны и труда.

Из всех наград особенно ценю медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». На Северах меня считают с в о и м : это выше всяких званий и наград...

Тот самый яр...

Роман

«Где народ – там и стон...»

Н.А. Некрасов

«Виделась в чёрном моя родина»

Иеромонах Роман

«...Отдохнём, товарищи, в тюрьме. Если вы еще не сидите,
то это не ваша заслуга, а наша недоработка...»

Ф.Э. Дзержинский

«В ЦК – цыкают, в ЧК – чикают»

Народная примета

«Кто охраняет – тот и волк»

Арабская пословица

Глава первая

1

У Великой Оби и Яры Великие.

После ледогона река металась – искала границы уведённого природой моря. Разлив у горизонта подныривал под синеву, увлекая её в рискованный путь.

Крутояры Оби редко выходят на смотрины...

Скорбела могучая река: её Колпашинская береговая крутизна была навечно опозорена багровой властью.

С незапамятных времён панорамный яр вызывал восхищение у Оби и небес.

После наглого и дерзкого переворота подкупленные б о л ь – ш е в и к и начали спешно разрабатывать чёрную жилу насилия и террора. В отвал сыпалась крепкая порода с ёмким названием н а р о д.

Сработал подстрекательский иностранный капитал.

Продажная клика властолюбцев, почитателей з о л о т о г о т е л ь ц а повела гнусную политику: началось планомерное уничтожение нации.

Ч и к и с т расстрельного взвода – коренастый Натан Воробьёв вышел на обрывистый песчано-глинистый берег, оглядел широкую пойменную затопь: поразило безграничное царство воды. Освежил мускулы резкими взмахами сильных рук.

Красному молодцу больше нравилось словцо ч и к и с т , чем пустынькое с т р е л о к . Офицеры госбезопасности НКВД часто козыряли крылатой фразой: в ЦК – цыкают, в ЧК – чикают. Птичка обрела крылышки, разлетелась по спецкомендатуре, Ярзоне шустрым воробышком.

В парне бродило напускное бесстрашие: его подогревал спиртной дух. В геенном деле невозможно обходиться без взбадривающей чарки. Градусы руке не помеха. Не мешали ловить в прорезь револьвера крупную плоскую мушку. Пуля безошибочно выбирала прямую короткого полёта до очередного черепа.

Утроба огромного яра гасила шумы, не давала улетучиваться запахам человеческой крови, хлорной извести и тлена.

В подземной бойне крутился конвейер смерти и несмываемого позора.

Нарымский новоявленный комсомолец оказался на водобое жизни и судьбы. Не успел опомниться – захомутали в органы, поуросить не дали. Начальники твердили: если мы не уничтожим ядовитое племя врагов революции, гидра расплодится, сожрёт нас вместе с потрохами. Никто не желал собственной гибели. О чужой рассусоливать не хотелось. У каждого была своя тройка: **н а г а н – п у л я – ч е р е п**. Клеймили позором того, кто делал промах с первого выстрела, у кого дрогнула рука и душа, кто не разил наповал **к о н т р у**. Издевались над слабаками, исходящими блевотиной, впадающими в истерику. На одного слабонервного, который лишился сознания, дружно помочились.

В подземелье останавливалось время. Оно рисковало выходить на свет божий, являть зловещий цвет.

Разветвлённые катакомбы удерживались от осыпи толстыми брёвнами, подпорными плахами. Между щелей струился песок веков.

От напускной весёлости стрелков веяло животным страхом содеянного. Порою весомая доза алкоголя не дурманила головы.

Тусклый боязливый свет электрических лампочек неохотно боролся с коренной темнотой напуганного яра. Ходы штолен разбегались в разные стороны. Повороты к Оби были короче: устрашала близость береговой крутизны.

С неошкуренного соснового накатника свешивалась кора. Виднелись траншейки, проточенные мохнатыми любителями древесной плоти.

Когда рушились на Оби толстые льдины, яр вместе со стихией переживал трепетную новь нахлынувшего половодья. Многотонная туша отвесного берега приветствовала весёлый настрой воды.

Изредка смелые плотные глыбы бесшабашно бросались в объятия Оби: она уносила отчаянную осыпь вместе со льдом.

Майское солнце вытащило из увесистой колоды счастливую карту весны: её радовал золотой туз. Казалось: в любом северном уголке нет захолустья. Везде кипело обновление, животворная радость оттаивающей синевы.

На берегу красовались рубленые в кержацкую лапу дома. Весёлые дымки из труб не казались траурными, как зимой. Плелись изнурённые, мечтающие о первой траве лошадёнки, натужно тащили гружёные телеги.

С приходом долгожданных, отмоленных у зимы майских деньков, в большом нарымском посёлке воцарилось оживление. Оттаял людской муравейник, зашевелился. Стал проворнее расползаться по улицам и переулкам.

Мимо длинного забора, грозного здания следственной тюрьмы НКВД проходили с опаской. Приглушали дыхание. Оглядывались по сторонам. Высокий заборище Ярзона не мог скрыть серую крышу с красными шишаками труб. Они грозили небу, всякому прохожему.

Колпашинская Ярзона была одним из многих островов смерти, разбросанных по необозримостям сибирских лагерных широт. Не посчастливилось занять в стране условных Советов настоящих рыцарей-заступников. Случалось: крестьяне с обрезами, топорами, вилами громили притеснителей. В тридцатые-сороковые годы парализованный страхом люд, словно сам лез в пасть неодолимого дракона.

Вождь, впавший в тупую философию террора, как в маразм, руками и гневом особистов душил любые зачатки свободомыслия, сопротивления.

Сюда, на крутобережье, свозили обречённых.

Комсомолец Натан Воробьёв смотрел на ходячие живые трупы цепкими глазами палача. Священное время жизни для них теперь ничего не значило. Оно укорачивалось с каждым неспешным шагом, с каждой выхлебанной чашкой зонной баланды.

Редкая улыбка скользнёт по лицу смертника да тут же погаснет обреченным огоньком.

Значок меткого ворошиловского стрелка сиял на груди Натана путеводной звездой. Незавидная судьба уводила комсомольца в песчаные лабиринты. Давала сносное жалованье, форму, беспощадный револьвер.

Обское поселение Колпашино растянулось широкими мехами заигранной гармонии. По численности населения, по избыточной разбросанности рабочий посёлок считался крупным. Имел в основном бревенчатый строй, охранялся дыдластыми трубами котельных. Под северными небесами посёлок жил шатко-валко, ничей чужой век не заедал. Не обижался, когда какой-нибудь равнодушный поселенец, ковыряя в зубах рыбьей косточкой, цедил сквозь прокуренные усы: «Колпашино – ни к селу, ни к городу, но очень расширенное...забазлает бычина на одном конце, на другом не услышишь...»

Доверчивая Обь кормила, поила поселян. Веселила в ледогон. Наводила грустишку в нудное предзимье.

Раскатистая сероватая вода торопилась в заполярные дали. Текучей вечной стихии всегда удавалось переплюнуть через Обскую губу, встретить океан разгонной силой кержацкого напора. Постоянная свобода передвижения была для Оби главной выигрышной чертой уживчивого характера. Коренная природа вольной жизни никак не вязалась с искусственной природой существования береговых жителей.

Время царской воды давненько миновало. Потекли воды осовеченные, с накипью гражданских войн,

крестьянских бунтов, со взмученными спецпереселенческими волнами. Широкий терпеливый тракт безропотно предоставлял путь пароходам, баржам, неводникам, обласкам. Белым и красным. Колчаковцам и спецотрядам, выгребаящим последний хлеб по кабальной продрозвёрстке.

При царизме в Нарымский край сплавливались сотнями. При советизме вместительные широкодонные баржи потащили в низовье многие тысячи окулаченных, расказаченных, обвинённых по злобным оговорам бесправных невольников. Смолокуры, пасечники, скотники, печники, счетоводы, пимокаты в проклятые годы массового огульного очернительства вмиг сделались в р а г а м и своего же народа, участниками надуманных контрреволюционных заговоров, подпольщиками, хотя глубже своего подпола с картошкой, соленьями такой мнимый отступник от закона не опускался.

Всё запечатлевала не стираемая веками память воды. Плёсовое информационное пространство воды и в Северном Ледовитом океане, и в вольных гуртах облаков останется неизменно постоянным. Забудутся продажные историки, задобренные жирным куском покладистые академики, переврут в пользу лжи ушлые политиканы, а вода сохранит горькую явь.

Великие стихии не убиенны, не подвластны лихорадке вранья и наживы.

Добросердечная Обь медленно, но неуклонно подкапывалась к ненавистой Ярзоне.

По-соседски с древней рекой жили и пески древности. Освобожденные от бесконечного утомительного стояния они со вздохом облегчения летели в долгожданные объятья воды. Подъярная глубина быстро проглатывала лакомый ломоть берега. Течение легко подхватывало бессмертный песок, тащило к новым отмелям, выстилало по дну.

Подписку о неразглашении государственной тайны слабовольный двадцатисемилетний чикист Натан Воробьёв сделал не в торжественной обстановке. Вместительный кабинет коменданта неохотно впустил растерянного сибиряка. Красная, местами прожжённая скатерть на двухтумбовом столе, увесистое мраморное пресс-папье, портрет Сталина с хитроватым прищуром всевидца. Задёрнутая однотонным шёлком служебная карта расположения Ярзоны хранила на стене тайну, упрятанную под материей цвета нескончаемого пожара. Вошедший догадался: под шёлком не шёлковый путь обречённых, не расписание дня приговорённых зонников.

Оробелый чикист вчитывался в слова, имеющие бесцеремонный зловещий смысл. Хватило ума выделить из всего чёткого набора: ЕСЛИ, ТО...ТО было короткой расплатой за ЕСЛИ. Расшифровки текста не требовалось.

И в этом кабинете хозяина спецкомендатуры тащилось роковое время для страны и нации.

После неизбежной подписи внезапно прошиб пот. Холодный лоб взмокрел. Натан почувствовал сбежку капель в одну крупную. Вовремя накрыв её ладонью, перехватил влагу страха, не позволив скатиться на твёрдый лист.

Комендант строго оценил замешательство побледневшего стрелка.

- Что-то непонятно?!
- Всё понятно...
- Вопросы есть?
- Никак нет...
- Ступай! Служи метко!.. Следующий!

Грузная бессонница продлевала время засыпания, вторгалась среди глубокой ночи. Прежде задумчивый

стрелок не обращал внимания на муторный запах портянок, табачно-спиртовой перегар, выплеснутый из глоток храпящих однозвонников. Формула юности л ё г – у с н у л действовала до подписания присяги безотказно, не нарушая здоровый закон природы.

Пробовал считать: цифирь бежала по ленте, напоминающей дорожку стадиона. Увлечётся – на сотни перейдёт, но бессонница всё равно торчит поплавком на глади подушки. Не клюнет сон, не утащит головушку в глубину ночи.

Время останавливалось. Его не существовало в границах суток. Часы вне закона. Секунды – отшельники. Пресное безвременье бессонницы изматывало, растворяло память в едком щёлоке бытия Ярзоны.

Спирт почти не давал облегчения. Хлебнёт дюжину глотков – глаза даже не подёрнутся влажной мутью. Заалеют щёки, очугунеют скулы, в кишках переполох от впущенного пала. Голова яснее неба майского... Вот поплыли невидимые облака, и еле слышные колокольца возвестили о приближающейся тройке... Вскоре кошева с расписными дугами растворится... вот зловещая ТРОЙКА взыграла набатными колоколами приговоров... Жутко становится в душе чикиста, приневоленного горластым комсомольским призывом. Выпитый спирт в кислоту превратится, опалит нутро разъедающей заразой.

Посмотрит утром в круглое карманное зеркальце, отведёт глаза цвета увядающих васильков. Проворчит тихо: «Мурло ты поганое... куда веслом загрёб?! Сраный стрелок ворошиловский!..»

Со стены тарашится всё тот же усатый отец народов. «Эх, видать, не родной ты нам батя...чё вытворяешь с семейкой огромной...или много кормильцев на Руси святой развелось, что их надо пускать в расход тысячами...»

Запоздало проклюнулся в душе кадрового стрелка зелёный росток совести... прорастал ясным пониманием жути творимого зла.

Сослуживцы стали замечать рассеянность, растерянность, испуг. Горбоносый сосед по казарменной территории спросил после ужина:

– Что приуныл, воробушек?

Безошибочный инстинкт скученного выживания давно подсказал Натану: ни перед кем не распаивай душу, не заметишь, когда наплюют в неё, нашвыряют грязи. На вопрос однозвонника буркнул равнодушно:

– Так...ничего...

Первую пулю из тайника ствола Воробьёв выпускал секунды три. На коротком расстоянии выстрела стоял обросший щетиной тщедушный мужичонка, учащённо дышал, покусывал запёкшиеся серые губы. Натана тошнило. Медлительность могла расцениться не в пользу новичка. Немым дрожащим пальцем нажал на спуск. Обмякшее тело подсеклось, рухнулось на колени. Стало заваливаться на песчаную подушку. Не дав отлежаться на ней, труповозы без раскачки забросили мертвеца на тачку, заляпанную глиной, хлоркой и кровью, покатали в боковушку тёмной штольни.

Массируя одеревенелый указательный палец, находясь в полубредовом состоянии, чикист первой крови спросил расстрельную службу:

– Куда попал?

– В десятку,- хихикнул верзила и харкнул на плаху настила.

Мысль о кошунстве вопроса придёт позже, когда, нажигая ладони, будет колотить по мячу на волейбольной площадке. Сюда приходили размяться, отвлечься от чёрных дум спецы огнестрельного действия. Резкие удары звучали выстрелами. Мячу до пулевой скорости было далеко. Он

злил чикистов со стажем: кожаный тугой снаряд никого не разил наповал.

- С почином, Натанушка!
- Отойди, Горбонос, пристукну!
- Воробей, а когти сокола...

Шлёпнув последний раз по мячу, наградив взглядом-плевком докучливого стрелка, побрёл за широкие ворота Ярзоны.

«Дубина! Вздумал с чем поздравлять...»

Слова лепились на языке. Раздосадованный Натан не озвучивал их.

Шагая утоптанной кромкой яра, рассеянно всматривался в раздолье воды. Солнечные зайчики играли на манящей глади. Смотрел на бесноватую пляску огоньков, шептал сердцу:

Выткался на озере алый свет зари...

Родниковая поэзия чародея слов струилась в молодом человеке постоянно, укрепляя границы не чёрствой души. Его обижало, что многие пытались вбить в стихи, в судьбу поэта аршинный гвоздище.

«Поторопились вынести необоснованный приговор... Жалкие потуги! Недолго продлится инквизиция запрета... такие стихотворения не умертвить, не накинуть на них петлю, не заглушить травой забвения... Никакая дикая тройка не вынесет поэзии Есенина беспощадную статью...»

Ни с кем не делился Натан чувствами приязни к лучевой лирике властелина душевных строф. Блок был для него малопонятен. Не трогала сердце уравновешенная, завуалированная стихия изложения. Чисто, ровно, гладко... звуки, исторгнутые смычком, не касались души. Рязанский лель из голосистой свирели исторгал звуки

волшебные, напускал радужные чары, окутывал сердце мелодичностью строк.

– Бессонница – не катастрофа,- успокоил парня тюремный врач. – Шепчи параграфы воинского устава. Перебирай все звания от солдата до генерала.

Предложенной пёстрой ерундистикой не занимался. Молитвенно пропускал через воспалённый мозг:

Отговорила роща золотая...

Не жалею, не зову, не плачу...

Вспыхивали в голове искры родных образов.

Ярзонная расстрельная обидённая не рубцевала память. Молодой служака, введённый во грех и порчу дерзким комсомолом, рано осознал трагизм происходящего. Пути к отступлению забаррикадировала присяга, науськивала подписка о повечном неразглашении тайны яра. Утаивались секреты про дырки в черепах, про глубокий выкоп в яру, куда валились с тачек трупы оклеветанных русичей. Послойно засыпанные песком, хлорной известью, они сами по себе становились негробовой тишиной, тайной из тайн.

В роковом подземелье стрелка тошнило. Постоянно испытывал головокружение, спазмы в груди. Однажды взволнованный очередной смертельной вахтой, подошёл к развёрстой ямине, осветил карманным фонариком глубь, мелеющую с каждым карательным днём. Нутро дохнуло застойным запахом тлена. Воробьёв вздрогнул, увидев торчащий из песка внушительный кулак. Значит чья-то пуля оказалась дурой, сразила не наповал приговорённого горемыку. Агония жизни-смерти выплеснула остатние силы для последнего проклятия комендатуре, следственной тюрьме НКВД, усатому неродному отцу.

Прислонённая к песчаному срезу штыковая лопата натолкнула на единственно верную мысль. Над посинелой уликой вскоре появился земляной холмик. Прислушался: из преисподней стон не доносился. Яма была доверху набита тягучей тишиной. Только настырный жук под корой недавно уложенной плахи доказывал древесине крепость упорных резцов.

Широкие сосновые плахи приглушали шаги. Выбредая из жуткой штольни, боялся задеть плечами крепёжные стойки. Сверху давил на них бревенчатый накатник, тянулись уверенной горизонталью такие же дюжие плахи со следами продольной пилы.

Спина особенно чувствовала текучий холод подземелья. Шагал, пережигая в сердце недавно увиденное на дне народной могилы. Правдоподобный кулак вырос до размера весистого молота. Вспомнилась увиденная в учебнике истории беспощадная палица.

Разгневанная шутовина, вобравшая последнюю силу ненависти, висела над головой литым грузом возмездия. Резким взмахом руки попытался отсечь кулачище: он не собирался покидать устойчивое грозное положение.

Перемигивались тусклые электрические лампочки, рассеивая по штольне обморочный свет. Зажмурился с отчаянной мускульной силой воспалённых бессонницей глаз. Дикая пляска искр в пространстве надлобья осветила крошечную синь.

Прозрев, увидел всё тот же почти квадратный окуляр, нацеленный на близкий выход из ямы смертников.

Мстительный синюшный кулак не смешался с точки зависания. Больной Натан наотмашь долбанул его плоским карманным фонариком: удар в неплоть потащил за собой тяжёлую руку.

Прилипчивое видение ощущалось взъерошенными волосами, стянутой кожей затылка.

– Дай выдерну седую волосинку.

Резкой отмашкой руки Воробьёв стукнул по холодным пальцам, собранным в щепоть.

Краснолицый сосед-кочник собрался отвесить обидчику подзатыльник. Жалкий вид незрелого чикиста не дал излиться гневу.

– Воробей, не вру. Глянь в зеркало.

– Не липни!

– Ну и видок у тебя, Натанушка. Утопленника со дня омота вытаскивал?

Одновзводник с клювастым носом выводил парня из душевного равновесия. Многие стрелки догадывались – Горбонос сексотит, поставляет офицерской верхушке подробные сведения из казарменной житухи.

Стукача не раз били. Некоторые заискивали с расчётом: авось, не выдаст, не шепнёт злопамятному коменданту о взводных грешках. В присутствии доносчика приходилось фильтровать слова через сетёнки мозговых извилин. Боялись толковать на острые политические темы, травить анекдоты, давать даже косвенные оценки происходящему на песчаной глубине.

Когда в одной из прожорливых печек Ярзоны сжигали выбракованные библиотечные книги, глазастый Натан тайком спрятал за голенище сапога книжечку стихов Есенина. Мягкая обложка измахрилась, от бледного текста стихотворений рябило в глазах. Портрет поэта с трубкой во рту был выполнен на серой бумаге, по которой, как занозы, разбежались не переваренные в бумагоделательном котле крошечные щепочки. Они разбежались по страницам болезненными прожилками.

Долго осторожничал Воробьёв, тайком перечитывая, заучивая трогательные стихи запрещённого рязанца. Недоумевал: почему душеспасительная лирика чародея на кого-то оказывает тлетворное влияние. Стоило ли

ограждать тот же расстрельный взвод Обской Ярзоны от возвышенных образов поэта, если на глазах меткачей подкашивались жизни и судьбы, не ограждённые спешными судами т р о е к. Где находилась грань, разделяющая стихи и свинец?

Пасмурным вечером Горбонос прихватил соседа за чтением любимого Серёги. Углубился в чтение, забыв про осторожность. Постигал философско-магический зачин стихотворения:

Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилища...

Что-то роковое, знаковое светилось в неразгаданном запеве. Погрузился в золотой водоём слов. Не существовало скученного казарменного прозябания, вьедливого стукача.

– Воробей, да ты высоко паришь... Дашь почитать запрещенца?

На лице, шее Натана не успела выступить сыпь страха. Округлил растерянные глаза, упёрся сверлящим взглядом в непрошибаемую фигуру.

– Устав превосходно знаю. В нём ничего не сказано о запрете на лирику славного русского поэта.

Спокойный, невозмутимый ответ озадачил Горбоноса, получившего в руки крупный козырь.

Разнокалиберные красноватые гнойники расселились на щеках, подбородке соседа. Натан старался не смотреть на лицо занудистого стрелка со странной фамилией Перебейнос.

Продолжил чтение стихотворения. Теперь слова мерцали в рассеянном свете текста, не укладывались в голове логичным порядком.

«Гад! Нарушил обряд постижения сути...»

– Спиртику хочешь? – предложил стукач бляющим голоском.

– Обойдусь.

– Есенин бы не отказался...

– Поздно ему предлагать... не дозовёшься... сон беспробудный...

– Доживи хулиганистый стихоплёт до наших жарких деньков – не избежал бы карательной пули. Таких чистить надо свинцовым скребком.

За оскорбление с т и х о п л ё т Воробьёв хотел звездануть болтуна в оттопыренное ухо. Еле-еле остудил бунтующую волю. Ворочая непослушным от гнева языком, процедил:

– У тебя сапоги грязные. Не гоже передовому служаке в таких ходить.

3

Потемневшая от времени засольня выросла в песчано-глинистый грунт свайными столбами. Кержаки-плотники рукомесло знали и ценили. Прежде чем вкапывать сосновые кряжистые стояки щедро смолили, ограждая от речной и небесной сыри. Пол засольного цеха серебрился от рыбьей чешуи, от раздавленных пузырей. Вместительные бочки не пропускали рассол между плотно подогнанных клёпок. Бондари-умельцы не допускали огрехов. Их весело поющие фуганки вели нужный скос. Стянутые воедино тугими обручами кедровые дощечки притискивались плотненько, надёжно.

Пухлощёкая завлекуха Прасковья Саиспаева считалась в засольне лучшей обработчицей рыбы. Охрипшие от паров соли товарки редко величали её полным коренным именем, раскусили наполовину. «Праска, тащи

соль!», «Взвой песню, Праска!», «Язи в бочках грустят – возвесели!».

Добродушная Прасковья не обижалась на окрики подруг даже тогда, когда они сокращали её растянутое имя до Пра. Нравится откусывать от вкусного пирога по кусочку – на здоровье. В ней кипела русско-остяцкая кровь, пузырилась весёлость. Её премировывали платками, гребёнками, марлевым пологом, иглицей для вязания сетей. Получит в трудовую награду пятёрочку смятую – не обойдет стороной «завинную» лавку «Центроспирта». Соберёт подружек в старой хибаре – песни шире Оби разливаются.

– Раз живём, ведьмы мои хорошие. Чего вялыми карасями по юности плыть... Айда на танцы. Сегодня гармонист Тимур ради меня припрётся.

– Праска, да мы же весь клуб рыбьим жиром обвоняем.

– Пусть нюхают трудовой душок. Сами не одним обским духом питаются. Я на вас флакон одеколona вылью.

– А сама?

– Горжусь запахом засольни... Кому влюбиться – не будет тело шмонать. Есть чутьё – нюхом меховой клад найдёт.

Разбитной Прасковье интересно наблюдать за растерянными засольщицами. Пёрышки чистить принялись. Разгорячённые вином в клуб засобирались. Поправляли волосы. Одёргивали платья, блузки. Заглядывали в тусклое надтреснутое зеркало над оловянным умывальником.

– Давай декалон, рыбий дух перешибём.

Улыбистой девахе не трудно отговорить товарок.

– Ведьмы, отбой! Выворачивайте карманы. С миру по рублику – невинной лавке доход.

Удивлённые подруги тарашат глаза, не верят подруге.

Не наскребли капиталу на очередную бутылочку.

Пляшут хитринки в карих раскосых глазах Праски. На ладони пузатенький флакон с зеленоватой огненной жидкостью.

– Знаете, почему одеколон тройным называется?

– Неа.

– Его запрещается единолично пить. На троих, пятерых – не возбраняется... И то. Чего шкуру ублажать, если кишки наодеколонить можно.

Ведьмарки давятся смехом, не принимают на веру гладенькие словечки завлекухи. Слышали: догадливые нарымцы не брезгают ароматными градусами. «Тройник», «шипрец» у них на почётном горловом счету.

– Пра, неуж внутрь одеколонилась ?

– Глупый вопросец. Разведи с водой до молочного цвета, опусти чесночину и через соломинку высоси напиток. Для заедки вяленый чебак сгодится.

Ликбез по «тройнику» закончился хайластыми песнями.

Северная неотступная ночь по цвету разведённого одеколona. Налипла на окна нарымская бель. Тьма с ватой расправится не скоро.

В избушке Саиспаева не дымокурит. Комарья залётного набралось – горстями лови. На окнах, на стенах, на потолке кровососы упитанные. Захмелели от молодой кровушки, не шевелятся.

Тимуровскую голосистую гармошку услышала первой чуткая Праска.

– Девоньки, танцы сами плывут к нам. Слышите?

Напрягают слух подруги – не улавливают музыку. Трудливые ходики в простенке мелко дробят заоконную тишь.

– Тетери, неужели гармонь уловить не можете?

– Надо родиться со слухом рыси, – ответила за всех весовщица Сонечка, застенчивая барышня с целомудренным взглядом, пухлыми пунцовыми губами.

– Мне слух от тяти - охотника достался, – гордится Праска. – Цокнет белка на расстоянии ружейного выстрела – промысловик лайке выговор делает: чего уши развесила? Беги! Ищи! Облаивай!

Ясные чистые звуки зазывной музыки долетели и до тетерь.

– Не вздумайте удирать, когда хахаль ввалится. Танцевать до упада!.. Никого не ревную. Ваша засольщица по таким игральщикам не сохнет.

Соня облизнулась: кончик языка, сверкнув красным огоньком, молниеносно скрылся. Тимур – симпатяга. С гармонистом она не прочь сойтись в чистой дружбе... о запретном можно помечтать, когда дело к свадьбе покатится.

Страшновато взволнованной Сонечке вспугивать в голове неоперённые слова. Вдруг Прасковья остяцким нюхом учует мечты, догадается о её сердечной тайне. С хитрой красивой девахой осторожничать надо. У смуглой лисы с Тимуром давно шуры-муры... Говорят – впритык с ним живёт... Ишь, какой хитрый шахматный ход придумала: не разбегайтесь, она по гармонисту не сохнет... Попробуй иссуши полуостячку. И какая печка выпекла пышку?!

Разомлела Соня от тайных дум, светлая слюнка накатила на уголок набухших нецелованных губ.

Гармонь все ближе. Всё задористее льётся волна зачарованных звуков.

Праска сквозь стену видит самодовольную мордашу игреца. Упьётся мелодиями, голову набок склонит. Глаза смелые, бесстыжие не закрывает. Мало ли что на пыльной улице под ноги подвернётся: коровья лепёха, конский

котях, выброшенный перекисший огурец. Шустрые пальцы ладами заняты, льют звуки. Идёт, отдувает комаров, мошку жарким дыхом.

Гирька часов-ходиков упёрлась в некрашенный сундук. Время остановилось на июньской полночи. Никто не заметил остановку стрелок, омертвления маятника. Всех захватила удаль мелодий за окнами. Звуковая радость внезапно оборвалась, словно по мехам трёхрядки полоснули бритвенно отточенным ножом. Так болезненно-резко Тимур никогда не обрывал игру.

Почувствовав неладное, Прасковья выбежала в сенцы, спрыгнула с невысокого крылечка. До калитки добежала за несколько сильных прыжков.

Слева у изгороди росла вечно бездомная кустистая крапива. Над ней нависала ледащая рябина, обожженная два лета назад шальной июльской молнией. Всё собирались спилить её, да жалели: авось оклемается от ожога и порадует вновь пышными гроздьями. Под злосчастной рябиной, ухватившись за ствол, стоял растерянный гармонист.

– Тимурка, милый, что с тобой?

Подбежали подруги. От слуха Сонечки не ускользнуло знаковое словцо влюблённых. Праска назвала хахалю милым... ишь, приставленка какая! За столом разыгрывала из себя не сохнущую по гармонисту кралю...

Парень не походил на опьяненного вином и любовью. Не успел застегнуть на ремешок испуганную гармошку. Задышливо шипели меха.

– Вот, девочки, какие гостинцы летают по колпашинским улицам.

Показывая вытащенную из правого бока стрелу, недоуменный Тимур широко улыбался:

– Будем надеяться – зверюга не отравленная. Иначе хана плотнику.

Разглядывая самодельную стрелу с острым окровавленным наконечником, Саиспаева спросила:

– Кто пулянул?

– Беззвучно прилетела. Сочно вонзилась... Осмотрелся – никого вокруг. Из засады били.

– Пойдем в избу, рану обработаю.

– Спасибо. Успел соком подорожника обойтись... пройдёт.

Тимур незаметно пожал руку любимой: по телу Праски проструился скрытый свет. Гармонист собрал воедино меха, заученно коснулся ладов. Заиграл под чистый звучный запев: «Очи чёрные, очи жгучие...»

В приглушённой темноте северной ночи проглядывалась цыганская смуглота разудалого парня. Волосы пышные, курчавые, точно кто-то до этого накрутил их на головешке.

Засольщицы по домам засобирались. Тимур остановил властным голосом:

– Гуляем до утра!

Ухватив белейшими зубами ушко металлического колпачка, сдёрнул его с бутылки спирта. Налил на ладонь, приложил жидкий огонь к ране.

– Сразу не сообразил. Полная дезинфекция.

За ночные похождения гуляку и дебошира штрафовала колпашинская охранная власть. Дважды забирали в комендатуру. Заставляли нести принудительную повинность на столярных и плотницких работах. Выйдя из ворот Ярзоны, Тимур зло отсмаркивался, смачно отплёвывался. Шёл домой и острил топор. Ему втолковывали: строим овощехранилище. Плотник кривил улыбку. «Заливайте мозги кому другому... У меня репа не гнилая. Башка соображает, что к чему».

Вместительный выкоп для трупов рыли без него. Не видел плотник и главную расстрельную штольню.

Ему не по себе становилось в зловещей обстановке комендатуры, следственной тюрьмы. Всегда спешил на Обь. Долго плывал в очистительных водах. Видел угрюмые пузатые баржи, супротив желания плывущие в низовье. Не мог не отметить сообразительный парень: на черных баржах груза нет, а осадка большая. Поделился догадкой с отцом.

– Верно, сынок, мыслишь. Трюмы забиты живым грузом... Читаешь газеты, знаешь, какой бардак в стране творится. Есть закон «о трёх колосках». Раньше хватали в поле, на зернотоках, если за голенища чирков, в карманы зерна насыпал. Сейчас найдут за пазухой хоть три злака – тюряга обеспечена. Наверняка, в тех баржах и «трёхколосковые» плывут... Бывая в комендатуре – языком не чеши. Сам знаешь – какие нынче опричники.

– Отец, не цацкаться же с врагами народа.

– Кто враги? Люд ишачливый? Он не о заговорах думает, мечтает. О хлебе насущном. О сене для коровёнки. О сетях добычливых... Ты вот что, мудрец, хватит спиртяжить, разбойной гармошкой ночь пугать. Хватайся за ум всей башкой. У тебя пока пурга в извилинах гуляет.

Втолковывает Никодим Савельевич бесшабашному сынку крепкие житейские истины, видит его хитрые прищуренные глаза. Соображает: красивого лешего ничем не пробьёшь.

Приехал из недалней деревни Заполье погостить денька три. Раньше смотается к хлеву, огороду, черномазой кузнице. Накрыла раскулацкая глыба приобское сельбище. Гуртила народец в артель. Кол-хоз. Забили по крепкому дрыну почти в каждое хозяйство. Никодим Савельевич оглобли в единоличники развернул. Сейчас бы в две тяги с сыном земельку плужили, соснячок пластали, да бесноватый Тимур в Колпашино перебрался. Руки у него не

позолоченные – из жильного металла отлиты. Такой по плотницкому ремеслу в хозяйстве позарез нужен. Кол-хоз грозитя покос отобрать, пашенку урезать. К личной кузнице подступился. Багет артельный главарёк: сдавай, Никодим, кузню добровольно – силом возьмём... Вступишь в колхоз – всё твоё. Почётом осыпем. Трудоднями зальём. В день по две палочки будем проставлять в учётном листке.

Утешили богатыря Никодима – две палочки посулили. Ты мне живые денежки плати, мукой-сахаром рассчитывайся за силушку кузнецкую, усердный молот, стойкую наковальню... палочек сам нарублю. Тайгу в колхоз не загонишь. Будет дровишками снабжать, сосняком строительным...

Хочется Никодиму озвучить старую песню о возвращении в отчий дом.

Знает – Тимур мозолистой клешней отмахнётся. Всяко подъезжал к отступнику, убедительные слова в душу сыпал. Стоит чертёныш на своём. Хлебнул поселковой волюшки, девок под гармошку собрал. Неспроста, ох, неспроста в комендатуру таскают... Отец царцины хватил. Такого похозяйственного разбоя отродясь не видел. О властях и толковать нечего. Лютуют органы страшнее зверей разъяренных. Проходят особисты по колпашинским улицам – гроза грозой. Глаза двухствольные так и целятся в тебя... Уезжать надо скорее в деревню. Там под приглядом небес и Господа легче живётся...

В Никодима природа влила три силы.

«Экой детинушка!» – восхищалась при встрече с ним деревенская травница Фунтиха и осеняла себя мелким крестом.

Однажды на таёжной тропе повстречался кузнец с матёрым медведем. На поясе нож острый охотничий, силач и не подумал о нём. Поднял ядреный кулачище, погрозил

царю тайги. Миша с родной тропы сворачивать не хочет. Никодим тоже. Зверь остановился неподалёку от упрямца, сверкнул от досады глазами и в левую сторону по мху заторопился.

«Гляди мне, увалень лохматый», – хохотнул смельчак и зашагал спокойно по той же извилистой тропке проверять поставленные на глухарей ловушки-слопцы.

В застолье больше кружки самогона не выпивал. Боялся захмелеть, в драку ввязаться, пристукнуть кого-нибудь ненароком шерстистой палицей.

По глубокой осени, когда морозы сахарили пожухлую траву на деревенской улице, на Никодима надвинулся чёрный бычина. Прошёл бы спокойно дуралей, не задира кузнеца, так нет – за ровню посчитал. Попёр на тихого Муромца увесистой тушей, рогами бодливыми закрутил. Савельич в империалистическую войну не плошал, от немца никогда не бегал. Удирать от рогатого деревенца смелость и комплекция не позволяли. Ухватил разбойника за рога, остопорил: «Ты что-то хотел мне сказать?!»

Мычит бугай, слов не разобрать. Заломил ему башку и шею, повалил в осеннюю грязь. Дрыгает коровий кавалер ногами, хвостом по чёрной сыри колотит. Не может подняться.

Развернул быка-производителя в сторону скотного двора. Опустив рога, наградил увесистым пинком. Ошарашенный происшедшим бугаина медленно поднялся, покачиваясь, поплёлся восвояси. В ноздрях у рогатой животины кольцо. Ухватишься за него – боль причинишь красавцу.

Кузнец не собирался давить на болевые точки четырёхкопытного земляка. Продолжил прерванный путь, ворча под нос: «Возись тут с тобой... соплями леший измазал».

Под стать себе Никодим жену отыскал. Три деревни исходил, пока не встретил на овине грудастую крутоплечую деваху. Грузила мешки с пшеницей на телегу с лёгкостью перебрасываемых снопов. Стал рядом, залюбовался бабьим напором.

«Замужем»?

«Возьмёшь, так буду». Отсмеялась разухабисто, сверкнув простоквашными зубами. Так и озарила сердце кузнеца вспыхнувшей белизной.

Помог догрузить телегу. Хватал мешки, как пацанят за шкирку, даже на могучие плечи не вскидывал.

Долго кочевряжилась мать, не желая отпустить Соломониду в чужую даль. Доча отбросила крышку массивного сундука. Вышвыривала мятые платья, кофты, новые глянцевого галоши. Узел увязывала сноровисто, будто век ждала счастливого часа.

Растерянная матушка таращила на невозмутимого врага испуганные глазищи, пристроив на животе скрещенные руки.

«Разве так деется?! Не походили, не подружили и облюбились... Налетел вороном, заклевал мою кровинушку...»

Ворон переминался у двери, выковыривая кончиком языка застрявшую меж зубов мясную крошку. В дороге копчёным мясом питался, свежими огурцами. Попадались на заедочку черника, голубица.

«Ты, матушка, не стони, – успокаивал Ворон. – Не за одну мощь телесную беру дорожку твою в жёны. Увидел её – от силы бабьей, от красоты обмяк».

«Какая красота! На лице шильями ковыряли... Глуховата. Храпит – пятистенок шатается... Матерьялу на платья не напокупаешься... Такую двухобхватную перину одеть-обуть чего стоит...»

За большие деньги сторговал Никодим каурого жеребца. Купил новую телегу. Поплыли по осенней грязи жених и невеста не первой молодости.

В неблизком пути телега проваливалась в глубокие рытвины. Сила лошадиная плошала, копытила холодную грязь, разбрызгивая жижу.

«Сиди, Соломонида, один справлюсь».

Поднажмёт двухпудовым плечом, пошипит, позлится под ступицами грязюка. Глядь – телега на свободе.

В весёлом соснячке на беломошнике тесную свадебку справили. Блажили в любовном экстазе, будто их медведь задирает накануне воздвиженья.

Поменяв хлев на хлев, Соломонида не растерялась, не опозорила бабью приспособленную силу. Мычит под нос песенки, благодарственно на кузнеца смотрит.

Хозяйский двор можно оставить Соломониде на день и на год. В работе лютая. Смолёвые жилы не порвёшь. Делает всё неторопко, основательно, надёжно.

Отправляя мужа в Колпашино, сказала:

– Живи у сына, сколько карман позволит.

– Не тратчик на хмелёжника.

– Поласковее с ним, понежнее. Скажи: хватит кобелиться в Колпашине – у нас деревенских мокрощёлок хватает. Столько девок на выданье, а он сбежал, самую певучую гармошку перебазировал.

Бессилен отец отговорить Тимура от вина и девок. Эту недогнутую подковину не ухватить клещами, не положить на звонкую наковальню. По ранней молодости пробовал кулаком вразумлять, плетё в помощницы призывал. Терпел Тимурка кругленький годок. Ухватил у ворот кусучую кожаную змеину, на руку намотал. Дёрнул – кнутовище из сильной пятерки вырвал. Уловил отец в глазах

неуступчивого чада звериный зырк, поостерёгся продолжать расправу.

Считает кузнец: сердобольная Соломонида разбаловала любимчика... поласковее с ним, понежнее... Разнежила, рассолодила парня. Горой на защиту встает – не подступись.

Связать, увезти в деревню силком, кляп в рот. Так он все верёвки в дороге измахрит, затычку сжуёт. Боится нарымец кол-хоза, комендатуры: два пружинных капкана поставлены. Не клацнули бы их нержавые пружины, не раздробили свободу.

Чертовщият наглые власти, дыхнуть не дают. Снуют по дворам речистые уговорщики, клонят труд на общую пашню. В один навозный двор скотину гуртят. Со всех сторон обкатывал Никодим Селивёрстов главную тему: вот придёт конец войне гражданской-двухцветной – миром пахнёт, свободой, спокойем. Нарубились беляки с красняками. Вся Рассеюшка в шрамах, крови. Попробовали сибиряки в двадцать первом годе топорами да пиками отмахаться. Восстали супротив антихриста – силушки не те. Разметали ишимских, сургутских, тобольских, иных супротивников. Повстанцев в болотах топили. На верёвочных вожжах вешали. Раскачав, швыряли на зубья распластанных борон. Бурлила благородная злоба людская, выплёскивалась погромами, разбойной расправой. Междоусобицу в ранг классовой бойни возвели. Людешки сивые чего добились? Из батраков в батраки переползли. Закулачили тех, чьи пупы от трудов трещали, хоть заклёпками их скрепляй во спасение живота своего...

Перетирает Никодим – бывший пехотец ротный – в чугунной голове камешки дум. Вздохнёт – грудь кузничными мехами заходит. Всяко подступает к большевицкому лиху. По всем статьям голимый обман выходит. Опять обошли бесправных мужиков ублюбочные

царьки жизни. Понатыкали комендатур даже там, где рассыпали хвойный дух смолокуренные заводошники. За самокрутками под комариный писк крутыми словами костерит мужичьё неправые порядки. Мать-перемать судьбу не перешибёт, но исхлестать может. Надо душу из черноты бытия вывести, расцветить тягучими жалобами.

Рассекла доля отца и отпрыска. Бурлит заварушное времечко, на водобое не остановится. В кузнице помощник нужен. Кого со стороны возьмёшь? Тимур смешками отделяется: «У меня от дикой пляски молота, от жары штырь в штанах окалиной покрывается...»

Вот так: ковал-ковал Никодим подковы, на счастье ни одна поделка не сгодилась. Много конниц в сталь обул, скрепил гвоздями самоковочными... Деревенцы пасутся у звонкой избушонки: зубья, рессоры, гайки, болты, сошники нужны. Отказа нет. Кто мёдом, кто лосятиной, кто собольками рассчитается. Иной заказчик на покосе денёк-два попластается, поставленным стожком расчётец произведёт.

– Тимурка, Богом прошу: заканчивай скорее сивушную канитель. Не зли по ночам зазывными звуками нарымских трудовиков... Напластаются за день, в сон войдут, а ты чертоломишь басами... А ссыльникам какво? Свободу у них отняли, ты тишину из ночи вырываешь.

– Стареешь, батя. Сам молодость вспоминал. Пощупки. Вечёрки. Не менее меня куролесил. Оглобли через колено ломал. Подолы девкам заголял. Столбы воротные расшатывал.

– Дураком был. Силушка пёрла, из тела выламывалась.

– Дай и мне надурачиться.

Вот так обычно заканчивалась пустая пережатка слов. Никодим сознавал: не силён в семейной переговорице. Не находил в убеждениях той силы власти, какую имел над

металлом. Вроде способен раскалить в голове словечки. Дойдёт доковки – не поддаются – окалина сыплется.

Вернулся в деревню мрачнее предзимней тучи. Соломонида подступилась с расспросами. Отмахнулся, как от осы.

– Из артели три раза приходили... работ кузнечных накопилось.

Молчит единоличник, пудовые кулаки опустил. Для какого взвешивания ошрамленные пудовики? Личное хозяйство всегда перетянет. Стоношили наскоро косопузый колхозишко. Пусть выкручиваются, новую кузню строят.

Не поев, в порабощенном состоянии духа, отправился в чёрную колокольню. Наковальня-колокол стосковалась, укорно посмотрела на звонаря.

– Не пяль шары, не пяль... всё бы гремела на весь белый свет, петухов заглушала.

Сейчас Никодим Селивёрстов чувствовал себя рассечённым надвое острой косой. Умел отбивать и затачивать литовочки до бритвенной пригодности. Лупани с сабельной силой – головушку с плеч ссечёшь.

Навязанная артельщина висела над тяжёлой головой такой отточенной размахайной сталью. Кузнец ощущал её блеск и разгневанную нависшую мощь.

Неожиданно явился рассыльный – тонкогубый, красноухий малый. Рот настежь, кривая оскальная улыбка на немытой рожице.

– Нико-дым, дык тебя в конторь зовут.

Оглядел широким раскидом хитреньких глаз кузню, попытался гайку стырить.

– Положи на место, она без резьбы.

– Дык на грузло пойдёт, – невозмутимо отчеканил парнишонок, ковыряя грязным пальнем в приплюснутой ноздре.

Деревенского полудурка наградили прилипчивой кличкой Оскал. Щерился часто, выставляя напоказ кривые зубёнки.

– Дык, пойдёшь в конторь?

– Не успели кол-хоз сгношить – конторой обзавелись, – отворчался Никодим. – Скажи преду – придёт, мол, кузнец вечером. Сейчас работой завален.

Второй раз послали за упрямцем. Рассыльный принёс записку, нацарапанную на берёсте химическим карандашом. После того, как недоумок высморкался в серую бумажную записку, ему стали царапать артельные писульки на клочках берёсты. Попробовал Оскал выжать мокреть из носа – ноздрю расцарапал.

Прочитал насупленный кузнец у л ь т и м а т – берестинку в огонь швырнул. Обрадованный горн за два жевка слопал белую пищу.

После обеда заявился Сам. Остановился у проёма двери, поманил кузнечных дел мастера пальцем, согнутым в вопрос. Проорал, заглушая цокающий говор молотка:

– Выходь! Разговор есть.

Невозмутимо доковав зуб бороны, Никодим бросил его в кадушку. Мутная вода отозвалась злым шипением.

Однодеревенец Селивёрстов не подавал руки новоиспеченному артельному верховоду. Пару лет назад в листовою пору прихватил Никодим неказистого мужичонку у слопца, поставленного на брусничнике. Вытащил глухаря, принялся вновь настораживать ловушку. Уличённый в краже, стал заикасто оправдываться: «Соббирался теббе глухаря отнесли... рыси достался бы...»

Чутьё добычливого охотника никогда не подводило.

Шел и сквозь таёжную дебрину видел краснобрового красавца под тяжёлым бревном. Он-то не опоздает, не даст обхитрить рыси. Верил Никодим коренным охотникам-остякам: не раз

уличали хитреца, выпадающего из штанов, в таёжном крохоборстве. Учили по-свойски: в бражном хмелю голой задницей на муравейник садили, держали за плечи потрошителя ловушек.

Вот кто нынче приказы пишет, в конторь вызывает.

Кузнец перешагнул порожек, плечистой фигурой весь дверной проём затмил. От такого росляка свет белый поубавился.

– Н-ну! – встав в начальственную позу, просипел Сам.

– Сани гну.

– Как с властью разговариваешь?!

– Кто власть – ты? Пуп от хохота развяжется.

– Душком единоличника всю деревню окурил.

– Мой душок артельную вонь не перешибёт.

– За такие словечки прижмём тебе хвостище. У меня в органах свояк служит. Шепну ему – кузнице рукой помашешь.

– Не кукарекай! И в органах жрать хотят, к деревне на прокорм набиваются. Был недавно в Колпашино. Сытые-холёные служаки у комендатуры шныряют. У каждого ремень через пузень.

– Не минуешь обчего хозяйства. Сам позабочусь.

– Земле и то не всё равно, под чей плуг ложиться. Человеку надо долго мозговать, под чьей властью в борозду переть... Не клони к артельщине – ничего не выйдет.

– Тебя горн пережёт.

– Закалил меня горн. Наковальня силушку влила.

– Супротив соци-лизма плывёшь. Против этого напора никто не устоит.

– Выдержу. Неуставную артель организую. Посмотрим – чей труд слаще будет.

– Ту пустошь, что распахал три года назад, под колхозную пашню берём. Правление «за».

Лошадиная дрожь прокатилась по телу Никодима. Польшнул взглядом.

– Кого защищал в гражданскую войну?! Оказалось – бандитскую власть на престол возводил... Поздно прозрел...

Намотав на тощий рыжий ус сказанное, Евграф пустил в ход другой колодный козырь:

– Покос твой заберём. Нам масштабы лугов нужны. Хватит юзгаться на клочках.

– Зря не прибил тебя у слопца. Тогда чужой глухарятинкой хотел поживиться. Сейчас пашни да покосы к рукам прибираешь.

– Недоказуемо про птицу – глухаря.

– Все знают, какая ты птица. Не коренной нарымчанин – пришлый. Иначе уважал бы законы сибирских поселенцев. Твой отец конокрадом был. За страшную пакостливость оглоблей учен.

– Недоказуемо! Батя, царство ему небесное, от рук озлобленных извергов пал.

– Что еще собираешься выкрасть у меня под флагом соци-лизма? Опись составил?

Посмотрел Евграф завистливыми глазами на кузню, ядовито на раскалённого обидой единоличника. Поддёрнул синие шевиотовые галифе. Просипел:

– Пробьёт час – кузницу отыдем.

4

В верховье Оби на отстой шел последний грузопассажирский пароход. Осев по ватерлинию от бочек с рыбой, ягодой, грибами, от мешков с кедровыми орехами, плотных пучков клёпки, он полз против течения усталой черепахой.

Скоро могучая сибирская река вздрогнет от судороги первых морозов. Пароход уползал в спокойный затон под

Томском. Двухколёсное чудище, изнурённое за навигационный срок, мерилось силой с разгонным плёсом. С кержацкой настырностью бодалось с накатной мощью вспененных волн.

Неделю назад ясным погожим днём вклинивались в разреженную синь стаи гусей и лебедей. Природа подсказала им день отплытия в сторону спасительного юга. Их прощальный надрывный стон щемил сердца людей, оставленных на вечное изнурение Сибири: стужей, гнусом тайги и болот, двуногим гнусом начальства. Злопамятный неродной отец народов когда-то сам немного похлебал нарымской мурцовки. Теперь немалыми тысячами сгонял сюда для суровой испытки нации репрессированных трудармейцев, деклассированные элементы, осуждённых по раскулацким статьям.

Из тюрьмы без стен легче спроворить побег. В счастливицах почему-то оказывалась самая крупная дичь самой разбойной стаи.

Особист Сергей Горелов из Колпашинской комендатуры насквозь видел время, прочувствовал историю огромной страны. Учебники укладывали происходящие события подозрительно гладкими и удобными блоками. Реальная жизнь протекала по каменистому руслу. На порогах разбивалось множество судеб. По главным законам человеческого развития пролетариату, крестьянству, интеллигенции полагалось выжить, оставить потомство. Счастье должно давать радужные цвета. Но по разворощенным городам и весям текла чернота и свинцовая гнусь.

На крутом пороге природы скоро остановится новая зима, зыркнет вокруг строгими всевидящими глазами. Первая же метель начнёт выдувать из рассудительной головы сбережённые за лето успокоительные мысли... Ненавистна обстановка комендатуры, вся порочная система

инквизиционных гонений, расправ. Свинцовый пулеворот вербует новые жертвы. Выход один – глубокий песчаный могильник. Братской могилой ту шахту не назовёшь. Не рвутся приводные ремни убийственной системы. Приговорённым не остаётся шанса. Суд скорый, беспощадный. Подписанную т р о й к о й бумагу несут в горячий расстрельный цех.

В Томском государственном университете студент Горелов усердно штудировал кровавую историю Отечества. Трагедия эпох на лекциях, профессорское заведомое враньё не вливали в ум книжный свет. Ложные постулаты разбивались ещё на стадии поглощения хроники недавней жуткой действительности. При царе закабалённое крестьянство выломилось из-под ига крепостничества. В полное безумство ввёл нацию ядовитый спланированный переворот сумбурного семнадцатого года. Кучка громил, достигшая политического Олимпа террором, цинизмом, ложью, выдавала ошеломлённое действие за пролетарскую революцию. За какой народ пеклись они – подкупленные западом ублюдки, разбойно внедрённые на престол. Дождались падальщики растерзанного состояния Отечества. На кров ушку, на золотишко потянуло.

Проигрыш в русско-японской войне, отречение от шаткой власти последнего паря из романовской династии усугубили положение. Две свалившиеся стратегические ошибки пошатнули не только трон, но и отечественную историю. Авантюризму положения способствовала террористическая свора, именуемая п л а м е н н ы м и р е в о л ю ц и о н е р а м и ...

Малограмотному люду трудно было разобраться в патовой ситуации. В привычных кулачных боях стенка на стенку ясно всё: кого бить, какими запрещёнными приёмами нельзя пользоваться. Разберись тут в путанице б е л ы е – к р а с н ы е. Кровь одного колера, выпускать её из

жил никому не охота. Силком пихали в руки трёхлинейку, вилы: иди, убей врага! А враг-то кто? Сопливый Филька-пастух, переметнувшийся с недосыпа и с перепоя в лагерь Колчака. Или Федот Сапожников, спрятавший последнее зерно для прокорма семерых полураздетых отпрысков.

С чужеземными врагами достойно биться. Побейся вот со своеземными, многие из которых дальней родней приходится. Есть крупорушка, коровёнка базлает в хлеву – на примете у дурноглазой власти будешь. Припомнят, как три сенокоса назад мужика на подсобу брал. Не возьмут во внимание, что сполна рассчитался с ним деньгами, мукой, сапогами новыми. Вот так замели в деревне отца Сергея Горелова. Окрестили я р ы м п о д к у л а ч н и к о м. Обложили налогами непосильными. Обобраз, словно липку, турнули в глушь таёжную по гневной статье. Этот бой кулачный вёлся без всяких правил, хоть дубиной по голове бей. Сыну-комсомольцу в укор поставили дело отца. Сказали: иди, замаливай за родителя грехи тяжкие, служи честно в органах госбезопасности. Образование высшее. Чего не поймёшь – старшие дотумкают, подскажут. Скоренько в историческом моменте разберёшься.

Разбирается, лопатит комендатурскую грязь. Приказами строгими опутан. Секретности на пять государств хватит.

Разозлённая Прасковья зацепила стрелка Натана вопросом – отточенным самоловом:

– Стрела в Тимура – твоя мерзость?

– Да ты... да что ты...

Чекист не помедлил с ответом, не спросил: какая стрела? Выдал себя с потрохами.

– Ревнивец паршивый! Не тебе кататься на молодухе – горка крутая... Озверел в комендатуре.

Забурлила обида. Выплеснулась ревность:

– Пусть отвалит от тебя деревенщина! – Хотел выпалить: а то и до пули допрыгается. Вовремя набросил замочек на длинный язык.

Впервые пожалел, что не владеет тайнозвучной гармошкой. Даже скрежеток зубовный во рту прокатился. Его рязанский любимец тоже не расставался с трёхрядкой. Сгонял деревенских мокрощелок на стёжку любви.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.
Эх, гармошка смерть-отрава...

Отравил Тимур жизнь нарымца... Праска – деваха-помесь. Будь она чистых сибирских кровей – не составило бы труда охомутать охочую девку... Примешалась остяцкая рыба кровь – вот и юлит плотица. Отыскала омуток под боком плотника.

Саиспаева впервые посмотрела на привязчивого ухажёра с боязнью сердца. Усыплял её на крутояре благозвучными стихами, а сам что вытворил... может и не он... Надо подальше держаться от служки комендатурской... Её слегка приплюснутый нос уловил запах людской крови и смрадного подземелья.

В метиске разгорался огонь крови. Когда её обзывали полукровкой – расщеливала узинки бесстыжих глаз, хохотала в лицо обидчика. Зубы сверкали цветом пороши в ясный день. Не кидала связки упречных слов. Не плевала под ноги болтунов. Знала – была не половинчатой нарымчанкой – настоящей обской двукровкой. Не землякам разбираться, что в спешке намешала природа, втиснула в тугую жаждущую плоть.

До Тимура плыла по жизни без паруса. Лодчонка судьбы встрепенулась, погнала к берегам крутые волны. И до него были поцелуи – безвкусные, постные. Губы не опалились страстью, несли тягостную повинность. Однажды Прасковья ощутила на губах налёт горечи, будто мазнули по ним рыбьей желчью. После расставания побежала к Оби, долго тёрла мокрым песочком отравленные пухлые половинки. Поцелуй Тимура у перевёрнутого облака въелся прочно. Трепетным чистым сердцем уловила вкус любви. Раскрывала желанно обольстительный ротик, чувствуя в вольнице языка и губ огненную притягательность. Заряд, пробегаемый по телу, доводил до дрожи. Тянуло к большим утехам. Молодым хватало ума вовремя усмирить плоть...

Чикист хотел раскрыть тайнишку – струсил. Знал, из чьего лука пущена меткая стрела в его соперника. Сам не стал пачкать руки, но дружков имел – в лодку не уместятся. Нашёлся доброхот из меткачей. Психуй, гордячка. Здело деревенщину... Зря записку к наконечнику не привязали: «Отвали от Праски!»

Не верил служака расстрельного взвода в отвальный исход. Тимур не из трусливых. Хоть из пушки по нему шарахни – не отступится. Ещё уцепистее ухватится за остячку. Назло недругам гармошку в полный растяг развернёт.

Изнуряло Натана казарменное положение, расстрельное действо. Оглушала болезненная тяга к спирту, самогону. Унижала слезка Горбоноса.

Пил, яснее осознавая с каждым днём: огненная влага мытарит душу, не трогает радостные струны.

До тошноты и блевотины осточертело палачество.

Карательный меч Колпашинской комендатуры завис над головами смолокуров, скотников, печников, церковников, мелких служек контор, работяг с заводов, с

чьих ладоней не успел сойти налёт машинного масла, въедливой металлической пыли. Какие они заговорщики, контрреволюционеры, организаторы повстанческих отрядов, участники диверсионных групп... Хоть сейчас распахивай настежь ворота следственной тюрьмы, выпускай всех на долгожданную волюшку.

Сидящие – не летящие по Руси великой т р о й к и знали о сфабрикованных делах, о признаниях, выбитых жестокими пытками. Без дрожи рук и сердец подписывали смертные статьи. Тройщики так вошли в роль вершителей судеб людских, что фальшивое сознание принимали за настоящее. Всё понятно во время войны: без пушечного мяса не обойтись. А сейчас?! Что угрожает революции, продержавшейся на плаву почти два десятка лет? Где они, орды белых? Разметали их красноезвездники по далям отеческим, выпихнули в закордонье. Не пахнет мятежами и заговорами. Не смогли белые самоорганизоваться, переломить ситуацию в первые годы братоубийственной вакханалии. Что смогут сейчас, когда разгромлены казаки, кулаки, церковники, когда следственные тюрьмы и комендатуры кишат простолюдым, захваченным под шумиху лютого времени. Страх, животный страх правительства толкал к необдуманным действиям.

Попытался Натан Воробьёв выломиться из адовой службы, уйти из расстрельного взвода. Разговор с комендантом получился вялым, трусливым. Чин приказал чикисту смять написанный рапорт до мягкости салфетки. Подставил хромовый сапог. Молчание, недоумение длились несколько секунд.

– Чисти! Видишь пятно грязи.

Надраивал хром под гипнозом замешательства, испуга, унижения.

– Чище! Чище... Пошёл вон!

Меткий ворошиловский стрелок выходил из кабинета боком, машинально комкая в потной ладони бумажный комочек, почерневший от крема.

Сейчас унижение Прасковьи наслоилось на унижение, испытанное в кабинете коменданта. Натан перед смелой девкой тоже Чин. Собрался люто отматерить зарвавшуюся остячку. Кто она перед ним, умеющим дробить черепа ослушников. Может они и впрямь действительные вражины пролетариата и сознательного крестьянства... Лёгкий гнев быстро перегорел, как только его теряющие синеву глаза схлестнулись взглядом с тёплой тьмой красивой девахи...

В казарме Горбонос выдавливал ногтями красный гнойник. Зеркальце вмещало правую половину напряженного лица. Нос стукача ядовито сизый, с разворотом влево. Чей-то богатырский удар в драке размозжил хрящ. Он сросся криво, не совпав с первоначальным замыслом природы.

– Натан-Наган, сегодня вороной смотришься. Грусть по морде размазана.

Не хочется вступать в пустую словесную перепалку, затевать со шкурником тягостный разговор. «Знает ли сучонок о моём заявлении, о любовных неладах?»

Восхищало Натана хладнокровие коечного соседа. Расстрельщик возвращался со свинцового дела с улыбочкой, распахнутой до коренных зубов. Дрыхал с витиеватым храпом. Подсвист. Подвывание. Горловой скрежет. Бульканье в носу. Полный оркестр.

Пытался Горбонос искренне закорешить с «лирическим бойцом». Натан исключал дружеское сближение. Комендатура была для стукача аренной цирка. Для Воробьёва – аренной пыток. Человеческая воля здесь не стоила гроша ломаного. Она подавлялась инквизицией образца тридцатых годов, в гневный век сотворения

вероломной революции. Прокатились колесницами гражданские войны, раскрошили человеческие устои до лагерной пыли, тюремного н и ч т о. Даже в таких людских скопищах, как Колпащинская комендатура, следственная Ярзона, не мог образоваться сгусток воли: она гасилась. Гасился внутренний свет новомучеников.

Попадали в органы страшного наркомата и совестливые, осознающие чудовищность творимого над народом зверства. Такие иногда вымывались из грозного учреждения общим потоком народной крови, но в большинстве своём становились безгласными исполнителями.

Расстрельника Натана красные струи не смыли с пути бегства. Почистил сапог коменданта, сильнее загрязнил совесть. Понёс рапорт без должной отваги, без рыцарской удали. Главный Чин уловил раболепие, слабинку сердца. Унизил. Оскорбил. Плюнуть бы на хромовую обувку, растереть пузом пресс-папье, спящем на столе. Упекли бы... под дуло поставили... Да тот же Горбонос с нескрываемым ехидством выпустил бы в лоб свинцовый гостинец... Нет, Натан-Наган, служи и не рыпайся. Не мечтай о свободе в несвободной заключенной стране.

Раздумывал о несладкой судьбе поэта – рязанском волке, затравленном в Москве. Проводил его по жизни до судных дней настоящего. Светоч русской поэзии погас в двадцать пятом годе. До нынешнего, тридцать седьмого, ему не дали бы дожить. Крупная птица, полёта высокого. Вознеслась до орла двухглавого. Имел смелость швырнуть в рожу революции праведные слова:

Так грустно на земле –
Как будто бы в квартире,
В которой год не мыли, не мели.

Какую-то хреновину в сём мире
Большевики нарочно завели...

«Нарочно – не нарочно?» – размышлял чикист, запутавшийся в сетях органов. Склонялся в пользу второй половины сложного вопроса. Неужто бдящий орлиный взор Сталина не видит, что творится от Есенинской Оки до берегов Тихого океана. Вздыбилась тысячеглавая опричнина на шестой части земли с названием кратким и кротким Русь. «Усь! Усь!» – натравливают свору. Клыкастая охрана рвёт и мечет...

Отец предостерегал: «Сынок, не суйся в банду головорезов. Наши нательные рубашки белого цвета. Зачем их кровенить...»

Не вбил батя в башку сынка кол упрёчных слов, не отговорил.

Горбонос-ищейка пронюхал: родитель Натана у белых служил. Такой козырь в руках чирьястого соседа, за пятого туза сойдёт. Картишка важнецкая. Особисты возможно знали о биографическом пунктике Воробьёва-старшего. Сын за отца не ответчик, но всё же...

Приметил Натан: в застенках следственной тюрьмы брезговали селиться пауки. Здесь истязали свои жертвы кровопийцы не ползающего – ходячего передвижения. Душераздирающие крики в пыталнях, шум шаркающих сапог, чирков, драных ботинок мешали паукам сосредоточиться на ловле добычи. Что значили в тюремных стенах легковесные сетёнки. Тут расставлялись крепкие, сети на сгонную отовсюду массу бесправных душ.

Во дворе комендатуры на утоптанной волейбольной площадке чикисты нажигали ладони упругим мячом. Натан был в одной связке с опером Гореловым – сильным, рукастым, немногословным. Слабый игрок Горбонос часто

получал молниеносные мячи. Не мог отразить внезапные атаки. Натан нарочно целился в башку противника. От меткого попадания у стукача кривился рот, взгляд загорался вспышкой ненависти. После проигрыша валко уходил к раскидистой рябине, где в ветках отсиживалось паучьё. Ловил бабочку-капустницу или лимонницу, надрывал крылышки. Азартно бросал добычу в ажурную мерёжу. Выползал из засады охотник, начинал борьбу с крупным уловом.

Взвизгивая от восторга, Горбонос присвистывал:

– Молодец! Ломай тварюгу! Души гидру капитализма!

Пока шло истязание бабочки, стрелок облизывал синюшные губы, прослеживая все этапы расправы заброшенного в тенёты существа.

5

Подземелье пахло кровью, хлоркой и крысами. Налетал с Оби нагонный ветрище, оглушительно хлестал по крутому сколу. Кромка яра вздрагивала, осыпая струи песка, нависшие пласты дёрна.

Подследственным становилось зябко. Казалось – ветер пронизывает всю береговую толщу и сквозняк залетает в закуток с потолочинами сосновых плах. Снизу тянуло погребной сырью. С настила сыпался в щели песок, с него за века ярного заточения успела слететь позолота.

Моторист катера староверец Влас радовался песочку цвета праха. Он не отставлял от струйки глубокую рану. Пусть присыплет располосованное плечо, подлечит окровавленное тело. Человек нарымской глухомани уверовал в целебные свойства молитв, песка, воды и света.

Перед близким порогом смерти всплыло тупое безразличие ко всему. Второй месяц из него выколачивали ложь, наговорщину. Святые законы веры, труда и правды не

позволяли отклоняться от божественных троп судьбы. Никогда не очернял чужого человека. Себя тем более. Держался древнего праведного толка, по которому кривда отрицалась и осуждалась. Сердце и душа не могли согрешить, войти в преступный сговор с сатанинской властью. Нечистая сила давно терзала старообрядцев. Сгорали в скитах. Откочёвывали в глубь дебрей, но и там настигала греховодная власть, отбирала иконы и старопечатные фолианты. Недоумевал Влас: ради чего вековые гонения на веру предков, пожелавших жить по древним уставам благочестия. Что надо безумным рыцарям крови от древневерцев, не желающих жить по поганым законам злобы и насилия?

Старопечатные книги приносили успокоение, несли душе лад. В них втекла мудрость веков, тогда Русь святая еще не успела пропитаться смрадным игом чужеродцев...

На свежей сосновой плахе сочилась в трещинки янтарная смолка. Влас стряхнул с раны песок, замазал живицей. Как он раньше не заметил пахучую кровь распиленной сосны? Поднёс липкие пальцы к ноздрям, дыша незабытым ароматом хвойного существа.

На последнем сокрушительном допросе к пепельной бороде подносили спички: отожгли треть лохматины. Хотел обрушить груз кулака на рожу истязателя, но стиснул оставшиеся невыбитыми зубы. Не легко далось усмирение энергии. Повисла перед глазами икона древнего письма. Святой Власий-Чудотворец тепло, подбадривающе посмотрел на страдальца, предостерег от беды. «Забили бы насмерть ироды...»

Сильно почитал Влас святого заступника, спёкся с ним духом. Его имя по-древнепечатному ВОЛОС... Власяница – верига, облегающая голое тело. Много древних верижников просверкало по городам и весям Руси рабской, но не сломленной духовно. В следственной тюрьме ни

изрубцованная плоть, ни стойкий сермяжный дух не продвинулись в покорстве тем, кто великим измором и пытками выбивал заведомую ложь во славу своего внутреннего беспредела.

Власий-Чудотворец призывал не к покорности, к великому терпению, укреплению невидимой огненной материи, которую нарекли Духом.

Поодаль от староверца сидел на корточках щупляк, стонал с подвывом. Голова колотилась об стенку.

– Не клади башку на плаху раньше времени, – урезонил детина в наколках.

Он был избит меньше других: бывшие тюремщики пользовались у надзирателей послаблением. Про таких говорили: блатняки – братки блата. Глядя на пропитанную наглостью рожу, на ядовитый взгляд глаз тараканьего цвета, Влас предположил: подозрительный тип может резать человека и не в тёмном переулке.

Тюремец со стажем перешёл на крик:

– Эй ты, счетовод паршивый, уймись! Плаху расколешь. Ишь как перекосило малого. Растрату допустил? Поделись казной – вместех откупимся.

Хилячок перестал клевать лбом плаху.

Тюремная бурса пошла нагловатому мужику впрок. Наколка Ленина на его волосатой груди была выполнена грубо. Вождь походил на полусонного киргиза. Левый глаз не соразмерялся с правым. Бородка напоминала помазок, из которого повыдергали много щетины.

После долгого молчания счетовод залепетал:

– У меня по отчётам всё копеечка в копеечку выходило. Бывало, ночь не спишь, счёты терзаешь... сальдо под правду подводил. Я хорошо запомнил завет твоего Ильича с груди: «Учёт и отчётность».

– За что же тогда замели?

Счетовода Покровского словно горячей лучиной ожгло: «Не подсадная ли утка?.. Щустряк разговорчивый. Нет, подсадник хитрый, не выпытаешь всей бухгалтерской науки. Может, сюда же в каталажку да в комендатуру на прожор охранной братии икорка чёрная, осетринка да нельмятинка ушли... Подставили доверчивого цифроведа... Сейчас сообщников ищут... Совесть да честность – вот мои главные сообщницы. Чебаками, ершами, шуками питался. Ни одной осетровой икринки на годы счетоводства на счет не оприходовал. На свои кровные деликатесы обские покупал...»

На последнем допросе молотили Покровского валенком, засунув в него пресс-папье. Видно мозги сотрясли: струей блевотина выкатилась. Пришлось в пыталне самому мыть пол с дресвой.

Староверцу Власу сразу понравился человек, обделённый крепким здоровьем. Успокоил его:

– Не убивайся так. Разберутся в органах – выпустят.

– Кишки выпустят – вот они органы для разбора. Из лап комендатуры не вырвешься. Одна дорога – в яр. Считайте – в ад. Не ведаю – зачем среди вас затесался. В тюрьге по полной отсидел. Вот свидетель – громила ткнул пальцем в око Ильича. – Предлагал служакам: зачислите меня в команду дознателей: скоренько все верные показания выбью из кулачья, недобитой белогвардейщины.

– Неужели своих истязать будешь? – Староверец с опаской посмотрел на мордастого приспособленца.

– Ты в свояки набиваешься?! В застенках все чужаки. Каждый за себя стоит. Не хочет, чтобы его шкуру попортили, черепок продырявили. Не для того я о свободе грезил.

– Рано выпустили, – с кержацкой прямою выпалил моторист катера.

– Хочешь, христомolec, последнего клочка бороды лишиться? У меня нервы чакают. В песчаном мешке долго сидеть не собираюсь.

– Для тебя и Христос – не учитель... Людишки, вроде тебя, его святые заповеди растоптали.

– Запомни, проповедник, я тебе, когда-нибудь пальцы оттяпаю. Помолись тогда двуперстник...

Счетовод завыл с диким иступлением, качая в такт взвою раскосмаченной головой.

Распахнулась скрипучая дверь. Ввалился грузный надзиратель, пинком оборвал нудную арию счетовода.

– А ты, Тюремная Харя, на выход!

Проклинал Натан тот день, когда по комсомольскому призыву поступил в органы. Если бы не частое погружение в головокружительную глубину поэзии светлокудрого рязанца – располосовал бы вены карманным острогранным зеркальцем.

От стихов веяло волей и Родиной. От Ярзоны кровью, пропастиной

Велась чудовищная расправа над свободой и духом нации. Была в Колпашино контора «Заготскот». Грозная следственная тюрьма на крутоярье производила заготовку иного скота – людского скопища. Почти каждого, кого загоняли за высокий околюченный забор, мог попасть под расстрельную статью. Совершенно секретные директивы со смертной цифирью обретали тут кровавую реальность. Паучьими сетями комендатур, следственных тюрем затянуло государство, в котором переворотчики, п л а м е н н ы е р е в о л ю ц и о н е р ы вершили судилище над бесправными массами. Под пламенем знамён и флагов пламенела кровь невинно убиенных...

Несерьёзным комсомольцем называл себя меткий ворошиловский стрелок. В его руки недавно попало

довольно смелое стихотворение Есенина. Написанное черной тушью крупными буквами, оно поразило пронзительной правдой:

...Пустая забава, одни разговоры.
Ну что же, ну что же
вы взяли взамен?
Пришли те же жулики, те же воры
И законом революции всех взяли в плен...

Вот он, чикист Воробьёв, чикает неповинных по закону революции. Что этот законишка дал праведному люду – волю? землю? свободу? Пошел супротив воли отца. Всяко отговаривал – не суй башку в пучину... Форма прельстила? Спецпаёк? Поступал простым конвойным. Думал: при оружии будет, при власти кое-какой. На первых тренировочных стрельбах три пули в десятку всадил... Принудили перейти в расстрельный взвод.

Грамотёшка в школе давалась надсадно. Башка трещала от формул и правил. Мускульную работёнку тоже не любил. В школе физика. Дома физический труд. Не много ли физвоздействия на ум и жилы?

В Прасковью втюрился с первого разгона искромётного взгляда. Обожгла прелестью стана, округлыми вздутиями под палевым сарафаном. А глаза! А губы! Он пока не знал о русско-остяцкой помеси кровей. Русалка казалась обворожительной. Хмелел вблизи нее. Природа не сразу поведала о всех прелестях броской красоты. Сгорал от обиды и зависти: не его губы сливаются с аленью пышного бутона.

Вокруг Праски табунились подружки с засольного пункта. Они казались серыми подвижными пятнами. Ярко выделялась только чародейка. Влекла тугими скулами, озорнинкой глаз, отливающей чернотой густых волос.

Однажды, перехватив зачарованный взгляд Натана, подошла учётица Сонечка, шаловливо толкнула парня:

– Заколдунила тебя Прасковьюшка... ишь маков цвет по щекам разлился. – Шепнула на ухо: – Твоя пусть будет – не Тимура... Ты пригожий молодец.

Лисонька Соня знала уязвимое место стрелка. Прицелилась точно, пульнула в сердце-десятку нужные словечки.

И то. Что в Тимуре кроме разбойного имени да неразлучной гармошки? Неужели Праска учуяла остяцким приплюснутым носом запах крови, исходящий от неудачливого ухажёра. Держал в секрете свинцовую профессию, да видно пули в острые шилья оборачиваются: прорывают дерюгу секретности.

После слов Сони стрелок стал смотреть на двукровку подозрительно. Неужели и впрямь ведьмарка? Околдовала. Сна лишила. Смотрит на деваху – глаза слезятся. Не от счастья – от ощущения бессилия, безнадёжности. Знал: за ним тащится по пятам робость, даже трусость. Не принял на веру мудрость отца. Не порвал со взводом. Исполняя ложные приговоры. «Я – коряга, которую беспрепятственно тащит течение жизни...»

6

Коллективизация расплзалась по Нарымскому краю по-черепаши, но целенаправленным курсом, проложенным в горячих головах кремлёвской верхушки.

Кузнеца Никодима Селиверстова пока не окулачили. У единоличника отобрали хорошие покосы, предложив закорочарённые неудобницы.

Дотоле смиренная молчунка Соломонида разразилась клокочущим гневом:

– Ироды! Иуды! Антихристово отродье!..

Не договорила, зайдясь надсадным кашлем.

– Успокойся, жён ушка, не перегревай душу.
– Кузницу отберут. Пашню. Нас раскулачат.
– Сдюжим. Я им при деревне нужен. Такого мастера поискать. Недавно из комендатуры наведались, заказали тридцать решеток на окна. Из артели «Металлист» прутья железные привезли... Всё ковать приходилось – подковы, предплужники, зубья для борон, кресты, даже вериги для староверов. На решётки тюремные первый заказ.

– Откажись.

– Нет, Соломонидушка, буду заниматься данным Богом рукоеслом. Комендатуре понадобился – значит, охранную грамоту получил. Колхозу можно кукиш показать. Организую артелишку. Будем кузнечить, хлебушко насущный добывать. Жаль добытчика Тимура не дозовусь. Придётся тебя, мати, на выручку посылать. Материнское слово весомее.

– Не поеду. Боюсь Колпашино. Увижу на улице форменников, оплетённых пур-ту-пеями – ноги подкашиваются. Нечисть... Рассказывала намедни свояченица, что за стенами тюремными деется, – волосы дыбком.

– Врёт, поди.

– Стерлядку в мешке не утаишь: носом-шилом рогожу прорвёт... Пытают, грит, там, пока наветы на себя не выбьют. Гробовщика Панкрата недавно забрали.

– Час от часу не легче. – Никодим перекрестился. – Этого-то за что? Мужик – тише воды озёрной.

– Сказывала свояченица: был супротивником красных, когда бушевало Сургутское восстание.

– Честь ему – на стороне замордованного народа стоял. Хорошо помню грабительскую продразверстку. Хлебушек подчистую выгребали.

– Нехристи! Душегубы! Кровопийцы!

Разгорячённая разговором Соломонида огнестрельно выкатывала из гортани слова-ядра. Снова сопровождала их хриплым частым кашлем.

Никодим Савельевич обнял за плечи жену. Хотел нежно. Соломонида ощутила груз медвежьих лап.

– Экой ты кряжистый? Не наковальню милуешь...

Лейтенант госбезопасности Горелов тяготился грубой надзорной службой. На широкую кровавую плаху ложились головы ни в чём не повинных русских, украинцев, латышей, белорусов, поляков, мордвы, татар... Примешался к списку даже китаец родом из провинции Шаньдун. Плотничал в Томске, не помышлял ни о каких заговорах. Загребли под гвалт репрессий.

– Моя ничего не понимай... – твердил смуглец, направляя на следователя страдальческий наивный зырк.

«Ты думаешь, моя что-нибудь понимай», – размышлял Сергей Горелов, запустив палец под кожаный ремень портупей. Пришла на ум слышанная недавно каламбурщина: «Как надену портупею – всё тупею и тупею». Поневоле отупеешь от творимой масштабной инквизитчины, бумажной несуразицы, дичайшего произвола. Запущенный механизм смертей по разнорядке набирал дьявольские обороты.

По Оби в низовье тащились перегруженные баржи с живым товаром, заранее списанным в расход. Часто соседилась с Колпашинским берегом. Из вместительных трюмов выползали массы черни – лишенцев, обложенцев, кулаков, заговорщиков. Никто не ведал, по каким заговорам их обвиняют. Всплыла какая-то старообрядческая контрреволюционная организация, состоящая из попов, начётчиков, монахов. Затесались в нее кулаки и каратели. Собрали до общей кучи бандитов, стражников.

Не мог не видеть гэбист Горелов: распарывались по гнилым швам дела о вооружённых формированиях, о повстанческо-вредительских организациях.

Из топкого болота сфабрикованных дел всплывали свежие заговоры против соввласти, как будто она была настолько беспомощной, что не могла справиться с конюхами, бондарями, пекарями, стекольщиками, табаководами, сапожниками, сплавщиками. Такие фигуранты – пешки на шахматной доске произвола.

Лейтенант госбезопасности Горелов на одном из закрытых оперативных совещаний поставил под сомнение обоснованность выбиваемых изуверством признаний.

– Молчуны-протоколы рта никогда не раскроют. Мы – живые свидетели – вправе сказать: катится вал злодеяний против нации. Какую власть привел на престол Отечества народ? Такой ли ужасной доли достоин?

Отважился воззвать к совести коллег, спросить на оперативке угрюмых особистов: почему вершится несправедный суд. По угрюмым лицам, нахмуренным бровям понял: вопрос засосало в кабинетную трясику, остались лишь пузыри выпученных в страхе глаз. Прозвучал глас вопиющего в Васюганских стовёрстных болотах.

Комендант по кличке Перхоть скрежетнул зубами. Скрежет бобами сухими рассыпался.

- Лейтенант Горелов, где отбывает ссылку ваш отец?
- Не знаю, – утаил правду.
- Когда раскулачен?
- В тридцать втором.
- За что?
- Похоже на допрос...
- Отвечай!
- ...Семья имела две коровы, жнейку, три тулупа, пасеку...

– Не жизнь – мед.

– Нет, жизнь была не сладкой. Семья – десять ртов. Мать больная. Отец на гражданской саблями мечен...

– Довольно биографии. Садись!.. Чужаки в комендатуре – минус общему революционному делу... Всякая контра поднимает бучу. Заговор на заговоре. Позабыл изречение вождя о беспощадном терроре? С нами белогвардейцы не цацкались. Звезды на груди вырезали. Животы вспарывали, зерном набивали, конфискованным по продразверстке: «жрите, мол, утробы ненасытные»... Мы ради народа страдали.

– Видно по Ярзоне – какое это попечение великое. Кровавая опека...

Комендант побагровел.

– Все свободны! Бунтарь, задержись.

Из избы пытални раздался душераздирающий вой. Когда-то хибара была избой-читальней в соседней деревне. Бревна раскатали, перевезли в Ярзону.

– Горелов, иди разберись. Доложи.

От Перхоти сочилась энергия ярости. Лейтенант ощутил летящие стрелы. Забыв поднять руку под козырек, гэбист поспешил к читальне. Здесь зачитывались протоколами допросов, захлебывались кровью и блевотиной. Выплювывали выбитые зубы. Ощупывали треснутые ребра. Однажды у несломленного на допросе смолокура после оглушительного удара пестиком чугунной ступки выкатился на щеку глаз. Сгусток слизи, нервов и крови сползал ко рту. Черный зрачок будто призывал всех во свидетели кары.

Перешагнув порог, Горелов обомлел: на сосновой чурке лежали обрубьи пальцев. Прижав к животу руки, старовер Влас катался по грязному полу, выл в три волчьих глотки.

Тот, кого называли в карцере Тюремной Харей, стоял поодаль и машинально размахивал окровавленным тесачком.

– Что произошло?!

– Моляку-двуперстника приласкал... Нас вызвали на допрос вместе... Оставили с глазу на глаз... не выдержал его нравоучений... признание он успел подписать... Я и подумал – зачем ему теперь пальцы...

Из дрожащей кисти Власа сочилась тёмная густеющая кровь. Тюремная Харя, не выпуская тесачок из корявой лапы, ухмыльнулся:

– Поссы на ранки – ёд заменит.

Офицеру не терпелось разрядить обойму в ненавистную рожу.

Узнав о случившемся, Ярзонная верхушка взяла Тюремную Харю на особый учёт. Такие усердные дерзкие зонники были нужны позарез. Несколько месяцев мучились с таёжником древней веры, не могли выбить подпись. Бандюга в пыталне мигом дело решил... ну, проявил вероломство... отчаюга, однако... Без гореловского слюнтяйства действует – напролом...

Тюремную Харю перевели в службу.

Перед совестливым лейтенантом госбезопасности Гореловым широко разворачивалась панорама жуткой действительности. Он был свидетелем полного обрушения правды, чести, совести и законов. Парализованная страхом страна замерла в ожидании новых бесчинств. Кожанки особистов, будто вторые охранные шкуры, надёжно защищали, обещая безнаказанное существование. Вот они, оберегатели внутреннего порядка, вершители бесславных дел чудовищного Наркомата. Никогда Русь не знала такого ярого нашествия доморощенных врагов. Адмирал Колчак не по уму распорядился огромным запасом золота попоранной Родины. Не прятать бы его в дебрях, болотах Сибири –

пустить в дело до последнего рубля на организацию надлежащей Армии. Советы не брезговали ни наёмными китайцами, ни латышскими стрелками. Что получилось в итоге? Любители кладов ищут золотишко проигравшего битву адмирала. Родина ищет исчезнувшую свободу, обливается кровушкой. Куда заведут поиски – никто не ведает.

В Томском государственном университете студент Горелов вполслуха внимал вранью красной профессуры, выставленной партией большевиков на передовые позиции науки. Не верил в их постулаты, окрашенные кровью революций и гражданских войн. Истинная правда лежала не в догматической ерундистике надуманных суждений. Историки марксистско-ленинского толка ввали напропалую. Спекулировали идеями, защищая политдельцов и нэпманов. Оправдывали продрозвёрстки и массовое раскулачивание крестьянства.

Посулы пряничной жизни обернулись ударами резиновых дубинок.

Отца беспричинно раскулачили. Турнули в Нарым, где отбывал лёгкую ссылку Иосиф Джугашвили. Он же Коба. Он же Сталин. Жил там, как в пионерском лагере, получая немалые деньги из царской казны. Брюхатил нарымчанок. Устраивал театральные постановки. Скоренько сбежал. Теперь вот из Кремля, словно из суфлёрской будки, шепчет слова кровавого спектакля. Лёгкой житухой обернулась ссылка другого пламенного революционера – Якова Свердлова. И этот беззаботник, сосланный в Максимкин Яр, жил припеваючи и тоже дал дёру из таёжной глухомани. Лейтенант силился вспомнить настоящую кручёную еврейскую фамилию псевдонимщика – не мог. Зато маскировочку Лейбы Давидовича Бронштейна видел и при слабом свете: Троцкий. Ужаснулся Сергей, когда в университетской библиотеке прочитал в

газете «Русское слово» откровение Троцкого-Бронштейна: «Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн...»

Сбылись пророчества Лейбы Давидовича. Прицел был дальний, выверенный. Курс – на уничтожение нации: сейчас она предстала перед алтайцем не бесформенной массой, насильно загнанной в колючие границы Ярзоны. Она имела цвет каждого отдельного лица – шорника-татарина, хлопкороба-узбека, единоличника-эстонца, моториста катера-кержака, которому Тюремная Харя беспричинно отрубил два пальца. Влас стал прилаживать обрубки к сочащимся суставам, обматывать лентами разорванной рубахи. Выродок только припугнул старовера, не собираясь пускать в ход отточенный топорик, спрятанный в углу пытални. Непостижимо – как унюхал сталь камерник с грубой наколкой Ильича. Когда ловкое топориче оказалось в руке, Харя уже плохо соображал что делает. Наступило затмение рассудка. Подпись выбита... лезвие опустилось на растопыренные пальцы богомольца...

«Бес попутал», – оправдывался «мясник», подавая Горелову протокол и улику – тесачок.

Лейтенант бегло взглянул на подпись: на бумаге вприсядку плясали буквы – не ви н н ы й . Может, Тюремная Харя на подсознании прочитал отказ и острая блестящая штуковина машинально вынесла беспощадный приговор пальцам. Начальная Н была крупнее остальных букв. Особист вспомнил: фамилия старообрядца была Невинный. В бардаке Ярзоны это было многопроцентное

совпадение. Влас буксировал плот по Кети. Лопнул стальной трос. Усмотрели вредительство. Власа Невинного пришили к делу «Староверческая контрреволюционная повстанческая организация «Сибирское братство».

7

Крупный рабочий посёлок Колпашино в тридцатые годы мог смело носить название тюремное поселение. Нагнали сюда с Алтая, Кузбасса, Казахстана, земель томских, тюменских трудливый народец. Подняли из угольных шахт. Оторвали от станков, строительных площадок, пахотных земель. В молодой республике испытывался кадровый голод. Сотни комендатур утоляли лагерный голод. Развёрстые пасти следственных тюрем требовали на прожор свежие порции лишенцев воли и веры в справедливость. От земли отваливали основной питательный пласт – рабоче-крестьянский. Красные ярлыки враги народа навешивались на учёных, директоров предприятий, деревенских зажиточников, словно все разом обезумели, забыв о добыче хлеба, угля, стали, подались в заговорщики.

Дважды особист Горелов начинал писать Сталину доверительное письмо, хотел обсказать истинное положение в той сторонешке, из которой он совершил побег. Приводил выдержку из «Дневника писателя» Достоевского. Возможно, вождю народов слова лейтенанта покажутся неубедительными. Пришлось прибегнуть к помощи классика-провидца. Вот что писал Фёдор Михайлович в 1876 году: «Безбожный анархизм близок, и наши дети увидят его. Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России, и начинается, ибо у нас нет для неё подходящего отпора, ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут низлагать религию, разрушать храмы и

превращать их в казармы, стойла... Евреи сгубят Россию и встанут во главе анархии... Предвидится страшная колоссальная революция, которая изменит лик мира всего. Но для этого потребуется 100 миллионов жертв. Весь мир будет залит кровью».

Автор письма к вождю пытался оттолкнуться от чёрного провидения Достоевского, перейти к описанию беззакония в Ярзоне. Не имеет права молчать. Неужели кремлёвский сиделец не поймёт горячего порыва человека, увидевшего современную историю во всей неприглядности.

Писал, рвал страницы в ключья. Сжигал. «Пустая затея, – подсказывал инстинкт самосохранения, – доберётся послание до Томска, но первый чин из почтового ведомства, увидев на конверте страшный адрес: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину», не отправит письмо, передаст его куда следует. Органы бдят. Органы оценят смелость перехватчика послания».

Терзался боязнью за отца, угодившего под раскулацкий молот. За себя не переживал: юношеского пыла было достаточно – пережгёт любые сокрушительные мысли.

Вспыхнула фраза из «Дневника писателя»: «Весь мир будет залит кровью...» Пока заливается кровушкой Россия, первая хлебнувшая горького пошла Интернационала.

В университетских аудиториях студент-правдоискатель не мог спокойно смотреть на портреты главного подстрекателя, оглушившего мир грузным «Капиталом». Карл Маркс с его неопрятной бороденью вызывающе смотрел на студенческую аудиторию, будто похотывал: «Ну что, отпрыски революции, дождались весёленького часа... История будет пересчитывать вам рёбра не одно десятилетие...»

Тюремную Харю поставили подручным к главному сокрушителю зубов и рёбер. Всё до мелочей рассчитал уголовник со второй кличкой Кувалда.

Терять нечего: один хрен подведут под пулю...Разминулся с волей... Разминётся с жизнью... А вдруг... над башкой просиял затейный луч, обогрел душонку. Учюял большим шишковатым носом: будет замечен в комендатуре, пригодится Ярзоне. На нём висело два убийства. Органы знали об одном, вызывающем: полоснул заточкой буфетчика в ресторане.

Без дрожи налил коньяка, бросив дольку лимона. Медленно выщедил содержимое, шарахнул хрусталь о бетонный пол. Пошел от буфетной стойки спокойно, не озираясь на ошарашенную публику за столиками. Его схватили на автобусной остановке.

Непредсказуемый тюремщик Кувалда имел плоть с массой бесстрашной крови, костей и жил. Много раз стоял на половине смерти, доска каким-то образом не проваливалась в тартарары.

В пыталъне после дикого случая душегуб вызывающе поглядывал на растерянного офицера. «Попадись ты мне под горячую руку – изничтожу. Разве такие слюнтяи должны охранять государственную безопасность... Простокваша на губах,..»

И о редком гаде собирался написать лейтенант пусть и не родному отцу народа. «Отец-грузин, разве такие подонки – твои сыновья? Посмотри с горной вершины Московского кремля на бесчинства «троек», конвойников, надзирателей. Товарищ Сталин, может за многочисленными отрогами бесхозной Родины не видны беды всей твоей родни? Баржи не успевают завозить подневольников, мотки колючей проволоки, мешки с хлорной известью. Плывут циркуляры, доносы, списки мнимых врагов».

Из бревенчатой избы-пытальни теперь не доносились крики, стоны и взвои. Тюремная Харя смастерил деревянную затычку, обезвреживал окровавленные рты допрашиваемых.

Истязателя пытались убить: всякий раз выручало сказочное везение. Ему нравились отчаюги вроде него. Он даже не отбирал ножи, стамески, кирпичи, зубья борон. Отдавал нападающим со словами: «Бери, ещё пригодится». О покушениях начальству не докладывал. Зачем прекращать азартную игру со смертью... ставки на свободу всё равно не растут. Зонная рулетка крутится без смазки и скрипа.

Звериным чутьём догадывался: пуля не минует его округлый лбище, изрытый оспинами. Ильичем на грязной груди не прикрыться... Шарахнут в черепок... всякая участь, завершающий этап зонной житухи. Месячишка два-три поцарит над трусливой толпой, не способной разнести в пух и прах заборы с вышками, переколотить вонючих стражников.

«Зачем я не родился во время атаманства Стеньки Разина, Емельки Пугачёва? Был бы правой рукой у того и другого. Приходила мыслишка поднять бунт, перебить вышкарей-вертухаев... проломить трактором забор, вывести на свободу околюченную орду. Возводил затейку в степень отваги да тут же хоронил в кудлатой башке. Не пугачёвских кровей детки. Кучка служак в форме правит целой безоружной армией. Вооружиться можно даже палочками, заточенными до острых веретёнец... В зоне песок, мешки с цементом. Палицы можно отлить бетонные, – любые головы разможжат...

«Не май, дурак, буйную головушку. Не разинской породы людишки. Ходят парализованные нешуточным страхом. Смертушку неминуемую чувят. Сорви-голов в зоне на неполных пальцах старовера можно пересчитать. По

глазам вижу – замышляет неладное против меня... терпелив, подожду... Зря поиздевался над двуперстником, каюсь. Шахматный ход за ним. Эта пешка в дамки никогда не прорвётся...»

Соломонида съездила к сыну в Колпашино. С трудом уговорила Тимура вернуться в деревню.

- Поеду не один – Праску возьму.
- Возьмуу... не вещь – девка на выданье,
- Давно не девка. Живчик копошится под пупом.
- Твоя проделка?
- Каюсь, принимал участие.
- Бандюги вы с отцом по части юбочных дел.
- Смирным баб не достаётся... настоящих.
- Прасковья – настоящая?
- А то...

Праску с засольни не отпустили – времечко многорыбное. Пообещали к воздвиженью подписать заявление.

Место в боку, куда вонзилась стрела, гноилось, вздулось, опалилось опасной краснотой. Праска предположила – наконечник был смазан отравой. Она пересказала разговор с ревнивцем Натаном.

– Его поганых рук дело.
– Убью змеёныша, если узнаю. Не посмотрю на холуя из комендатуры.

– Не связывайся с ним... не ему целовать меня – губы не созрели. Поезжай в деревню, бабки-травницы вылечат.

Батя распахнул рот, вытаращил глаза:

– Вернулся ослушник! Хватит гармошкой забавляться.

В кузнице дел невпроворот. Молотобойца ладного не подыщу.

– Слышал – решётки для тюремщиков мастерить?

– Сынок, они в плену не по нашей воле. Кто завинил – тот и ответ перед Богом держать будет.

После обеда Никодим нежно, без тяжести лап обнял жену.

– Золотко ты моё! Уговорила-таки беглеца.

– Его уговоришь. Стрелу в бок вонзили. Может и отравленную. До пули докрутится... Девку-полуостятку успел обрюхатить...

Новости ошеломили Никодима. Первая острая – про стрелу. Вторая тупая – заставила ухмыльнуться:

– Вот шельмец! Моих жарких кровей.

– Разжарило вас на баб, – незлобиво проворчала Соломонида.

– Покажи бок, – попросил отец.

Заголив рубаху, Тимур сверкнул гладким налитым телом. В боку возвышалось красно-синее вздутие.

– Чё сразу калёным железом не прижег?

– Кто знал...

– Если до сих пор яд не свалил – значит вылечим. Забыл про бабку Фунтиху. У неё каждое лихо по фунту весом. Думаю, и твоё на пуд не потянет.

Кузня гремела во все свои прокопчённые косточки. Никодим не мог нарадоваться точным сильным ударами сына. Вот кого ждала наковальня. Вот по кому тосковал молот. Давно песня стали и огня не производила на хозяина-единоличника такого весёлого хмельного переполоха.

Через неделю с казацким шиком подъехал к деревенской кузнице Горбонос. Гнедая откормленная лошадь остановилась у коновязи, принялась грызть подгнившую перекладину.

– Эге! Кузнец! – забазлал посыльный.

Вышел Тимур, недовольно оглядел седока.

– Чего базлаешь? Не глухие.

– Решётки готовы?

Заняв весь проём двери, возник Никодим.

– Сперва здороваются, потом о деле говорят.

Собирался Горбонос бросить дерзкое «кулацкое отродье», но выпихнул из протабаченной глотки: «здрате!»

– Решётки, спрашиваю, готовы?

– Нет. Договаривались – через месяц заказ поспеет.

– Командование торопит. Ещё неделя сроку... Кандалы ковал?

– Не приходилось.

– Вот чертёж. Пока семь сделаешь.

– Металла нет, цепей.

– Найдёшь... вон сколько борон, плугов старых.

Прутья от решёток останутся. Обратись к председателю. Евграф Фесько мужик добычливый – поможет.

Лошадь перестала грызть перекладину, уставилась влажными линзами глаз, будто спрашивала: "Мужики, не понятно вам, что ли?"

Копыта гнедухи перестали стучать по песчаной, перевитой корнями сосняка, тропе. Мужики стояли, не проронив ни слова.

У Тимура заныло в боку. Бабка Фунтиха наложила повязку, пропитанную живицей. Боль утихонилась, даже притерпелась к ударам молота. Однако резкая боль слов посыльного гордеца будто палкой саданула по нарыву.

Ошарашенный известием Никодим жестко потирал ладонь о ладонь.

– Батя... до чего дожили... ковать кандалы из своего же металла.

– Даа, сынок... всё мог предположить, но такое... Наверно, в Ярзоне буйных хватает, если ножные браслеты понадобились.

– Не будем заказ выполнять.

– Ссылка обеспечена. Евграф давненько мечтает нас окулачить... Какой ухарь – гонец. Даже с лошади не слез, не поздоровался по-человечески.

– Отец, они все там ослепли от власти, спирта и ненависти.

Прасковью Саиспаеву стал тяготить тошнотворный душок засольни. Мутило. В горле постоянная горечь.

Учётчица Сонечка подозрительно косилась на подругу, прострелила туманными глазками живот. «Неужели?»

Чикист Натан поджидал несломленную любовь у палисадника.

Недавно прознал об отъезде соперника, надеялся на сговорчивость метиски.

– Привет, красавица!

– Чего припёрся? У окон маячишь.

– Твоя изба давно для меня маяк.

– Не тебе светит.

– Терпеливый. Подожду. И для меня помаячит...

– Ни-ког-да!

– Фраерок смотался?

– Любимый заболел от твоей поганой стрелы.

– Не возводи напраслину.

– Всё! Уходи! Устала на работе... Мордovorоты! По комендатурам расползлись. Подались в охранники. Нарымчанки за вас пашут, рыбачат, коровёнок доят, в засольнях ишачат. Не стыдно?! Пристроились обслуживать паскудную власть...

– Окороти язык! Доболтаешься.

– Ступай – секось... докладывай. Ничего не боюсь. Скоро Обь от вашего позора в другие края убежит. Народ в баржах задышается – не селёдка ведь. Ваша зона малой

становится. За Обь на остров мучеников согнали. Говорят барак новый скоро строить начнёте.

– Понадобится – дюжину новых барачков поставим. Свежую контру задушим в зародыше...

Пулял Натан свинец слов, поражаясь их пустому разлёту. Он тоже мучался, происходящие события были для него дикостью. Перед засольщицей храбрился... гадко было на душе... командёр поганый, перед кем революционную прыть проявляешь?

Его понесло с крутой политической горы, не мог остановиться.

– Ты трибуна революции Маяковского читала? «Кишкой последнего попа последнего царя задушим».

От каверзных слов Праску замутило. Нырнула в калитку, словно плотвица в омуток.

По Колпашинской широкой улице гарцевал Горбонос. Остановился возле однозводника.

– Кралю свою пасёшь? Паси, паси, пока пастух в деревне. У него сейчас другая гармонь – меха кузнечные.

– Тимура видел?

– Ему с отцом работёнки столько подбросили, что тебе хватит времени охмурить полукровку. Поваляйся на ней – свергни доблестью.

Неприятно Натану выслушивать тягомотину чикиста-передовика. Рожка красная. Чирьи-пистоны отвоевали на щеках и подбородке новые поляночки.

Мимо прогремела телега с вонючей бочкой. Каждый вечер содержимое зонных параш сливалось в объёмную посудину, отвозилось за посёлок.

Стрелки зажали носы. Ездовой – дураковатый малый в рваной фуфайчонке аппетитно жевал на телеге сдобную булочку.

В эти минуты Натан подумал о себе: «Всё твоё никудышное существование пропиталось подобной зонной

вонью... пронзилось занозистой матерщиной... Ощущение несмываемого позора... Никчемная суетливость... Бросить к чертям проклятую расстрельщину, сбежать куда угодно, лишь бы не видеть пропитанный кровью лагерный мрак... Прасковья правильно устыдила. Узнает про непыльную работёнку палача – прибьет на месте...»

Плохо складывалась линия жизни. Ещё хуже линия любви. Спирт, самогонка нагоняли болезненную дурь, насылали страшные сновидения. Маячили в темени снов мерзкие рожи – безротые, безглазые, похожие на большие плохо заросшие шрамы. Уши тестообразные. Крупные. Оттопыренные. Вслушивались во что-то далёкое, таинственное...

Вся вшивая масса заговорила, контры, деклассированных элементов многих зон сгонялась во сне в огромный жердяной загон. Хлесталась плетями, похожими на отвилыны молний. В людском стаде царило убийственное спокойствие, хотя жгуты молний отсекали головы, руки, оставляли рваные рубцы на грязных телах.

Пытался оборвать жуть сна, добирался до полуяви, но и в ней плясала мерзость неземных рож. Однажды из преисподней поползли черепа. Они с хрустом яичной скорлупы разбивались друг о друга. Крошево взвихривалось над землей, летело в лицо сновидца...

Лошадь Горбоноса тащилась рядом, дышала затхлостью, вылетаемой из пасти. Чирьястый стукач восседал гордо, снисходительно посматривал на пешего однозводника. Не Натан получил боевое задание съездить в деревню, узнать про решётки, отвезти чертежи ножных кандалов. Горбоносу нравилось упрямство засольщицы. Выбрала рослого красивого парня. Выпивоха. Гармонист. Толковый плотник. Скоро его оторвут от кузнечных дел, заставят строить просторный барак. Народец валом прёт. Такого массового отлова вражин революции не знала

молодая гордая республика. Органы дознания умело фильтровали промытую мордобоем грязь общества.

Всячески выслуживался чикист-стукач перед строгим комендантом. Предложил пойманных, возвращенных в Ярзону, наградить кандалами. Пусть вонючие кандалники потаскают довески к тюремной пайке. Похоронят дерзкие мысли о новых побегах. Параш в зоне много. Решётки куются крепкие. Засовы на дверях – слону не проломить. Позиция силы – самая надёжная точка опоры бесстрашной страны Советов. Без лишних политагиток уяснил мудрый стрелок: с отребьем не стоит цацкаться. Смелее расправляйся со второй, третьей волной белогвардейщины, с кулачем, казаками-лампасниками. Главное – не дать очухаться отсидникам от глобального страха.

Лагерщина расползалась по отдалённым и не столь отдалённым местам стоглавыми чудовищами. Горбонос радовался за бдительные органы, умеющие постоять за обновленную Отчизну, способную поднять на охрану внутреннего порядка всю мощь стражников. Он достойно стоял на страже светлого покоя нации, оберегал её от всяческих посягательств злобных недобитков.

Гипноз от политзанятий проник в мозги, усыпил самоконтроль, нарушил самоанализ правды. Чикисту успели вдолбить истину о другой правде, хитро замаскированной под ложь. Горбонос и не ведал, что он оказался одним из многих тысяч служак, попавших в тенёты антинародной политики. Слеплённые пропагандой оправданных действий, необходимостью жестоких расправ, грубого насилия, готовые на всё новоиспеченные опричники ломились напролом на стенку народа. Красная ложь парализовала сознание, травмировала психику, множила ряды бездумных. Слова в р а г н а р о д а ,

к о н т р а действовали оглушающей яростью, как багровый цвет мулеты на быков корриды.

Сослуживец Натан был для стукача объектом неустанной слежки. Чутьём унюхал лёгкую поживу. Стихолоб Есенина до хруста челюстей зевал на политзанятия. Проколотся с рапортом об увольнении. Нельзя бросать бойцов зримого фронта в момент развёрнутой крупной атаки на всё наглеющую деклассированную сволочь. Идёт полное очищение рядов молодой республики, омовение террором.

Со склада Горбоносу выдали поношенную кожаную куртку. На чикиста не так бы благостно подействовало повышение по службе, как знак особого внимания. Кожанка, прожжённая на рукавах, воротнике папиросными искрами, залоснённая, исжужканная от долгого ношения, словно повышала в ранге палача, всецело преданного делу борьбы с плодливой сворой.

– Сопли отстирай с подаренной одежды, – съязвил Воробьёв.

– Завидно?! У тебя и такой никогда не будет.

Волны непримиримости захлёстывали служака.

Время катилось хорошо смазанным колесом истории. В директивах с грифом «совершенно секретно» держалась непотопляемыми буйками зловещая сцепка НКВД. Роковая. Беспощадная.

Колпашинская Ярзона напоминала разворошённый палкой муравейник. Прибывали свежие покусители на власть.

Бригада плотников достраивала барак. Помогали к о н т р и к и – конопатили стены, подносили доски, готовили цементный раствор. Угрюмый Тимур ласкал топор:

– Вот дружище, какую подлую работёнку нам подсунули... Ничего, я потом топорище отскоблю, нагар зонный сниму.

Строителей предупредили: следите за топорами, пилами, стамесками, молотками. Контингент опасный – всякое может случиться.

Опасники не навевали страха на смельчака. Люди как люди. Взгляды не хищные. Речи рассудительные, мудрые. Вот в глазах вспыхивает обречённость, томит предчувствие свинца.

Щуплый счетовод, арестованный по оговору, умело конопатил стену барака, повёрнутую к Оби. С реки налетал напористый ветер. Для него не являлась преградой зонная ограда с вертухаями на вышках.

Вкрадчивым голосом Тимур спросил:

– За что арестовали?

– Не знаю. – Заозирался по сторонам. – Завинили за честность, за несговорчивость с начальством-жульём... Ты с воли?

– Какая воля! – усмехнулся плотник. – Вот эти решетки мы с отцом принудительно ковали. Теперь вот согнали мастеров-топорников барак возводить. Разве по своей воле стал бы я на позорном объекте топором тюкать.

Появился укладкой Кувалда, зыркнул на собеседников.

– Любезничаете? Плотник, ты разве не предупреждён: с контрой ни слова.

– Объяснял как паклю лучше в пазы умащивать.

– Смотри! Умашу обоим...

Отхаркиваясь, Тюремная Харя скрылся за баракom.

– Зверюга! – послал во след счетовод. – Староверу Власу два пальца отрубил. Ни за что. – Огляделся, зашепотил: – Оставил бы кто-нибудь топор в тайном месте.

Влас отомстить хочет. «Нарушу, – говорит, – древний закон «Не убий», но этого гада вычеркну из жизни...»

– Без топора можно расправиться.

– Остановился на остром оружии. «Сначала, – толкует башку размозжу, потом Ильича татуированного искромсаю...» У него дед волхвом был. Сам чует: расстрел уготован.

– Деелаа! – выдохнул Тимур.

– Ещё какие дела – все прелыми нитками шиты. Насильники хотят дратвой прострочить. Вот и выбивают признания любыми способами.

Дерзость двуперстника понравилась Тимуру. Их род Селивёрстовых казацких и старообрядческих корней.

Верил нарымец Тимур тихоголосому счетоводу. Благородное зло старовеца передалось и ему. За отрубленные пальцы Тюремная Харя заслужил мечь.

– Закончим строительство – занесу в зону другой топор. Свой плотницкий марать не дам. Ты передай братцу-старовецу: Тимур поддерживает его благородный умысел. Тот, кто лишил человека пальцев, возносимых в мольбе к Господу – не достоин жизни. Кару себе у судьбы выторговал. Святое дело задумал Влас.

8

Мучаясь бессонницей, Натан читал про себя:

Отговорила роща золотая

Берёзовым весёлым языком...

Рассуждал: «Неужели и зажатая в тисках Ярзоны жизнь отговорила грустным языком судьбы?»

Упрямица Прасковья всякий раз давала понять: ненавистен ты мне. Зря время теряешь... Верно – зря. Чего

пристал к остяцкой бестии с кровью, разбавленной карасёвой жидкостью... Во всех нас течёт трусливая рыба кровь... не можем восстать против наглого угнетения огромной нации. Кучка таких вот кожанников, как оступелый от службы Горбонос, царит над униженным людом, помыкает им... Семена репрессий проросли чертополохом террора...

Гой ты, Русь моя родная!..

«Нет, не уснуть, Серёжа... Кто довёл тебя до удавки? Разве не позорная смута, науськивание твердолобых большевичков?.. Впереди – выжженная пустыня зла и насилия...»

Под ненастное утро измотал тяжёлый сон. Бесы терпеливо дождались, попрыгали в неохраемое пространство, где вновь разыгрались удушающие сновидения. Удалось оборвать бесовской шабаш. Проснулся. Часто смаргивая, давил закрылками глаз разлетающиеся чудовища, спешно покидающие изголовье.

«Ах, гады! Ах, гады!»

Не кошмарной представлял молодость паренёк из глуши. Не туда повела Натана судьба-путеводница. Чикист не раз подумывал пустить себе пулю в лоб, залечь со всеми в народный яр под успокоительный слой песка и хлорки.

Всё тяжелее становился наган, поднимаемый до уровня голов.

С неделю хоронили по-христиански – в наспех сколоченных тесных гробишках. Сотни трупов, словно восстали против такой роскоши захоронения. Никто не догадывался о весомом наплыве мертвецов. Ярзона обладала уникальной возможностью прятать концы не в воду – в слежалый песок веков. Понадобились

штабелёвщики: плотненько укладывали трупы рядами ровными, экономными.

Всё восставало в Натане Воробьёве против гнусной идеологии насилия и бесправия. Незаметно затащили в молодёжный отряд. Под бравурные марши, под краснотой стягов веселилось неунывающее племя с выжженными душами.

Политгипноз, газетная шумиха усыпили многих.

После второго рапорта, смачных матюгов коменданта, Воробьёва перевели в вышкари. Одержанная малая победа согревала недолго. Начались караулы на продуваемых вышках. Вертухай ходили с медными мордами, отшлифованными ветрами.

С вышки просматривалось внутреннее убожество Ярзоны. Серые от дождей постройки, жидкие дымки из труб... бредущие нехотя парашечники... дворик для прогулок... Вон у нового барака его соперник Тимур... Вышкарю стал нравиться умелец-плотник. Задружить с ним можно.

При встрече Горбонос не упускал возможность позубоскалить над замкнутым сослуживцем.

– Вертухай, к небу вознёсся... ну-ну... Не нашей закалки оказался... хреновый дзержинец...

Выткался на озере алый свет зари...

Отбился строкой от приставалы – нервы успокоил. Не хочется Натану вступать в спор с чирьястой бестией. Придумал для себя есенинские пилюли. Стихи обезболивали, отсекали словесную галиматью упёртого чикиста.

–...Ты из трусливого десятка...

Не жалею, не зову, не плачу...

Неожиданно ласковым проникновенным голоском Горбонос посочувствовал:

– Может, тебе нервы, Натанушка, подлечить? Путёвочку выхлопочу... комендант – добряк... Полежишь в палате № 6, мозги освежишь...

Вышкарь умело кугал палача в кокон отрешённого взгляда... Вот совсем растворился, исчез в зонном спёртом воздухе.

Старовер нежно ощупал спрятанную в кармане куртки бронзовую иконку Георгия Победоносца. Отлитый в семнадцатом веке лик оберегал их род от бед, пожаров и наводнений. Не винил Георгия, что не уберёт от напраслины, от тюрьмы, от надругательства.

Пристыкованные обрубки пальцев срастались плохо. По ночам терзала опалимая боль. Счетовод рассказал о сердобольном плотнике, о готовности принести в зону топор мщения.

Закрадывалось сомнение: поднимет ли его приверженец древней веры на человека, пусть и лютого, бессердечного? Тюремец с наколкой картавого вождя не ведал, что творил. Бес ослепил... Даст ли Господь прозрение... Я – Невинный. Никого не обижал, не предавал. Народу, земле Нарымской не вредил. Жил по святому уставу предков... Глубоки корни чистой родниковой веры... вросли в плодородную почву минувших веков... Не расшатать, не вырвать могучий ствол: он сросся с Русью задолго до поганого раскола... Духом правят свыше... Какие тёмные никонианские силы могут обороть старообрядчину, замешанную на чистых помыслах, освещённую целительными молитвами...

Журчат светлые мысли в голове, боль в пальцах притишают.

Отстранённый на время от зонных работ, Влас чаще стал придаваться текучим размышлениям... Современная ложь... Неправедное житие. По Руси прошел такой новый дикий раскол – вообразить нельзя. До скита в Нарымском урмане тоже долетали слухи о неслыханной вражде братьев и сестёр библейской веры. По живому, по крови резали их, подсовывая ложь в маску правды. В скиту прятали, спасали древние иконы, старопечатные книги, лампадки, подсвечники. Налетали вороньём белые, красные. Выгребали съестное. Искали золотишко, меха. Налётчик с красной звездой на мятой фуражке, пнув Власа в живот, орал: «Где скрывается поп?» Не знал дуралей историю веры. Мы отродясь без попов-вероотступников жили. На то и существует древний часовенный толк, беспоповщина. Всегда обходились без книг инакописных. Ни к чему нам их новое священство. Возвели на престол царство антихристово... пожинают плоды вражды. С того и муки мученические всплыли на святых водах веры предков...

Легко бегут думы о скитских братьях и сестрах. Зримо увидел лица начётчиц, славно читающих кануны во упокой святых великомучеников... Потянуло на благие молитвы. Отшпатав их, Влас хрипловатым проголосьем трижды возгласил «аллилуйя».

Умастил иконку в тайный кармашек куртки – напротив сердца: «Согревай, светлый Георгий Победоносец, душу мученика... постоянно слушай стук надломленного сердца... Родной заступник, сокруши метким копьём всякое лютое зверье... Следил ты за одним змеем, глядь – выползли шустрые змеёныши, умеющие жалить с самого расплода... Смута за смутой... житься изверги не дают, хуже всяких ворогов мор сеют...»

Грустные размышления на жердяных нарах прервал лейтенант Горелов. Поздоровался. Спросил о больной руке.

– Не чую...

– О зверстве доложил коменданту. Самосуд будем пресекать.

– Спасибо за слова утешные. Господь праведный учит, учит людишек – не в толк... Словами, даже заступными, пальцы не пришьёшь.

– Скоро будет опытный хирург. Посмотрит – не началась ли гангрена.

– Не слышал такое слово, но чую – страшное: геенна огненная.

– Почти. Заражение крови.

Близко к нарам офицер не подходил: боялся переселения вшей и блох. Отовсюду свешивались грязные лохмотья. Подсыхали покоробленные кальсоны, перепачканные известью и цементом штаны, куртки. Парусили портянки. На втором ярусе нар Сергей заметил потрёпанный молитвенник. Подумал: «Нашу власть никакими молитвами не прошибёшь».

Оставив старOVERY кусок ржаного хлеба с пластиком нельмового балыка, особист вышел из барачных сумерек.

При виде подарка под глазом Власа сверкнула тёплая хрусталинка.

Дураковатый рассыльный Оскал принёс кузнецу очередную записку на берёсте. Опять хотел стырить гайку, Никодим дал ему два свинцовых грузила. Писулька от председателя гласила:

«Срочно отримантируй мою кашофку»

– Приказчик сраный!

У горна лежало несколько берестяных лоскутков на растопку.

Кузнец швырнул туда новый п р и к а с. Спасибо хоть материалом растопочным снабжает.

Оскал переминался с ноги на ногу. Отсвет огня бесовски плясал в его подсинённых глазёнках.

– Дык, кукой ответ?

– Смастери фигу.

Когда большой палец умастился среди такой же чумазой парочки, Никодим с радостью увидел: парнишка испёк весьма сдобный кренделёк.

– Вот так донеси мой ответ до самой конторы. Покрепче держи. Поднесёшь кукиш Евграфу под нос – карамелек тебе куплю.

Подняв ручонку с фигой над головой, радостный мальчишка, забыв от волнения подшмыгнуть соплинку, пошлёпал по грязи к Самому.

У наковальни без помощника тяжело. Забрали сына на возведение тюремного барака. Скверно трудить жилы на чужих работах. Если мы единоличники – отступитесь от нас, не давите вонючими заказами. Ишь, конторь прикасы шлёт... кашофка понадобилась...

Вспомнил о Тимуре. Рана от стрелы долго не заживала. Мазь травницы помогла плохо. Отец раскалил хомутное шило, приказал сыну: «терпи!» Медленно погружал стальное жало в красный вулканчик, поворачивал его, как веретёнце. Сын часто зевал, словно выпускал боль через разинутый рот.

Узнав об огненном лечении, Соломонида обняла Тимура, прижала голову к тёплой груди – наковальне.

– Изверг твой батька!.. Больно было, сынок?

– Щикотно...

Смышлёный Оскал донёс кренделёк в целостности. Поднёс кукиш к ноздрям Евграфа, повертел всей чумазостью пальцев. Председатель отвесил смачную оплеуху.

– Дык, чиво дирёсси... Ответ пронёс от самой кузни – трудо-день выставь.

– Чертёныш! Получишь трудовень – в мешке не унесёшь.

Председателя колхоза раздражало наглое непокорство единоличника. Чего не раскулачили Селиверстова в первую шумную волну коллективизации? Давил бы сейчас мхи на Васюганских болотах, рыл себе нору под зиму... Не пойдёт на поклон Фесько к строптивому кузнецу. Кошёвку, сани другие изладят... От подкулачника избавлюсь всё равно.

Сел строчить в органы большую цидулю. Строй колхозный не признаёт. Власть поносит бранными словами. Староверы навешают. Изрядно приврал: в кузне сходки... шашки ковал...

Городил словесный огород, не веря в надёжность загородки. Ничего... В комендатуре сродственник поможет охомутать паршивца... Сейчас не такие головы летят...

В контору шумно ввалился племянник Евграфа Ганька – парняга бандитских кровей. Успел намотать на клубок жизни тюремную пряжу. Подпрыгивая на затоптанном полу, словно собирался воспариться на парах самогонки.

– Дядька! Меня в зону на службу берут!

– Да ну!

– Салазки гну! Надзирателем принимают.

Не помудрел Ганька за тюремную отсидку, не остепенился. Зато уверовал в сладость и силу откровенной свободы. Скоро будет при исполнении, при власти. В тюрьме томской над ним изголялись, по харе поколачивали... Отошло в прошлое нарное изгойное существование.

Дядя собирался пожурить племяша-виношника – поостерёгся. Ишь, шельма, куда залетел. В комендатуре вся власть в железном кулаке. В Евграфе Фесько сильнее зашевелились кривые коленца мозгов. Всплывали в башке слова – кузнец... комендатура... надзиратель Ганька... Всё складывалось в пользу председателя, который упорно

строит соци-лизм. Не сомневается – упечёт кузнеца в зону, минуя раскулачку... Он у меня сразу две академии закончит...

Засольщица Прасковья Саиспаева жила с осторожностью рыси. Глядя на холмистость её живота, ревнивица Сонька язвила:

– Набухаешь, незамужка?! И то. С Оби ветром суразят не заносит.

Учётчица понимала – с рождением Тимурёнка дорога к любимому будет напрочь отрезана.

Сейчас трудно сбить Праску на психовинку. Она внимательно прислушивалась к близкой глубине тяжелеющего чрева. Глаза сияли, влажнели от сокрытой непонятной нови.

– Выковыривай, пока не поздно, – давала дерзкий совет Сонька. – Забузишь себя с молодости... Тимуру-то нужен плотничек с пуповиной?

– Кровиночке моей лютой смерти не желай...

В Тимуре боролись, наскакивали друг на друга драчливые чувства: надо – не надо? Матушка о свадьбе дундит, радуется – внука тятящить охота. Уверовала Соломонида: будет слепок с сына...

Отец рассержен: без благословения родителей, самовольством окрутились молодые. Остячье – падкое на грех племя... подолом схлопать, что чешую с рыбы снять... Видел девку – пригожая, видно, сладкогубая... в глазах бесовство затаилось... Надо по уму, по закону поступать. А то спешно обженихались – под закон природы подпали... плоть с плотью сослепу столкнулась...

Через месяц, когда порхали первые гостевые снежинки, к кузнице подъехали на лошадях Горбонос и Ганька. Племянник Евграфа резко шелкнул плетью: звук

шрапнелью просвистел. От выпитой в дороге самогонки першило в горле, скапливалась кисельная слюна.

– Никодим! Выдь!

Появился Тимур, зло уставился на непрошенных гостей.

– Где отец?

– Дома. Болеет.

– Быстро вылечим,- съехидничал Горбонос. – Пусть сегодня же явится в комендатуру.

– По какому делу?

– По внутреннему,- уклончиво ответил Ганька, пытаясь пустить смачный плевок. Слюна прилипла к устью губ. Вытер незаметно тыльницей ладони. – Пошли! Повестку лично передадим.

Подкосил Никодима сорокаградусный пыл. Отрешённо разглядывал казенную, сложенную вчетверо бумагу. «Не заказ кузнечный навязывают... самого сомнут скоро... четвертуют...»

Ход мыслей прервал Ганька:

– Срочно явись. Без задержки... Комендатура заждалась.

Лагерному отсиднику полюбилось ядрёное словцо – к о м е н д а т у р а . Охотно пропускал сквозь строй прокопчённых самосадам зубов.

Горбонос не покидал седла. Гарцуя у высоких ворот, улавливал ликующие нотки в душе. Начальство доверяет важные поручения... пусть старенькая кожанка, но хрустит новенькой ассигнацией... работёнка не пыльная... власть – крупняк...

Дворовый лохмач заливался у конуры ненарошным облаем, мешая удачнику удерживать мыслишки на радостной волне. Соломонида тихо науськивала пса: «Взять их, взять сучье племя!»

Выйдя на широкое ладное крыльцо, Ганька подумал: не перетянуть ли хайластого кобелину плёткой. Он не выпускал из руки казацкую змею даже в избе. Рассуждал: «крепкий пятистенок у кузнеца... Арестуют – можно перевести дом в имущество колхоза. Дядя мне хоромы отдаст... Жениться надо... без бабы – урезанная жизнь».

Г л а в а в т о р а я

1

С низовья, с северов ломились ледяные ветры.

Могучий Колпашинский яр смело подставлял широкую грудь. Сопрели столетия, сдуло их с широких просторов прошлого. Яр, укрепляясь духом, выстоял, одолел время. Отваливались от него пласты вместе с береговой дерниной – отверженная земля неохотно осыпалась под круть. Неравнодушная вода давала чуток отлежаться осыпи и уносила вековые пески недюжинной силой Обского течения.

Разбежались по затонам чумазные катеришки, баржи, напуганные скорым ледоставом: из них успел выветриться за навигацию смоляной дух. Трюмы пропитались иными запахами. После сельдяной скученности ссыльников осталась стойкая вонь от блевотины, трюмных параш. Не исчез застойный смрад от трупов, которые подолгу не выносились из нутра широкопузых посудин. Шла не естественная косовица на широком полюшке жизни. Сечи не было, но смерть усердно секла ряды супротивников власти, измышляющей бредовые идеи. Куда девать всё возрастающий наплыв вшивой, оборванной, полуграмотной черни? Отточенная злыдней-смертью коса услужливо расправлялась с сердечниками, тифозниками, туберкулёзниками, ослабленными духом, нервами, энергией

внутреннего сопротивления. В трюмах барж, на обском острове, картинно раскинувшись на левобережье, ещё недавно ютились люди Руси, низведённые репрессиями, унижениями, полным бесправием до дикого положения отверженности и презрения. Сбитые в тесные стада лишенцы крепились, как могли. Стоицизм и выдержка доставались не всем. Большинство, зачищенных метлой органов внутренних дел, надеялись на лучшее... разберутся... узнают о невинности... выпустят. И только обладающие провидением волхвов убеждали: мясорубка дробит и косточки.

Подследственных островитян, баржевиков перегнали в новый просторный барак. Кузнец Никодим Селивёрстов проявил фантазию: каждую решётку отковал в форме разбегающихся солнечных лучей. Пусть посветит стальное солнышко, хоть чуточку согреет души лишенцев. Сталь в клеточку больше устраивала хозяев Ярзоны. «Ишь, кузнец хренов, приласкал отсидников... отсебятину допустил – райский видок устроил.»

Тюремная Харя, он же Кувалда, обтирался на дворике первым снежком. Пусть все видят его тугие бицепсы, широкую грудь, наколку вождя пролетариата. Ничего, что похож на Мамаю.

Отсидки научили верзилу бесстрашию. Любого утихомирят чугунными кулаками. Вот появился новый надзиратель Ганька. Имя сопливое, сморчковое. Сразу полез сучонок в услужение. И то. Всего одна ходка... Под моим началом все недостающие ходки пройдет... Поставлю на кон его незрелый умишко...

Снежок взвеселил. Тело запламенело.

Избу-пытальню пришлось отдать для проживания обовшивленных новобранцев. К чему она – бывшая читальня, если отсюда поросячий визг старовера был услышан комендантом. Нашли для пыток удобное

подвальное помещение. Ближе к преисподней метров на пять. Там яркий песочек заглушит даже пушечный выстрел. Орите, родные, благим матом – затычки в рот не потребуются.

Среди отпетых тюремщиков Кувалда чувствовал себя чертёнком на побегушках. Вспомнит азиатские рожи главарей, ухорезов славянского происхождения – посеёчас оторопь охватывает. Блатняк, испытанный перестрелками, поножовщиной и потопорщиной, был ошрамлен, расписан диковинными наколками. Незримая мощь коронованных воров распространялась далеко за пределы массивных тюремных стен и ворот

Хлебнувшая баланды, выпущенная на волю лагерная шантрапа продолжала платить посильную дань в общак. Кувалда был тоже посажен на монетный оброк. Он в полном смысле заглядывал в рот контре, высматривая драгоценные зубы. Редко где мелькало золотишко. Поблёскивала простая смертная сталь. Зачастую и её не встречалось. В распухших, тронутых цингой дёснах зияли пустоты, торчали серые пеньки. Цинготников Тюремная Харя научился определять с зонных академий. Их пичкали сочной колбой, поили взваром шиповника, заставляли жевать пихтовую хвою.

Оглядывая в бараках скученную, измятую жизнью шваль, Кувалда оценивал: «Нищий народишко – ни колец на пальцах, ни золотой лихорадки в пастях... Для чего нагнали сюда послушное стадо овец?..» Порою просыпалось запоздалое чувство раскаяния: «Зачем выбивает в пыталне признания в том, чего даже не помышляли угодившие в западню?.. Распахнуть бы ворота Ярзоны, дать каждому глупышу пинка под зад... катитесь на все четыре сторонушки... Однако рок стережёт: почти всех ожидает пятая сторона света – яр...»

Стены нового барака слезились живицей. Струился вкусный смоляной дух: он плыл над ярусами нар, влетал в ноздри. Власу хотелось подольше удерживать духмяную весточку с воли, наслаждаться веянием недалёкой тайги. Все надежды на Власия Чудотворца, на Георгия Победоносца. «Святые бдят... Святые помогут...»

От жара молитв мокрела спина, влажнело под мышками. От страстных слов лоб покрывался испариной.

Меж пальцев левой руки скитник растёр капельку живицы. Жадно втягивал ноздрями незабытый аромат, выпуская его до самой глубины. Обрубыши пальцев срастались медленно, мучительно. Изредка их пробивал сильный зуд – верный признак сломленного недуга. Влас редко разматывал тряпицу, боясь повредить красным рубцам. Хирург приносил вонючую мазь. Удивлялся звериной живучести организма бородача.

Невинный знал: ему помогали святители, неувядающая вера.

В пыталню приводили ещё раз. Допрашивали: знаком ли с кузнецом Селивёрстовым... тоже из своры староверов – заговорщиков...

Ответил: «Слыхом не слышал».

Поверили. Выпустили без очередного членовредительства. Кувалда старался быть ласковым. Поставил перед Власом кружку клюквенного морса. Старовер отвернулся, не приняв подачки. Кусочек ржанухи с нельмовым балычком, преподнесённым лейтенантом Гореловым, съел с превеликим удовольствием. Дар от истязателя принимать не хотел.

– Мурло старозаветное! – озлился Кувалда, выплеснув морс в лицо двуперстника. – Отвечай: в вашем Сановском скиту золотишко водится?

– Белые искали. Красные искали. Нетути.

– Откроешь секрет – свободой задышишь.

– Нетуги...

– Пошарим – найдём.

Очередника-белогвардейца Тюремная Харя подверг на допросе придуманному новшеству: надел на голову колпак, сшитый из старого прорезиненного плаща. Скоро от нехватки воздуха голова заговорщика загудит медным колоколом. Из глаз вылетят искры, отчётливо видимые во тьме заточения...

Послышалось злобное мычание... всё тише, тише... впал в бескислородный гипноз.

Опасный трюк не поощрялся начальством. Эсер задохнулся под колпаком. Списали на «сердечный приступ». Кувалда научился улавливать золотую середину мучения. Замолкнет подследственный – истязатель срывает прорезиненный колпак, приводит саботажника в чувство кулаком.

– Вредитель? Поджигал колхозный хлеб?

– Нет!

Снова удушье. И так до тех изморных пор, пока дрожащая рука не выведет сносную подпись. Попался редкий упёртый лишенец – семь раз околпачивал. Злостью закипел – зубы высадил. Не выплёвывал гад, боялся без золотишка остаться. Пришлось окувалдить по затылку – зубы с кровью выплеснул.

У Кувалды подписные листы блинами пеклись. Ценили в Ярзоне циника, наглеца и негодяя. До начала мучения давал передышку на раздумье.

– Ставишь подпись – верный шанс остаться в живых. Не подпишешь вопросник – свинцовый гостинец обеспечен.

Куда деваться пленникам. Признавались во вредительстве, в умышленном поджоге мостов, сельсоветов, амбаров с хлебом, в сокрытии оружия для новых бунтов... Агрономы, бондари, хлебопёки, сплавщики, строители думали днем и ночью, как бы скорее влиться в контрсоюзы,

организовать свержение власти вилами, гаечными ключами, ситами-мукосейками.

Проницательный зонник видел по лицам допрашиваемых, кого можно, кого нельзя дожать на принудительную закорючину под бредовыми вопросами протоколов. Рука-кувалда и та немела от постоянных ударов в челюсти, рёбра, под дых. Обматывал тряпкой увесистую киянку, столярной шуковиной выбивал не только стон, но и признания. Фамилии-подписи сияли фамильными драгоценностями.

Другие дознатели пристёгивали контру. Кувалда обходился без стены плача, без подсобы – ремней. Риск нападения успел пережечь. Видел по выпученным глазам заведённых в пыталню «взрывников», «поджигателей»: они всецело его. Животный страх поднимался от пяток, охватывал всё тело.

Тюремная Харя отправил в прошлое такие либеральные наказания, как измор голодом, безводьем, долгим содержанием на выстойке, лишением сна. Терялось драгоценное время. В Ярзону прибывали очередные этапы. Из каждого этапника надо вытрясти не только душу, но и признание сотворенной вины. Набросив петлём на шею копновою верёвку, подручных дел мастер прошипел в лицо истощенной жертвы:

– Хочешь – без перекладины повешу?

Уверенный голос:

– Сделай милость.

– Смелчак! Ценю таких... За что загремел? Знаю. Не доказывай... У нас за правду и ложь – все под нож. Выпалил, испугался обнаженного умозаключения.

«С чего на откровенность потянуло?»

Заглянув в родниковые глаза хилячка, устыдился недавнего устрашения. Освободил шею от копновою верёвки, швырнул её в угол. Кувалде не попадались

человеки, могущие гипнотически-небесным взглядом обезоружить его. Этот впустил в силу рук слабость, втолкнул в мозги раскаяние. Обшарив полинялую одежду, нащупал в потайном кармане золотое кольцо.

– Можно взять в залог дружбы?

– Оно тебе удачи не принесёт.

– Заговорённое?

Мужичок промолчал, испытующе посмотрел на растерянного палача.

Не узнавал себя сегодня убийца. Давно уверовал: время, отсидки, убийства напрочь выжгли душу... пепел разнесло куда-то сквозняками никчемного существования. И вот на старом пепелище проклюнулся росток диковинной веры в воскрешение новой души.

Вблизи спокойного смельчака Кувалда внедрил в умишко спелую мысль: в своих грязных лапах осквернил золотое кольцо. Дунул на него, почистил о свою суконную рубаху. Опустил в то же потайное местечко.

– Храни... пригодится...

2

Никогда не нравились коменданту слитые буквы ОГПУ. Не строгая контора, а Омское Горнопромышленное Училище. Не таилась в той аббревиатуре разгонная мощь... не стальной сплав...

Когда засияло НКВД – настроение взлетело до небес... Могучая птица...

Птицы – грифы уверенно уселись на вершины деловых бумаг, тайных директив и распоряжений. Наконец-то развязали руки особистам, языки заговорщикам... Страх, только животный страх без примеси поблажек, слюнтяйства... Грифы будут расклёвывать падаль, отбросы общества, созидającego улыбочное будущее.

Кишит Ярзона оборванной вшивотой. Надо в ускоренном наганном режиме валить её в береговой песок – тихий, безответный, с вековыми традициями молчания.

В яме-пытальне идёт жаркая бесперебойная работёнка. Много признаний скопилось для троек... Ждём быструю езду от решений. Приговоры с двумя малорослыми буквочками в/м потекут скоро. Вы с ш а я м е р а... Первая категория людского мяса... Надо бросать на чашу весов каскадного террора неугодников власти... Новый век... Новая опричнина... новый грозный царь на высоком престоле. По сравнению с ним Иван Грозный – тихоня, слабовольник.

Редко появлялся в бараках важный Чин. В свите охраны всегда находился лейтенант Горелов, умеющий сглаживать остроту переговоров. В Ярзоне к уравновешенному, красивому офицеру относились с должным почтением: разглядели в особисте человека не притворной правды. Когда начинался гвалт жалобщиков, лейтенант поднимал руку, магическим движением запыхивал рты напряженным молчанием. Никому из свиты охраны не удавался затейливый психологический трюк. Сергей видел в густой обездоленной, обезволенной массе не расстрельное мясо. К заступнику тянулись сердца и руки белорусов, татар, латышей, украинцев, русских, мордвы, обрусевших немцев. Прикажи им сейчас лейтенант государственной безопасности: «Растерзайте на куски всю комиссию!» – первыми набросятся на верховного правителя обособленного мирка на высоком берегу Оби.

Упрекал Горелов судьбу: бесцеремонно распорядилась несвободой, местом выбора службы. Она томила, унижала, заставляла идти против неокрепшей воли. Народ извальяли во лжи, предали, лишили цели. Он и себя чувствовал частицей народной массы, изнывающей от вопиющей несправедливости, наглого беззакония. Ощущал: гремучий

каток репрессий накатился и на него, плющил, превращая в ничто и ничтожество.

Погружаясь в глубины истории Отечества, еще в студенчестве Горелов проникся чувством искреннего сострадания к погрязшей нации. Династия Романовых не смогла по-настоящему оценить истинных кормильцев Руси. Царедворцам, разветвлённым кланам жадных придворных прихлебателей давалось бессрочное право жиреть, обогащаться за счет каторжного труда землепашцев, угледобытчиков, ремесленников, ратников, проливающих кровь за шкуры тыловых крыс. Услужливые церковники дудели на проповедях в писклявую библейскую дуду. Вдалбливали простолюдинам о христианском долготерпении, повиновении барской власти. Барство, рабство существовало по непрописанным уставам непримиримости и вражды. Челядь. Чернь. Рабы. Простолюдьё... Не допускалось никакой пересортицы – элитный товар аристократии не перемешивался с третьесортным народишком. Пусть добывает все блага для бесстыдной прожорливой знати, стоящей на вершине государственной пирамиды... Те же тюрьмы, темницы для заточения... рудники... охранка... кандалы...

Сияли мечты народников, борцов за свободу. Мечталось: «Оковы тяжкие падут...» История разворачивала свитки страшного содержания...

Жалел лейтенант Горелов обреченных на смерть. Знал – зачем на изнурительных допросах выбиваются зубодробительными приёмами закорючки в протоколах. Офицер с невысоким званием не мог даже воткнуть палку в крепкие спицы адского колеса. Письмо к усатому горцу с трубкой так и не было отправлено: посчитал пустой затеей писать тому, кто не мог не знать о нарастающих злодеяниях.

Кузнеца Селивёрстова арестовали после посещения комендатуры. Наговорщина председателя кол-хоза обернулась заточением. Барак молча принял очередную жертву.

Надёжные решётки на окнах. Никодим вперил взор в изделия своих рук. Резь по сердцу прошла. На скулах желваки напряглись. Выходит – самому себе ковал из прутьев ясное солнышко: аккуратные лучи брали разбег из нижнего левого угла, обрывались в верхнем... Сынок барачище зонный строил батьке: живи, родной, не скучай.

От ворчливой Соломонида ни разу не приняли весточки с воли. Не разрешили встречи. Люто возненавидела тупоумного Евграфа Фесько. Догадалась: арест единоличника – дело его поганых рук, нечистоплотной души.

Могутная русская баба, которая могла коня на разлёте остопорить, высвободить засевшую по ступицы телегу из грязи, не знала, как расправиться с грязью бесцеремонной власти. Пучина крепко засасывала. Вот и её силач благоверный без всякой провинки заключен за тюремные стены... Господи, вразуми нехристей, одари человеколюбием...

Терзался Никодим от огульщины. Вины за собой не знал. Хотел в скором времени артель неуставную сколотить, земельку под неё получить, вернуть отобранный лужок. Где покосничать, если самодур Евграф, строя соци-лизм, с подпевалами из правления, отобрали луговину. Ещё дед гонял широкие прокосы по тем разгонным травным угожьям... За что воевал в гражданскую? Какую поганую революцию защищал? Ни воли. Ни покоя от хищных ворогов. Одно баюкало душу: сопливенький рассыльный Оскал фигу покругил под носом соци-листа.

Смельчонок. Пришлось два фунта конфет купить, расплатиться сладостью за мальчишеский подвиг.

Вертелась в голове знакомая мера веса – фунт. Лихо тоже отмеривается маленькой гирькой... Считай, Никодимушка, в этом бараке отпустили тебе первую порцию весового лиха... Вновь защемило сердце, проструилась по скулам напряженная дрожь.

Счетовод Покровский скрепился дружбой со старовером. Рассудительный Влас с иконкой святого Георгия Победоносца отличался ветхозаветной набожностью, глубоким пониманием незамутнённой веры. Иногда счетоводу мерещился светящийся нимб над кудлатой головой двуперстника. Исходил волнистый ореол, угасал под потолком барака. Друзья потеснились на нарах, освобождая местечко кузнецу. Влас знал Селивёрстова: в скиту ходили легенды о его силе, удали и мастеровитости.

Возник краснорожий Ганька, рукоятью плётки ударил по ноге кузнеца.

– Сползай! Не на курорт приехал... С бабой – парашей будешь ночлежничать.

Никодим подумал: «Не прибить ли разом гадёныша...» Призвал спокойствие. Хотелось свободы. Скрежетнул зубами, сжал кулаки.

Подошёл Горбонос, зыркнул на новичка. Прошипел Ганьке пару слов на ухо, оставил кузнецу застолблённое место на нарах.

Стоя на вышке, Натан переминался на скрипучем настиле. Мощный ветер с Оби проникал за овчинный полушубок. Подшитые валенки жали пальцы.

Поёт зима – аукает.
Мохнатый лес баюкает...

Под знакомые строки ветер баюкал рассерженного вертухая. Не аукнуть сейчас на раздольную Сибирь, не выпытать: что творится на её отбелённых просторах.

На кровати бессонница по-прежнему подступала к изголовью, мешала ночи исполнять желанный обряд сна. На вышке не терпелось закрыть глаза, погрузиться в холодную пучину.

Перестал испытывать к Тимуру никчемное озлобление. К чему? Не разобьёшь горячую любовь пущенной стрелой. Не порушишь пустой тратой ненужных страданий.

Не проходил кошмар увиденного в подземелье. Посинелый кулак, торчащий из-под слоя песка и хлорки, грозил отмщением. «Как ты мог, Натан, вляпаться в дерьмо Ярзоны?» Тюрьма на береговом изгибе, стала представляться огромной парашей, куда оправлялась вся энкавэдэшная шатия... Губилась молодость... Время проявляло терзающую суть...

Стал изливать душу Есенину, призывая во свидетели с того – дальнего света. «Был ты, Серёженька, попугачиком в стране... хотелось бежать вослед за тем комсомолом... Видно, не до конца раскрылся тебе весь трагизм кровавого Октября... Однако нутром чуял – не ту дугу прилаживают на шею народа... Ты не мог не знать о жестоком подавлении крестьянского восстания 1921 года. Земледельцы Западной Сибири, как липки, ободранные продналогами, продразвёрсткой, подняли голодный деревенский люд на свержение ига большевиков. Тюменские, ишимские, сургутские, омские, новониколаевские, другие обездоленные мятежные братья с вилами, топорами, охотничьими ружьями не могли одолеть вооружённых до зубов красных. У них бронепоезда, пулемёты, винтовки. Где-то под Тобольском в пекле бунта убит мой дед Пахом. Ему пешня в руках заменяла пику... Серёжа, скверно

организован наш табун. Поднимись народ могучей стенкой против новых коварных мамаев – разве продержалась бы долго не наша, не русская власть... Оторопь в народе. Сатана помогает насильникам. Он подсказал разделить нас на белых и красных... Разделяй и властвуй... Истинный враг в сторонке. Похохатывает над одураченной чернью... За каким комсомолом бежать? За оглуплённым? Не раскусившим идеи подложного мира, вранья о свободе и братстве?.. Повешаться бы на этой мерзкой вышке – пороку не хватает... Отсырели мы, Есенин, всем общим стадом отсырели. Ни Пугачёвых. Ни Разиных. Ни Сусаниных...»

В тягостном скулеже ветра послышался скрип снега.

– Стой! Кто идёт?

– Проверка караула... Спишь, что ли?! – Возмутился Горбонос. – Тебя с вышки можно ножом ссадить.

– Услышал ведь. Окрикнул.

– Поздно. Почти подкрался.

– Спал бы, чикист, сны цветные смотрел.

– В зоне топор наши. Бдительность – беззвучный удар по врагу. Не замышляет ли чего вшивота?

На топоре не оказалось отпечатков пальцев. Сочли сие за талант конспиратора. Собрали плотников, возводивших барак. Обойдя ладную фигуру Тимура, Горбонос спросил:

– Твоя игрушка?

– Мой топор дома спит, не шляется по зонам.

– Отцу занёс?

– Ходить с топором на власть – против суховея мочиться.

Чикисту ответ понравился.

– Смотри, гармонист, доиграешься. Твоим же топором волю стешем.

Узнав о беглом допросе сына, чуткая Соломонида переволновалась:

– Тимурка, уезжайте с Прасковьей в Томск. У двоюродной сестры поживете.

– Батю освободят – уедем.

От напряжения, пережитого в зоне, почти зажившая рана от стрелы напомнила о себе затяжным нытьём. Сгруппировалась боль, выходила фонтанчиками.

Дыша на рубец, Прасковья дотрагивалась до него пуховыми губами, целовала. По телу Тимура пробегала ознобно-томительная дрожь.

– Не щекочи...

Радовалась Соломонида воркованию молодых. Она видела необделённую любовь, так не похожую на свои соломенные чувства. Одна обидённая.

Не разрешили Тимуру повидаться с отцом. Не помогло заступничество Горелова. Сергей буквочки г/б – государственная безопасность – окрестил гибелью. Мрачнел день ото дня. Душа окатывалась кровью при виде полного поражения совести и чести сотрудников НКВД. Органы умели наводить слепоту на сердца, вверенные присяге. Лейтенант г/б догадывался: не он один ходит прозревшим. Не откровенничал ни с кем, боясь доноса. Раскулаченный отец не должен быть под подозрением. Сын ужасался в чувствах. Даже мысли казались сухими, покоробленными. Особенно опасался стукача Горбоноса, Кувалду и недавно принятого надзирателя Ганьку. От него веяло псиним духом, разило самогонкой, чесноком и самосадам: табачный перегар вытекал ядовитой струёй.

Второй и третий рапорты об уходе из органов возымели на коменданта горькое действие.

– Лейтенант г/б, ты начинаешь раздражать... Побереги отца...

«Запугивать принялся... Служба в зазубринах...»

Комендант часто проявлял нервозность. На него внезапно накатывались волны раздражения. От нервного

тика выплясывали веки. Запускал обе пятерни в смолевую волнистую шевелюру, скрёб ногтями зудкую кожу. Мошкаррой вылетала перхоть, оседала на кителе, на сукне стола. Многие из офицерского состава недолюбливали командира, однако службу несли ревностно. Воинская иерархия обязывала уважать ступенчатость званий.

Никто из сослуживцев не припомнит, когда была запущена в оборот кличка Перхоть. Она прижилась, как серая пыльца в волосах.

Волевой Горелов сносил грубость старшего по званию. В чём-то даже оправдывал раздражённого человека: «Такая нервозно-стервозная обуза точит нервы сильнее ржавчины». Гэбист не мог по серым глазам коменданта вникнуть в таинство его затыренной души. «Сознаёт ли он бесчеловечность, царившую в зоне? Знал ли служака об истинном положении дел в пределах всего Наркомата?»

Под шелест директив, циркуляров, предписаний велась планомерная гибель нации... Как теперь вырубить совершенно нескретные буквы г/б из своей судьбы?.. Совершенна ли система, обставленная вот такими концлагерями, бумажными тайнами, сокрытыми захоронениями... Не существует ли зловещий заговор против мученика-народа, ослабленного империалистической, гражданской войнами, восстаниями, мятежами антоновщины... Разве не наигралась мускулами красная рать. Не показала ярость возмездия за некоторые поражения в путанной истории.

На свежем примере раскулаченного отца лейтенант «гибели» видел всю пагубу злобного противостояния. Охотно ехали крестьяне обживать Сибирь по Столыпинской реформе. Их сужали деньгами. Давали возможность приобрести скотину, инвентарь, домашнюю утварь. Новые передельщики жизни преуспели в разрушении векового

уклада крестьянства. Налетели вороньём, расклевали добро, волю. Ссаживали с пашен, лугов. Лишали даже малых земельных наделов.

Внутренний бунт не давал покоя Горелову. «Комендант, не хочу выслуживаться перед тобой, перед органами... не желаю улучшать цифры раскрытия преступлений... В Томском университете мне открылись широкие горизонты истории. Сбил с неё всю окалину веков, проникся к простолюдинам искренней любовью. Насилие – вот основное оружие властолюбцев, не радеющих за процветание нации. Выведена порода доморощенных чертей. Не боятся ладана. Страшится свободы славян. В узде нищеты народом управляют даже пьяные кучера. Когда надо – задобряют обещаниями свобод, земли, воли. Насулят сладких пряников».

Где-то в Минусинско-Абаканской тайге, в глухом Понарымье отыскивали в скитах и монастырях старообрядческую повстанческую организацию «Сибирское братство» с центром в Томске. Лейтенант г/б Горелов вчитывался в очередное бредовое «совершенно секретное» сочинение... виделся запуганный старовер Невинный – человек далёкий от бунтов и мятежей. Выдернули из деревни кузнеца – единоличника. Прилаживают к Никодиму Селивёрстову оглобли, собираясь запрячь в шатко-валкую телегу старообрядческого братства.

Документы-телеги хранились в тонкой папке. Однако дела толстели, готовились для «троек». Государственные преступники разбрелись по революционной кадетско-монархической и эсеровской организации, польской организации Войсковой, по Российскому общевойсковому Союзу, по Союзу спасения России.

Доблестные органы десятками раскрывали белогвардейские заговоры, выявляли троцкистов. Отлавливали эстонцев, немцев, латышей, остяков,

украинцев. Особенно не щадили русских заговорщиков. В делах-фальсификатах на них сыпалось основное зло.

Тележники г/б охотно прилаживали колёса к тёмным делам с участием белобандитов, будто никогда, с бабаханья «Авроры», не было красnobандитов, изуверски мучивших белых, устраивающих от волжских берегов до восточных рубежей Родины искусственный голодомор и всеобщее разорение.

Сидели в Ярзоне искурившие газетный портрет Сталина, спевшие под бражонку частушки на тему разнузданных большевичков. Томились на нарах огревшие по морде насильника высокого партийного ранга.

Совестливый алтаец Горелов не подпевал хору политических слепцов. Отец поплатился сселением с земли за добро, нажитое потом, мозолистыми руками...

Рассказывал батя о страшном смерче, который довелось видеть в Ростове Великом. Около Успенского собора стояла телега с кирпичами, подвезёнными для ремонтных работ. Уложенные штабелями брёвна ураган подхватил с лёгкостью соломы, закружил в воздухе тёмными ворохами. Взбешенный порыв ветра взвалил на себя телегу с кирпичами вместе с саврасой лошадкой, пронёс над соборной территорией, покружил и опустил плавно на примятую траву. С телеги не упало ни одного кирпича. Савраска не получил даже ушиба...

Рассуждал Сергей: «Что останется после смерча-террора? Природа жалостливее, мудрее людей... От органов НКВД пощады не жди. В них просочилась звериная злоба цвета знамён. Краснобандиты вырезали на теле казаков лампы. Швыряли с колоколен звонарей. «Крестили» детей в кипящей смоле... Что за дикая орда накатилась на Русь, уже несколько веков не знавшую ига узкоглазых иноземцев?»

«Неужели усатый горец в кителе не ведает, что творится за высокими стенами Московского кремля? Неужели половину власти отдал опричнине, обменяв свой пай на тишину охранительных стен?»

Изучая тонюсенькие дела контры, лейтенант г/б Горелов не видел в них никаких крючков для зацепки. Грязными потоками лились доносы. Протоколы допросов пропахли кровью, гнетущей атмосферой пытални.

Апробированный на народе голодомор переместился в застенки Ярзоны. Разные масштабы – итог подавления воли один. Сутками лишённая пищи и воды безвинная чернь сознавалась во всех немыслимых преступлениях. Доведённые до обмороков и галлюцинаций, поджигатели хлеба, деревянных мостов, разрушители советского строя насильственно лишались сна, падали в пыталне на излёте воли и духа.

Находились смельчаки-протестники. Сами объявляли голодовки. Такие ценились: меньше сожрут хлебных паек, выхлебают тюремной баланды. До смертельных исходов героев старались не доводить. Вдавливали небольшие порции киселеобразной пищи через ноздри.

Всплыла из мутных вод сочинителей «троцкистская фашистско-террористическая организация». Она вызрела в недрах Томского Индустриального института и первого за Уралом государственного университета. Оказывается, закоренелые монархисты готовили такой переполох, от которого не очухаться соввласти. Вся эта надумовщина вела к финалу смерти.

3

После обнаружения отточенного топора по зоне прокатился великий шмон. При обыске услужливый Кувалда перетряс на нарах завшивленное, заблощенное

тряпьё. По прежним отсидкам он знал все потайные уголки родственной братии, умеющей божиться: век воли не видать.

Староверца Власа общмонал особо тщательно. Нашарил иконку святого Георгия Победоносца, гордо протянул Горелову на заскорузлой ладони бронзовую улику.

– Верни! – тихо приказал лейтенант.

– Можно заточить любой край – брюхо вспороть.

– Верни! – в голосе гэбиста зазвенела нотка злости.

К мастеру кузнечных дел Никодиму Селивёрстову надзиратель подошёл с рысёй настороженностью.

– Слон, выкладывай всё запрещённое.

– Свобода моя под запретом.

– Не крути языком. Тебе топор принесли?

– Посмотри на мои руки. Зачем в них топор вкладывать?

– Верняком сказанул. Такие булыжники впервые вижу.

На втором ярусе нар сидел счетовод Покровский, гонял на клочке бумаги крупную цифирь. Недоумевал – на чём мог подловить его фин-ушляк из «Рыбтреста». Подделали мою подпись... запустили в бухгалтерский поток подложный отчёт... Вслушивался в разговор кузнеца и палача. Зря подбивал Тимура оставить топор. Влас из рогатки не пульнёт в человека... Обрадовался возвращению иконки: борода осветилась.

Через три дня в барак втокнули избитого до посинения Тимура. Глаза, рот, щёки, подбородок представляли сплошной багровый кровоподтёк.

Подошел взволнованный отец, бережно уложил сына на предоставленное нарное местечко.

– За что они так, Тимурка?!

Из распухшего рта выдавилось – тпр...

– Топор?

– Гаа.

– Ага, значит за него... Кто-то затырил инструмент, моей кровинке приходится терпеть надругательство.

Знал Никодим о тайне. Знал и о том, что уши и глаза бедолаг Ярзоны можно использовать для доносов... Надо осторожничать, ни с кем не заводить доверительных отношений. О топоре знают четыре человека. На Власа и счетовода можно надеяться.

Изуродованное лицо Тимура отец протёр смоченной тряпицей. Сейчас бы помогли травница Фунтиха и Соломонида. Подумал, перекрестился. Боже упаси, попадать им в дремучие стены... Вишь как судьбинушка крутит: сынок отстроил тюремку, отец обрешёчил её... Оба обживаем хоромы.

Вышкарь Натан съездил в деревню, обсказал Соломониде положение. Привёз мази, лекарства, хлеба, сала. Две пары шерстяных носков. Передавая Никодиму свёрток, записку от жены, шепнул:

– Держи всё в секрете.

Узнав от Натана страшную весть, Прасковья Саиспаева набросилась на него с кулаками:

– Гад! Ты упёк его!.. Больше некому...

– Здоровье, нервы побереги. На сносях ведь.

– Совесть мучает... посылочки передаёшь...

– Пойми, землячка, я маленький человек в органах...

– Маленький да удаленький,- не унималась засольщица.- Соперника засадил... Все вы там – зверьё!

– Разберутся – отпустят... ну, пробуксовала где-то машина дознания.

– Чтоб она сгорела эта машина!..

Прасковья родила сына. Лекарица и повитуха разговористая Фунтиха с ухмылкой подняла сибирячка под потолок: светлая капель окропила морщинистое лицо.

– Вот сыкун! – ликовала старушка, с утра пропустившая стакан рябиновой настойки. – Кило на четыре потянет здоровячок.

Дыхание зашлось у Соломонида, когда увидела внука под листовенничной матицей.

– Чего над дитём изгаляешься? Вишь, описался от натуги.

– Не от страха – от радости появления на свет божий. Порода крепкая: в деда – кузнеца... Разливай рябиновку. Гулять будем.

Сыкунчика в честь деда назвали Никодимом. Обмазали правую ладошку смоченной сажеей, приложили к тетрадному листу. Получился заметный оттиск...

Толстуха Соломонида вприщур посмотрела на внучонка. По тугим щекам струились созревшие слёзы.

– Кончай болото разводить,- успокоила Фунтиха. - Вернутся твои богатыри.

– Тревожно за них... два клочка из сердца вырвали.

Счастливая Прасковья лежала поверх лоскутного одеяла, нежно поглаживая лобик, щёки бугузика. Беда и радость витали над изголовьем. Сгустилось над молодой матерью роковое время, зависло серым ненастьем, кудлатыми поселковыми дымами. Мечталось: вместе с Тимуром разделят восторг появления любимого человечка... Копошухой был в животе, волтузил ножками... куда бежать собирался, пузанчик?.. Куда убежишь, мальчонок, от жизни, опаскуденной комендатурой. От неё напасти.

Вслушиваясь в бульканье винца, воскликнула:

– Единоличницы! Мне-то поднесите.

– Молоко закиснет, – рассмеялась Фунтиха, – подавая граненый стаканчик. – Никодимчик, тебе пока нельзя. Ишь выцеливает глазёнками напитокок скусный.

Повитуха окунула кончик пальца в наливку, мазнула младенца по губам.

– Со крестом! С почином!

Очередной рапорт Горелова комендант подписал охотно.

– Завидую тебе, лейтенант: свободным соколом взметнёшься... На нас сваливаешь собачью службу... С трудоустройством помочь?

– Спасибо. В школу принимают. Буду вести занятия по боевой подготовке.

– Дело.

По привычке Перхоть взъерошил шевелюру. Офицер отступил от стола на шаг, боясь перепархивания обильной мошкеры.

«Неужели кончился ад? Выйду из порочных и прочных стен.»

С отчётливостью страшных слов встала перед глазами выдержка из стенограммы оперативного совещания. Пришла разнарядка НКВД по Западно-Сибирскому краю: «Вы должны посадить по лимиту 28 июля 1937 года 11000 человек. Ну, посадите 12000, можно и 13000 и даже 15000...Можно даже посадить по первой категории и 20 тысяч...»

Вот такая лавинообразная цифирь довела лейтенанта госбезопасности до кипения мыслей и крови. Первая категория – расстрельная. Чем не заготовка не пушечного – наганного мяса?!

Все было предусмотрено в той смертельной документине, даже сокрытие преступлений. «...Если будет расстрел в лесу, нужно, чтобы заранее срезали дёрн... потом

этим дёрном покрыть это место... нужна всяческая конспирация мест, где приговоры приведены в исполнение...»

Цепкой памятью отличался особист Горелов. Прочитанные в стенограмме наставления пылали в мозгу, прожигали раскаленным железом: «Аппарат никоим образом не должен знать ни места приведения приговоров, ни количества, над которым приведены приговоры в исполнение... ничего не должен знать абсолютно потому, что наш собственный аппарат может стать распространителем этих сведений...»

«В Ярзоне,- рассуждал освобожденный Горелов, – дёрн не надо снимать. Трупы уходят в песчаную бездну по лимиту злодеяния, по кровавой разрядке «совершенно секретных» преступлений».

После ухода строптивного офицера комендант довольно потёр руки.

– Слава Богу – избавился от слюнтя... даже не запасной игрок органов... Команде НКВД такое вычитание не грозит бедой... Скоро контрики на убыль пойдут. Расплодились змеёныши – до гадюк досрости.

Рассуждает вслух Перхоть, в тину мыслей погружается. Спущенный недавно расстрельный лимит поверг сперва в явное замешательство. Придётся в сутки чикать дюжины по две-три. Яр большой – песочку хватит. Сама природа на выручку пришла. Надо узнать – сколько осталось хлорной извести...

Голова чесалась во весь волосяной огород. Наедине главком особистов давал полную волюшку пальцам. С ожесточением скрёб зудкую кожу.

– Напасть! Просто напасть!

Вчера ярый чикист Перебийнос огорошил новостью: пуля срикошетила от черепа эсера. Просвистела, в песок зарылась. Гранитный затылок оказался у смертника.

Стрелок предложил изменить угол атаки – по вискам свинец разливать.

– Дайте добро...

– Даю. Херачьте по вискам!

– Есть возле ушей удобные ложбинки – от них до мозгов самый короткий путь...

Коменданту понравилась рационализация услужливого чикиста. «Вот в таких верных исполнителях органы нуждаются. Толковый служака, уважительный... Недавно нельму малосольную удружил... Не пора ли парня к награде представить...

– Ты что кричишь во время выстрела?

– Разное... Вот тебе, сука!.. Получай, контра!..

Отбунтарил, гад!

– Нельзя так грубо, сынок! Политграмма чему учит?

Палачам революции надо быть вежливыми. Отныне перед роковой секундой четким комсомольским голосом произноси:

– ИМЕНЕМ НКВД!.. Буквы, как пули, крепкие. Они – подспорье свинцу.

До недавнего времени сильно теснились на жердяных нарах приговорённые к расстрелу. Лежали впрытык, не зная ни о степени своей вины, ни о роковом исходном часе судьбы.

Однажды смертники проснулись бурным утром, не почувствовав тесноты. В некоторых местах нары оказались пустыми, зияли пугающим простором. Камеры, где помещались особо опасные для страны Советов заговорщики, тоже поредел.

Отовсюду напал холод жути. Чтобы меньше плодились одёжные твари, бараки протапливались плохо. Иней на окнах лежал многослойно. Даже решётки покрывались бахромчатой изморозью. Прутики солнечных

лучей не давали тепла. Не вселяли в обречённых даже тютельную надежды.

Кузнец старался гасить взгляд. Но глаза всё равно примагничивались к решёткам. Там, за квадратами зонных окон летала свобода, кипела сносная колпашинская жизнь.

Лицо избитого на допросе сына отошло от опухлости, но было по-прежнему синё, ошрамлено подживающими рубцами. Весть о малыше появилась в бараке крылатой радостью. Забылись на время: унижение, боль, отчаяние, раздирающая душу тоска. Никодим сцепил пальцы-штыри, прижал руки к груди, поскуливая от прочитанного письма, обозрения сажного оттиска крошечной ладошки.

– Гляди, Тимурка, какая лапа у парня. Крепью в деда пойдёт.

Целуя распухшими губами чёрные тени пальчиков, Тимур умильно глядел на их лучевой разбег.

Несмотря на изнурительный допрос, исколоченное киянкой тело отозвалось жгучим желанием тесной встречи с Праской. В паху растеклась приятная истома. С появлением на белый сибирский свет сыночка молодой отец почувствовал сильный прилив энергии сопротивления. Куда сунешься, кого пришибёшь даже таким внушительным батиным кулачищем... Как мог отыскать Кувалда упрятанный под угол барака топор? Знать, имела ищейка нюх на сталь. Может подсмотрел зорким воровским взглядом, когда прятал грозное оружие мести... Эх, Влас старозаветный! Не раскрой тебе черепок Тюремной Харе.

Обескураженный Натан беспрекословно выполнял опасную роль рассыльного.

Чувство вины тянуло якорем, не позволяя лёгкому плаванию мыслей. Тяготило паскудство службы, вся кишашая обстановка Ярзоны. Если бы не светлые стихи Серёжи, задал бы шее кожаный вопросик. Но петлём,

похожей на знак вопроса, не ответишь на главный пункт существования: зачем? Зачем оказался в ненужное время в ненужном месте? Зачем хлестал свинцом по черепах бедолаг... Кто подтолкнул к тошнотворной службе? Наградил изматывающей бессонницей? Неотвязными ночными кошмарами? Кулак из песка вызывающе грозил, раскачивался перед глазами с мстительной силой.

Пробовал Натан неделю-другую обходиться без самогонки, водки. Думал: белые градусы нагоняют жуть, подтачивают нервы жуками-короедами. Видения всё равно не отлучались надолго, пасли травмированную душу, терзали психику...

Все мы, все мы в этом мире тленны...

Конечно все, Есенин. Никому не выпадет фарт на два века бытия. Но что делать с тленом при жизни? Он разъедает сердце, отравляет кровь, приводит в ералаш когда-то крепкое сознание... Родной поэт земли Рязанской, ты не дал мне ответа на заковыристый вопрос существования. В твою заоблачную судьбу вмешались отъявленные бесовские силы, замаскированные под чекистов, партийных служек, зацикленных на интернационале, бредовой идее мирового братства. Под коммунистическую сурдинку лились реки народной крови. Дьяволизм не унимался. Требовал новых жертв во имя... во имя всеобщей беды, разорения жилищ, опустошения душ.

Пытался Натан найти ответ у Маркса, садился «понюхать премудрость скучных строк». Испытал ломучую головную боль, добираясь сквозь непролазные дебри умозаключений к ясной сути, но её не было. На каждой странице «Капитала», словно лиса набегала. Запутала следы-строчки, оцепила здравый смысл, который мог открыться ворами-банкирам, наживалам-заводчикам,

фабрикантам, желающим выбить любыми путями максимальную прибыль. Быстро уяснил одно: капиталисты – угнетатели. Марксовское пособие было им на руку. Даже вооруженный экономическими познаниями рабочий класс оставался бессилён что-то изменить в изнурительной судьбе всемирных ишаков.

Насилие, творимое под колпаком комендатуры, на смертельном полигоне Ярзоны, хорошо вписывалось не в диктатуру пролетариата – в защиту буржуев, ждущих поставки рабов на невольничьи рынки труда.

Вышкарь Натан Воробьёв с макушки Обского яра обозревал текущее время, ад событий. Взрослел, набирался запоздалой мудрости сибиряка. Теперь он видел не пятно на хромовом сапоге коменданта – всю кухню и тайную страпню служак Ярзоны. Кровь безвинного народа запеклась на опозоренных мундирах особистов.

Перед впечатлительным парнем раздался вширь и вдаль горизонт унижения, беспредельщина стаи с вожаком НКВД. «Распни народ, распни!» – летел вой из Москвы. И стая терзала...

На землях Руси лютовал враг, замаскированный под органы внутренних дел. Им вменялось сломить сопротивление недобитков всех мастей – от русских и латышей до поляков и мордвы. Вылавливали. Вытаскивали из подпола и подполий. Хватали на фабриках, смолокурных заводиках. Выдёргивали с кафедр институтов, университетов.

«Террор! Только террор!» – выл вожак стаи. И клацали зубы агонизирующих приспешников.

Ярзона набирала лютовость.

Близость места, где смертельный исход одолевал жизнь, притягивала стаю голодных собак. Они кучковались за обширной зоной, по-волчьи выли не на Луну – на околоченную проволокой ограду, на сторожевые вышки с

вертухаями. Псов отлавливала загонным способом хозобслуга, передавала на съедение голодной братии спецпереселенцев. Вдоль береговой кромки крутояра дымились их наспех отстроенные хижины. Дымы вырывались из нор-землянок, слоились над потемневшими снегами.

Собачатина была желанным приварком в скудном рационе для людей принудительного переселения.

Бродячих собак вокруг Ярзоны не уменьшалось. Они прибегали из соседних деревень, заимок. Кого не сумели порвать в дороге отошальные волки – попадали сперва в обмётные сети ловцов псин, потом на огонь любителей жареного мяска: деликатес пользовался особым спросом у туберкулёзников.

С вышки Натану хорошо виднелись костры, разбросанные земными созвездиями по береговым снегам. От занудного воя псов на нутро накатывались муторные волны. Затыкал уши. Скорбные звуки умного зверья проникали в мозг... Поэт «братьев наших меньших никогда не бил по голове». Кто-то предлагал отстреливать с вышек мастеров панихиды. Отказались от затеи. Нельзя пугать колпашинских мирян лишней огнестрельщиной. Да и патроны надо беречь для зачётных нужд.

Недолго пустовали ярусы зонных нар. Вскоре нагнали очередников.

Любил Никодим спать на спине. Пришлось снова переходить на боковое довольствие, втискиваться между тел.

Барачная теснота, озлобление, поруганное право на свободу угнетали. За что попал в разряд каторжника, не знающего за собой никакой провинки?

Поймали несколько беглецов-кулаков. Оставили места ссылки, возжелали волюшки. В назидание другим их

закандалили. «Узнают, кто отковал вериги для кандалников, убьют», – опасался Тимур. Отец успокоил: «Не бойся, сынок, железо умеет молчать».

Лучи с решёток по-прежнему лили тусклый несогревающий свет.

Староверец Влас шепотил молитвы. Внимательно слушал их святой Георгий Победоносец. Счетовод Покровский продолжал дотошно искать запутанные ходы в годовом отчете. О своей правоте знал всё. О гнусном подлоге могла внести ясность кипа бухгалтерских бумаг. Они заперты в несгораемом сейфе. Бумаги сгораемы. Возможно, важные улики давно уничтожены, разлетелись пеплом по двору бревенчатой конторы. «Дали бы пять лет поражения в правах – тогда можно перебедровать... Будет время выиграть победу после поражения... Всех выведу на чистую водичку...»

О сыне, о Праске все думы Тимура. Взор простреливает сквозь барачные стены, долетает до захудалой деревеньки... Вот крошка Никодимка грудь сосит... Вот матушка гремит сепараторными дисками – готовится молоко в сливки перегонять... Не отобрали бы корову, кузницу... Подлец Фесько – холопских кровей... барские иметь не будет... Родича Ганьку – пьяницу и недавнего зэка – в надзиратели пристроил... По всем статьям выходит – батя в гражданскую за власть лживую воевал. Кривда верх взяла, зубы скалит...»

4

Заподозрил Натан: Горбонос знает о посещении избы кузнеца. Молчит дьявол, но по глазам чирьястого чикиста можно прочесть осуждение: «Распочтарился... записочки да посылочки носишь».

«Прекращу посещения... до греха докачусь... Но как не бегать в недалёкую деревеньку. Праска тянет. Чувства кипят. После родов краше стала. Глазёнки остяцкие расширились, сияют, магнитят... Грудь сарафанишко теснят...»

В последнее посещение перед Натаном большой связкой собольих шкурок трясла.

– Освободишь мужиков – все твои.

– Не такой у меня, Прасковьюшка, чин, чтобы запросто вызволять осужденных. Имей я власть – без соболей освободил бы.

– Не темни, комендатурец! Все вы там прелой драгвой шиты. Для безвинных легко ворота распахнуть.

В зыбке покачивался Никодимчик. Натан перегонял ревнивый взгляд со спящего младенца на Праску – видел слитость её черт, Тимура. Природа умело и бережно перемешала на личике отцовское и материнское. Никто не скажет – суразёнка в подоле принесла.

На молодой матери просторный ситцевый халат: по полям ткани разбежались крупные ромашки.

Соломонида справляла хозяйство в хлеву, гремела вёдрами.

Внезапно ромашковый луг раздвоился, смятые половинки распахнутого халата повисли в дрожащих руках Праски. Околдованный гость раскрыл от дива рот... отмахнулся как от наваждения... отшатнулся от обнаженной бесстыдницы... глаза полностью не зажмурил. В просвет щелочки любовался притягивающей красотой живота, ног, чернеющего холмика...

– Растерялся, соперничек?! Ослепила тебя... Ради Тимура на всё пойду... Пожертвую честью... собственной соболушкой. – Праска бесстыдно взъерошила кудрявые волосёнки, магическим пасом прикрыла мех. – Хочешь ведь, хочешь соболька?..

Сглатывая обильную слюну, ошарашенный ухажёр спешно покинул избу.

Не ожидал такого крутого поворота событий. Большая связка серебристых соболей... кудрявое пятно в матовой излучине ног... Видение сливалось во что-то необычно туманное, бесстыдное, ослепляющее.

«Ведьма... истинная ведьма...» – бубнил вышкарь, крупными шагами покоряя деревенскую накатанную дорогу. В спешке забыл взять у Соломонида письмоце и съестное. Не стал возвращаться... Надо заканчивать почтарскую канитель. Горбонос, наверняка, ударит припрятанным козырем... Конечно – Праска – молодуха козырная, но не годится для той картёжно-шулерской игры, которая ведётся в Ярзоне... Что если предложить соболей коменданту... Вариант отпадает. Сочтёт за подкуп. Тогда и меха не увидишь и свобода мужикам не выгорит... Рисковая Праска. Любит гармониста до беспамяства, до откровенной стыдобы... Или во имя любви позор аннулируется, становится легким простительным грешком... Бестия! Ведь ничего не обещала. Блеснула остяцким бесстыдством – и всё... Авансик выдала...»

«Нет – Натан не оподлился в кошмарной зоне... Перемешались в девке две крови, превратились в воспламеняющую жидкость... вырвалось пламя... Ловко ошарашила внезапной наготой... А грудь! Грудь! Соски красными пулями. С первого погляда на них хоть кого убьёт наповал...»

Яркое видение затмило околюченный периметр Ярзоны, караульные вышки-шишаки, мелкую снежную пелену, наползающую с Оби.

Недавно вызывали в комендатуру, предлагали вернуться в расстрельный взвод. Сослался на частое головокружение, на потревоженную психику. На стрельбищах нарочно рассеял пули от центра мишени.

– Может, хочешь подать рапорт об отставке?
– А можно? – обрадовался Натан.
– Нельзя! – рывкнул комендант. – Кровью повязан.
Тайны разбазаривать начнёшь... По посёлку хлопьями сажи частушки летают. Эту кто сочинил:

Воробьёв – палач плечист.
У него наган речист.
Только речь произнесёт –
Тачка к яме труп везёт.

– Честное комсомольское – не знаю... Впервые слышу.
– Впервые!
– Не буду же я сам на себя частушки писать.
– Кто тогда сочинитель?.. Увлечение Есениным тебе даром не пройдёт... Нашел кумира... Маяковским, Демьяном Бедным интересуйся. Блоку за четыре строки можно памятник поставить:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови.
Господи, благослови!

– Есенин – наш попутчик:
...Знать, оттого
так хочется и мне,
Здрав шганы,
бежать за комсомолом...

– Комсомольское поручение тебе: узнай, кто умишко напрягает, наши органы позорит:

Заслужил в народе мат

Всеразбойный Наркомат.
Он – кровавый игрок.
НКВД, как матерок.

–...В зоне гада сгноим... Присягал органам честно служить, вот и служи нерушимо НКВД... На сегодня это один оберёг для республики... Ступай!

«Вот кто-то складно шпарит, – ликовал в душе Натан, выходя из кабинета грозного чина в хромочах и кителе.- Кто прознал про мою наганную службу?.. Не Праска ли с Сонькой – учёчицей сочиняют?»

Всегда униженный, оплёванный выходил волк из логова вожака стаи. Примерещилось Натану: из его мягких шелковистых волос полетела обильная перхоть. Приблизил лицо к зеркальцу, потрепал волосы – серая мошкара не взлетала. «Ну, слава Богу... просто наваждение летучее...»

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором...

«Ушёл бы, Серёжа, удрал из Ярзоны куда глаза нацелятся. Ни побродяжничать, ни освободиться не могу. Вольным в каземат посажен. Змей Горыныч о рапорте спросил – краешек надежды показал и... спрятал свободу...

...Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа...

«Нагоняешь, Серёга, грусть-тоску. И светом солнечным озарять умеешь... Очисти душевной поэзией... По моей наводке бесовской исполнитель стрелу в Тимура

всадил... Не просил его отравленную пускать. Гармонист каким-то чудом жив остался... уберёг Всевышний для Праски... Разное про неё говорят: вертихвостка, потаскушка... на выпивку и на блуд стоворчивая. Прихватывали её на сетях с бригадиром рыбартели... знамо – не чебаков выпутывали из ячеек... Болтают. Сплетничают. Красота всегда ракушками обрастает...

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось...

Ничего тебе не осталось, Натан Натаныч... Хотели кличку прилепить Наган Наганыч – клей оказался слабый. Один Горбонос мусолит...»

Всплыла в яркой памяти бесстыжая полукровка, зимняя дорога из деревеньки. Шел в оглушенном состоянии, представлял себя в непритворных объятиях раскосой бестии и всё-всё последующее за предлюбовной разминкой... «Ах, Серёга, Серёга, да за обладание этой сисястой засольщицей и сам раздобуду соболей, чернобурок. Склад Сибпушнины обворую... Отупеешь, оглупеешь от воспалённых дум. Ожидание жаркой страсти огнит тело, ослабляет волю... Разливается недуг – буйство крови...»

От всех переживаний, сильных эмоций начало потрескивать в голове. В висках сильно запульсировала кровь.

Хилый э с е р с золотым кольцом в потайном кармашке лишал Кувалду покоя. В пыталъне ни разу не ударил шуплеца со взглядом волхва.

– Заговорщик?

– Нет.

– Оружие прятал в тайнике на сеновале?

– В руках не держал.

На исчерпывающем диалоге допрос заканчивался.

Долго, испытующе смотрел Тюремная Харя в синие доверчивые глаза слабачка. Ощущал потоки исходящей энергии.

– Не колдун?

– Заглядываю в недалёкое будущее.

– Загляни в моё.

– От правды во зло не войдёшь?

– Слово зэка.

– Будешь расстрелян.

На груди Кувалды вздрогнула татуировка вождя пролетариата с ликом татарина или монгола.

– Подробности.

– Из Томска приедет следственная комиссия. Найдёт в комендатуре, Ярзоне много грехов. Твой не забудут. Поставят в вину отрубленные пальцы старовеера...

– Заглохни!

Убийца приметил: золотое кольцо из потайного кармашка переместилось на палец.

– Сними, – посоветовал надзиратель. – В зоне полно головорезов – отымут.

– После смерти.

– Неужели и свой последний час чувствуешь?

– В живых останутся мало. Я в счастливый остаток не попадаю.

Заголив рубаху серого сукна, Тюремная Харя показал синюшную татуировку. Прохрипел:

– Поклянись на Ильиче, что всё правда?

– Не икона, не признаю... огромная удалённость от Христа.

Снятое с пальца кольцо легло на грубо сколоченный стол перед надзирателем.

– Возьми на память. Жаль – она будет короткой...
Давай протокол. Подпишусь подо всей наляпанной чушью...
Тебе зачтут моё признание... Мне смертный приговор без
подписи вынесут... и с подписью тоже...

Пальцы по-факирски слизнули золотой дар. Кувалда
заговорщески прошептал:

– Хочешь – побег устрою.

– Поздно. Через час меня поведут в подземелье...
Глупо называть расстрел высшей мерой. Самая подлая
низшая, низменная мера...

Вскоре провидца увели. Вечером, зайдя в казарму,
Тюремная Харя не увидел его на широких нарах. Блошино-
вшивое место занял другой отсидник.

Предвидение, полное магическое совпадение слов
ошеломили Кувалду. И над ним нависла смерть со всей
незримостью предсказанной жути. Глагол случится
наливался чугунной тяжестью, давил неотвратимым
исходом.

Предчувствовал надзиратель, пыталец: бильярдный
шар жизни скоро закатится в лузу. Он отдалял роковую
минуту, зная о горькой неизбежности ухода в мир сырой
тишины. Иногда храбрился, ни во что не ставил жизнь –
полушку. Сейчас замаячила такая реальность, которую
невозможно разрушить никакими таранами.

«Бежать! Бежать сегодня же. Сейчас».

Расстрел, предсказанный до часа щуплым ясновидцем,
перетряс неуравновешенную психику, больную душу,
опаскуденные мысли. «Возможно, удастся откупиться от
смерти скопленным золотишком? Семь зубов, выбитых на
допросах. Кольцо золотое. Деньжата припасены... Нашла
тогда дурь, накатилось на ум затмение – рубанул пальцы
старовера... выходит – жизнь свою топориком порешил.
Падла! Судьба давно шиворот-навыворот... сам пинка ей
поддал...»

Закандаленных беглецов-кулаков надзиратель Ганька презирал.

– Дядя в колхозе искрутился от забот-работ – шушера на нарах отлёживается.

– Кто просил кулачить нас, с хозяйства ссаживать?! – пробасил рыжебородый мужик с Алтая.

– Поговори мне, кандальник!

Цепи на тяжелых «веригах» были соединены ржавыми болтами и гайками. Железил беглецов Ганька: даже под ключом гайки прокручивались туго, с визгом.

Утром надзиратель получил приказ: раскандалить кулаков.

– Ну, наконец-то, – обрадовался бывший тюремец, – а то пули по головам соскучились.

Топать в мастерскую за гаечным ключом лень. Кивнул Никодиму:

– Бугай! Иди подмогни!

«Не сболтни, дурак, чья кузнечная работа...»

Брезгливо притрагивался к самоковочным веригам мастер кузнечных дел. Подумал: легче разорвать цепи, чем справиться с болтами. Но когда обхватил грани гайки зажимом пальцев – она неохотно стронулась с резьбы, поползла вверх.

Нарники с разинутыми ртами наблюдали за вызволением беглецов из плена цепей.

Припомнил Ганька, как он мучился с болтами, в полную силу нажимая при закрутке на гаечный ключ.

«Надо подсказать дяде – пусть вызволяет из плена слона... чё делает шельмец – ржавчина из-под пальцев летит... Кузнец в деревне позарез нужен... Евграф замучился без него...»

Гордо глядя на отца, Тимур каждой черточкой лица выражал восхищение: «Не скоро волюю в себя этакую силищу... успею ли влить?»

Наглый, с душком самогонным Ганька подковырнул плотника, думы порушил:

– Небось, на гармошке поиграть хотца, девок побаламутить?

Вместо ответа Тимур попросил:

– Передай привет нашим. Узнай, как и что.

Племянник Евграфа попытался плюнуть под ноги плотнику – слюна опять предательски повисла на устье губ.

«Мухомор! – на лице гармониста блеснула усмешка. – Даже отплеваться не можешь».

Раскандаленных уводили под общее молчание казарменного сборища...

Послышался набатный звон скорой смерти.

Невольников сгуртили в вонючих бараках, огородили рослыми заборами, околючили острозубой стальной проволокой. Глазастые сторожевые вышки завершали серую картину Ярзоны.

Вышкарю Натану не единожды навёртывалась ядовитая мыслишка о пулевом расчёте с никчемной опозоренной жизнью. Секунда... оборвётся тягомотная повседневщина... за мгновение бытие перетечёт в небытие. Разом захлебнётся свинцом судьба-неудачница. Перечеркнется куца биография комсомольца, вовлечённого в союз юнцов, облапошенных НКВД. Какие зажигательные речи гремели на сходках. Какую заманчивую будущность сулили спецы красного террора... В песчаной глубине яра до срока прогорают жизни моих соплеменников. Неужели в ы ш к у нельзя заменить разными сроками заключения? Если Сталину хочется иметь много рабов, так пусть люди с полонённой свободой ищачат

на стройках, приносят пользу стране. В мире нервная обстановка. Развяжет Германия войну – надо ставить под ружьё солдат. В Ярзоне погибают воины, шахтёры, дровосеки, землепашцы, студенты, инженеры, агрономы... Неужели все они повязаны единой враждой против своего же народа?! Не верю. Не верю... Вот ты, Натан, учился в индустриальном техникуме на мастера по электрическим сетям. Строил заманчивые планы. Заманили по комсомольскому замёту в органы... Итог плачевный: жизнь перестала искриться, наполнять сердце энергией радости и молодости... Дослужил – сверлят мысли о самоубийстве... могут дырку просверлить...

Текут мысли журчащими ручейками, скатываются в душу. Водоём большой, но и его переполнила жгучая тревога за братскую общину.

Не верит чикист и вышкарь, околдованный лирикой синеокого рязанца, в явную ложь органов. Осуждает скорую свинцовую расправу над обезволенными жертвами.

Под хлёткими ударами нагонного ветра вышка скрипит, подрагивает, испытывая корабельную качку. Куда ты плывёшь, Ярзона? В какую свободную страну, где нет объявленного кровавого террора?.. Жутковато стоять комсомольцу на дозоре в дощатой клетушке. Уплывают куда-то – и зона, и настил, и сам высоченный яр, успевший вместить в себя многие бесценные жизни. Защитники и кормильцы Руси уже никого не защитят, не накормят никого запашистым хлебушком... Не пройдутся по лугам и пашням, не кивнут ромашкам, травам и колосьям...

Северный ветер-разгонник крепчает, злится на зону бесправия, насилия и обречённости. Даже природа ветров восстаёт против озверелой расстрельщины.

Внезапно вышкаря качнуло. Ощутил: настил попытался выскользнуть из-под ног. Вздогнул, после секундного замешательства обрёл устойчивость.

– Столбы проседают? Яр лопается?

Задал себе и вышке тихие безответные вопросы. Онемелые от мороза губы шевелились неохотно.

Неведомо кем подстроенное секундное землетрясение не испугало охранника. Наоборот – молниевая встряска на вышке влила в тело живительный грозовой разряд. Даже ощутилось шевеление пальцев в тесных подшитых валенках. Недавно испытывали онемение, теперь от разгонной крови ожили... Захотелось крепко обнять Праску. Мерцающая надежда на обладание набирала световую силу. Будешь моей, приобская дикарка, будешь... Стоял, корил себя за слабину тёмных мыслей. Захотелось жить, не помышлять о саморасправе над короткой судьбой. Разве виноват песок, намытый веками и суетливой Обью? Разве виноват я, песчинка такого вот яра... А может я – не песчинка – самосплавное бревно, занесённое неразборчивой водой на Колпашинский берег?..

В минуты, когда томила залётная жалость к себе, Воробьёв любил повторять родное, есенинское:

Цветы мне говорят – прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Её лицо и отчий край...

«Заплакать? Пересохли слёзы в глубоких руслах...»

Под частые взвои ледящего ветра клонит в сон. Дорвёшься до кровати – подстерегает бессонница. Отведённый покой рушат видения. Вновь вырастает из темноты кулачище-возмездие. Грозит из охолоделой ямы всему миру не голодных и рабов – верхушке человечества, которая низвела большинство во имя наглого и бесстыдного меньшинства.

Кулачище жил обособленно. Когда хотел – вылетал на волю, парил над свидетелем расправы... грозил, посылал предупреждение: эта смерть с рук не сойдёт.

Не мог промахнуться Натан-Наган, не найти погибельную точку на черепе. Зачем заглядывал в зияющую глушь яра, светил фонариком?.. Воображение обрастало повседневной болью. На время водочные пары укутывали волнистым туманцем расстрельные картинки. Мозг впадал в состояние забытья и покоя. Винился перед светозарной памятью Есенина, называя себя идиотом, вырождаком. Угнетало безволие. Мерещились размытые очертания будущего. Не было посулов на укрепление характера, на осветление надежд.

Вышка казалась костяной, скелетом пещерного чудовища. Ветер долетал сюда от широт Ледовитого океана, разгуливал по-свойски.

Повторный толчок вынудил охранника инстинктивно присесть на корточки. В громоздком тулупе проделать такой трюк нелегко, но сейчас всё произошло с лёгкостью натренированного спортсмена.

«Что за чертовщина!.. Может, мой мозг просекают удары, которые принимаю за колебания почвы? Ощущаю реальность оползня».

Головной боли не было. Мысли текли по привычным руслам извилин.

Догадался: наверно, лютый мороз подрезает ледяные жилы. Замерзают родники, накапливают взрывную силу... Или сатанинская Ярзона порушила вековой покой песков, вторглась в святые места молчаливых глубин... Зашевелились трупы? Тесно же им лежать в мёрзлом грунте... холод пробирает...

Скорее бы сменщик избавил от мыслетрясений... Жаркая бесстыдная Праска спит на пуховой перине... Не войду в её сон смелым рыцарем. Открыто презирает мою

пёсью службу... Распахнула передо мной ромашковый халатик, соблазнила заманкой... Захотелось лета...

Глава третья

I

Язвительный надзиратель Ганька, окатив Тимура волной перегара, прошептал на ухо:

– Сознайся про топор. Иначе скоро самому секир-башка будет.

– Будет так будет, – хладнокровно пробасил плотник.
– Зайди к нашим, узнай о здоровье.

– Заходил. Жена говорит: мне каторжник на дух не нужен.

– Бандюга ты, Ганька! Не раз дрались в детстве. Сопли подо мной распускал – пощады просил.

– Нынче ты у Ганечки пощады попросишь.

Поднеся к рожке надзирателя обожженный в кузнице пудовичок с фигой, Никодим прошипел:

– Это видел?!

– Ничё, бугай! Увидишь и не это.

Смолчал племянничек Евграфа, что кузница, пашня и пятистенки отошли колхозу. Что Соломону, Прасковью и младенца приютила знахарка Фунтиха.

Председатель Фесько, заручившись поддержкой свояка из органов, действовал споро и нахраписто. Уведомил своячок: под высшую мерочку попадают Селивёрстовы. Сейчас не то время, чтобы из следственной тюрьмы на волю вертались. Пусть затупится меч правосудия, но головы и впредь отваливаться будут, как из-под гильотины.

Клейкая слюна мешала бывшему тюремцу оттачивать словечки, пулять в бугая и злоглазого бугаёнка. Шкуру

иногда просекала дрожь: «Пришибут по злобе... им терять нечего... чувт, поди, час смертный... В последнюю ночь сдёргивали с нар дюжинами... хоть бараки проветрятся от вонючих полутрупов. Смердит контра, голодовки объявляет, а от вони шпанной не продохнуть...» Ганьке хочется разом покончить со вшивыми пленниками классовой войны. Из всех нор повылазила воинственная орда, оружие прячет. Прячьте! У чекистов оно всегда на виду, в деле.

Видел усердный надзиратель: как на дрожжах растёт огромная могила, вспучивается трупами. Лучше перестрелять, чем недострелять. Дальше так славно пойдёт дело – новую ямину рыть придётся. Одно отвратительно – густым смрадом тянет из подземелья, дыхание ссекается. Скоро без противогаза не войдёшь в преисподнюю.

Давно ли его – Ганьку Фесько – шпыняли тюремные надзиратели. Сокамерники изголялись... Танцевал с парашей – шлюхой вонючей. Чашка с кашей-размазнёй на роже повисала. Всё! Кончено! Отцарила камерная сволота. Теперь Ганя – полководец. Не сила, так власть сломила сопротивление обильной нарной рвани. Свистит нагайка. Кулаки зубы пересчитывают. Деревенцам Никодиму, Тимуру прощает грешки. Кузнец могучую лапу с фигой поднёс – не жиганёшь его казацкой плёткой – на глазах толпы разорвёт... Скорее бы деревенщину в расход пустили. Пятистенок Ганю заждался. Печь русская, ладная. Дымоход сажей не забит. Матица из листвяка могучего. Пол – плахи не скрипучие. Гладкие. Крашенные... Введёт женушку в дом – не стыдно будет, хоромами блеснёт. Вот, к примеру, Праска. С привесом? Не беда. Тимурёнка пусть Соломонида нянчит. Фунтиха её не прогонит. Праска – стерва зажигательная. Думаю – кочевряжиться не будет. Заташу в постель не с первого, так с третьего разочка...

Размечтался надзиратель. От приятных блудных мыслишек пошло шевеление в отвислых штанах... Переменилась власть, Тимур, навсегда переменилась. Даже запросишь пощады – не подмогну...

Стужались беды до плотности свинца. В недрах сибирских органов – в высшем начсоставе, на поверхности – в среде исполнительных служаек. Подкатывался девятый чудовищный вал. Посыпались директивы — на уничтожение многотысячных масс народа. Шло азартное соревнование по отлову недругов соввласти. В крупные и мелкие ячейки НКВД попадали жизни, пойманные загонным способом. Со времён зарождения Руси не велась такая дичайшая узаконенная облава с последним разрешительным приговором в/м: в ы с ш а я м е р а . Тройки, бешеные тройки гремели по городам и весям земли великой, полонённой обестыженной властью насильников.

Созревший кремлёвский заговор расплзался беспрекословными директивами, развязывал руки палачам. Скачут, скачут тройки, а ямщик--правщик в столице восседает. Упрёк гневный летит: чего медлите, окаянные... отстреливайте всех супротивников шаткой власти.

Были, конечно были честные, совестливые, не бессердечные сотрудники в органах госбезопасности. Летели правдивые письма Сталину, но тексты рассыпались прахом за зубчаткой кремлёвских стен. Некоторые возвращались по адресам местных НКВД. Возврат карался беспощадностью принятых экстренных мер.

Вершилось судилище неправое, беспощадное. Оно повергало лейтенанта г/б Сергея Горелова в оторопь, раздражение, грузную досаду.

Пока он вдалбливал школьникам опасное военное дело – на песчаной глубине Ярзоны в мирное время отлетали невинные души собратьев. Он, офицер запаса, бессилен помочь приговорённым к в/м. Плотно прижатые

буквочки несут смерть. Оценивают человеческую жизнь высшей мерой безразличия к погибающим. Они – твари земные... хранители Руси. Плоть – сосуд с живой кровью – разбивается вдребезги, чтобы уже никогда не заявить о себе ни светом глаз, ни теплом души... Всевышний, останови череду свинцовых преступлений. Облей сердца гонителей ярким заступническим светом. Образумь очумелое непослушное племя, ведущее на Голгофу оклеветанное престолоюдь.

Догадывался лейтенант запаса о вражеском стане: скучковались в зашоренной Москве разнузданные большевички с центральным комитетом, поощряют всесветный разбой. В столице гудело пламя зла, оттуда катились валы насилия.

Природный инстинкт самосохранения позванивал в колокольчик, предостерегал: надо скорее покинуть рабочее поселение с благозвучным названием Колпашино. В чистом имени населённого пункта слышались глухие отголоски опасности: посёлок соседствовал с грозными врагами – комендатурой и Ярзоной. Опасный треугольник не внушал доверия, не вливал покой в сердце, облитое ядовитой ложью.

Комендант – зверь хитрый, с лисье-волчьими повадками. Прикажут завтра – пусти в расход сомнительного лейтенанта с университетским образованием – не дрогнет. Две гибельные буквы в одну погибель сольются. Пули и гильзы тайны не выдают. Просвистит свинец, выговорит запоздалое раскаяние... никто не справит поминки по чувствительному историку... Изучал масштабную историю страны, не подозревая, что в скором времени она разбухнет до яра, до масштабов уничтожения нации.

Подозрительно легко, даже охотно подписал Перхоть рапорт об отставке. Очистился от строптивного офицера,

отец которого запятнал судьбу раскулацкой статьёй. «Органы не должны колебаться маятником часов-ходиков. Часы истории точны, выверены по времени большевиков, дзержинцев.» Учитель военного дела вспомнил излюбленные фразы Перхоти, увидел воочию портрет Феликса в кабинете коменданта. Сергею легендарный чекист Дзержинский казался на портрете бодливым козлом революции. Не обломали рога красным, теперь они крушат всех подряд, отыгрываются за череду позорных поражений от белой гвардии...

«Первым парохом уеду отсюда... Скорее заканчивайся, несносная северная зима... Обь, сбрасывая ледовый гнёт...»

В каждом занудном вое ветра Сергею слышался скорбный плач о невинных жертвах Ярзоны... Сердце испытывало неуют, словно искало и не могло найти новые границы существования, заболело недугом неведения дальнейшей судьбы, страхом за обитателей следственной тюрьмы.

На колпащинских улицах преподаватель военного дела наткался на толпы оборванных, голодных спецпереселенцев. Повылазили на свет божий из землянок, хибар, пристроек. Пасутся неподалёку от базара, кланчат съестное. Один тип в надорванной замызанной ушанке, кровеня зубы, грыз на ходу кружок замороженного молока. Другой с жадностью волчонка расправлялся с картофельным пирожком.

Рабоче-крестьянский класс страны Советов выбросил сосланную рвань из своих крепких рядов. Не по своей воле произвёл выбраковку. Горелов болезненно переживал несправедливость. Ну, какие они деклассированные? Это не выдуманные элементы. Это люди, выброшенные властью на обочину жизни. Комендатура была для них общей надзирательницей. Разношерстная

голодранщина являлась для засвидетельствования своего присутствия на приписанной колпашинской земле. Куда удерёшь из царства широт, снегов и льдов? За первыми белыми вёрстами ищйки обкусуют ляжки. Распотешатся пасти. Потом потешатся конвойники, прикладами и пинками срывая злость на незадачливых отбросах общества.

Из гибельных мест мог дать дёру Сталин. Сытый, с деньжатами, тепло одетый грузин – политссыльник, возможно, воспользовался услугами охранников, получивших на молочишко звонкие монеты. Увёртливый Гоба по молодости совершал налёты на банки, крутился в воровском мирке. Подозрительно легко выпутывались из ссыльных мест еврей Свердлов, грузин Джугашвили. Будто их специально посылали в Сибирь на стажировку: разузнайте всё. Подойдут ли места для массового принудительного переселения непокорных людишек.

«Придёт первый пароход... просверкает белизной бортов и кают... и всё! Прощай суровый беспощадный край... ярзона, пожирающая жизни и судьбы...»

Долго не было весточки от отца. Не перехватывают ли письма на почте для прочтения в комендатуре? Сергей знал: родитель на лесоповале в верховье Васюгана. Валит сосны для строительства барачков. Возможно, и ярзоновское жилище для подследственных построено из того сосняка.

Какой грех за отца обязан замаливать Сергей? Великий грех лежал на властителях: раскулачили наиболее усердных и предприимчивых земледельцев. Резанули по мужикам продналогом и продразвёрсткой. Выгребли из амбаров зерно, из душ терпение. Какого смирения ждали от ограбленного крестьянства? Грубый язык закона о раскулачивании оказался не русским. Приложили хитрость иноземцы да инородцы. Кто блистал богатством в 20-30 годы? Везде на единоличном кону стоял труд всей семьи. В

нем таилась основа сносной жизни. Беднота плодилась за счет лени и пьянства. Испытывали апатию к земле. Боялись каждодневного труда. Напористые мужики личными примерами показывали верные пути к благополучию.

Крепкое личное подворье имел родитель неподалёку от Бийска. Если взять на пересчёт всю живность – за пару дюжин перевалит. Большая семейка харчилась. Одеть-обуть, в школу собрать. Любил родитель некрасовское стихотворение «Школьник».

... Вижу я в котомке книжку.
Так учиться ты идёшь.
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош...

Не последнюю копеечку тратили на учеников родители. Вместо котомок новенькие ранцы. Учебники все в сборе. Тетради, карандаши, пеналы, краски. Раскулачивание смазало все радужные краски жизни и детства. Главного кормильца ткнули носом в северную болотину...

Нетерпеливое, даже болезненное ожидание первого грузопассажирского парохода рождало звуковое наваждение. В завываниях северного ветра-бездомника слышались зазывные гудки пароходов, шумок усердных колёс.

Сергей торопил время, призывал весну. Где ты, теплокопуша? Очнись, золотое половодье света майского...

В университете студент Горелов урывками работал над трактатом о русском жертвенном народе. Над простолюдьем изгалялся и царизм. Однако взращённый на терроре и лжи большевизм словно задался страшной целью

стереть с лица земли отеческой главную нацию. Пропитанная лютой ненавистью политика главарей революции выдавливала из истории, из памяти народной всё великое, гордое, патриотическое. Многие удалось сделать русичам за долгие века сурового существования. Продуманно стравив белых и красных, ограбив народ и церкви, изгнав за рубежи Отечества доморожденные умы, ушлые большевики руками и волей полуграмотных чекистов ломались напролом к покорению Руси. Не гнушались безумным террором, голодомором, расслоением классов. Заграница снабжала деньгами, идеями, комиссарами, разработанными стратегиями по ускоренному порабощению тех, кто не ослеп от ярких лозунгов Советов, не оглох на митингах от трепотни хайластных агитаторов. Какую свободу готовили пришлые умники, если даже после двух десятилетий от рождения революции покрыли страну концентрационными лагерями, комендатурами, жестким беспаспортным режимом.

Трактат о великом мученическом народе выливался на бумагу медленно, продуманно. Шлифовался подетально.

Сменялись цари. Триста годков династия Романовых, как могла, вела Россию к миру и процветанию. Государство Российское постепенно выходило на передовые рубежи. Прибыльно торговало с развитыми странами. Но надвигалась неотвратимая бесовщина, предсказанная провидцем Достоевским. Торопливо обростала изменой банкирско-биржевая элита, почуявшая пряный запах закулисных сделок, вкус личных выгод.

Бывшим портным, брадобреям, старьевщикам, ростовщикам приглянулась политика – шлюха из шлюх, которую можно использовать от постелей до королевских тронов. Хитрость, обманы, политзаговоры, убийства, террор. Картавые вожди и вождишки оттачивали трибунное мастерство, вдалбливали в головы простонародья лозунги-

обещания. Земля. Мир. Свобода. Демократия. Кодовые слова бросались в сознание охапками. Шло враньё в мировых масштабах. Выверенная хитрая схема использовалась и на продуваемых фронтах России. Главное: врать, врать и врать. Обещать золотые горы. Золотой телец пусть выкатывает из-под копыт золотишко для наглых, бесстыжих толстосумов. У черни замедленное воображение. Пока быдло разберётся что к чему – глядь, прежние старьевщики, брадобреи и ростовщики из жалких лачуг, местечковых углов успеют перебраться во дворцы, занять в банковской системе кормёжные места. Их газеты, рестораны, заводы, фабрики, биржевые конторы. Закупили на корню власть. Разбойно хозяйничают на деньги, выкачанные из глубин народного труда.

Хотелось Горелову крикнуть на всю студенческую аудиторию: братья и сестры! Умнейте скорее! Финансово-политическое чудовище жиреет, высасывает народную кровь.

В конспектах должны храниться наброски к задуманному научно-исследовательскому труду. Университетская профессура толковала сумбурное марксистско-ленинское учение, не отражающее правдиво события грозного века. Энергия угнетения трудящихся набирала бешеные обороты. Не от добра искала добро униженная нация, засунутая под красный гнёт истории. Всё окрашивалось под колер крови – знамёна, звёзды на будёновках, красная, несмываемая масть власти. От политбезумия бежали за границу учёные и литераторы, купцы и предприимчивые ремесленники.

Иго внутреннего врага отличалось жестокостью, отъявленным цинизмом.

Даже татаро-монгольская напасть в удалённых веках не воспринималась так жутко, как убийственное нашествие новой орды.

Вспомнилось историку и офицеру содержание статьи Ивана Бунина, изданной в Париже в самиздатовской брошюре. Каким чудом она попала в студенческую среду? В той статье писатель эмигрант называл Ленина «планетарным злодеем». Задуманное злодейство, историческое кощунство разворачивалось по зарубежному сценарию на просторах земли русской, в среде мирного населения, подвергнутого насильственному крещению почти тысячелетие назад. Насилие над древней верой предков слилось с новым насилием над экспериментальной нацией. Чем обернулся порушенный когда-то и д о л и з м? – чуждым навязанным культом, грубо внедрённым в ведические нормы бытия доверчивого доброжелательного народа. Нация не нуждалась в подмене богов, в ложных проповедях. Раздробленные княжества Руси всё равно слились бы под знамёнами единения... Охранная грамота праверы, почитание родных богов вели государство и народ трудными путями переменчивой истории. Навязанная извне чужая вера разбойно вторгалась в сознание, растекалась в пределах Руси, внедрялась за века закрепощения народа.

В роковом семнадцатом произошёл новый разлом веры, словно разом провалилась под страной старая тектоническая плита. Сшибали с церкви купола, рушили относительно устоявшуюся религию государства Российского. Крещение атеизмом носило такой же разрушительный характер, как крещение огнём и мечом во времена недалёковидного князя Владимира.

Студент университета Горелов наводил через ущелья истории крепкие мосты. Выходило два великих гонения на один не слитый воедино народ. Царизм не дал ему чистой веры в недюжинные духовные силы. Выкачивал только энергию мускулов и жил. Людом крутили, как огромным веретеном, на которое наматывалась вся придворная знать, полицейско-чиновничья свора, фабричная, помещичья

элита, охочая до больших прибылей, богатых урожаев. Кормильцы переносились на задний план веков и истории, служили фоном, где разворачивались войны, дымились чадные трубы железоплавильных заводов, мануфактурных фабрик.

Трактат о жертвенном народе хотелось бы закончить светом счастливой жизни, но не выпадала такая солнечная идиллия. Не дал Господь народу – кормильцу заботливого отца. Тот, кто сейчас засел за кремлёвской зубчаткой, выдаёт себя за радетеля и родителя, блефует за столом истории, передёргивает карты из мошеннической политколоды. Какой ты батя народов, воевода нации, если дал ход бесправию, произволу, благословил террор. Только по Западно-Сибирскому краю натыкано множество комендатур, концлагерей. Чего опасаясь, трусливая власть, новых еврейских погромов, крестьянских бунтов, эсеровских мятежей? Полноте. Давно размётана белогвардейщина. Всё, что могло сопротивляться – разлетелось, разбежалось, сокрылось... Армия крови одержала верх в боях. Армии органов ВЧК-ОГПУ-НКВД сократили счет белых, опустошили казачьи станицы, подворья зажиточных крестьян.

Пора переводить страну на рельсы мирного труда, да, видно, не отлита сталь для надёжных дорог.

Правдоискатель Сергей Горелов собирался взять эпиграфом слова поэта-демократа Некрасова: ГДЕ НАРОД – ТАМ И СТОИТ... Много его выжималось при царизме на Волге, на пашнях, «во глубине сибирских руд». Стоишь людей, не лишённых веры в лучшее завтра. Пришло лучезарное времечко: смертельный свист свинца в подземелье возвестил чёрную эру насилия и мщениа.

Знал историк Горелов: огромная семья осовеченных народов не без отщепенцев. Тектонические разломы эпох всегда порождают массу ублюдков, доносчиков,

клеветников, мародёров. Не обойтись без рыцарей наганов, штыков и кинжалов. Политика большевиков напрочь свихнула мозги неустойчивым типам, внушила: доносительство на ближнего и дальнего – достойное дело гражданина. Клеветничество поощрялось рублём. Во имя спасения дрожащих шкур можно ничем не брезговать. Предавались отцы, братья, соседи по лестничной клетке, сослуживцы.

В университетской среде тоже находились стукачи, хитрые проныры, держащие носы по ветру исторического момента, уши по направлению смелых высказываний вольнодумцев.

Расслоение умов и взглядов повергало молодого историка в замешательство, в шок. Заставляло таиться, не распахивать душу перед особо любопытными и навязчивыми друзьями. Доносительство одобрялось партслужбами, лжепатриотами, учёными-карьеристами.

Студент-отличник знал: патриотизм не насаждается искусственно – медленно вызревает в толще пластов нации. Идёт накопление памяти о подвигах, о славе... переливается в сплав любви и преданности к отчей земле, к общности народонаселения.

Многие сослуживцы Колпашинской комендатуры плыли по течению кровавого потока. НКВД ставило на пьедестал почёта коллективную ложь, скрытность и безропотное подчинение.

Со стороны чрево Ярзоны предстало свалкой тюремного мяса, неведомо зачем затыренного в сырое подземелье. О каком патриотизме, о какой любви к ближнему по заповедям Христа могла идти речь, когда по заповедям НКВД под статью расстрела подводилась почти каждая неповинная жизнь, заведомо оклеветанная, опозоренная.

Написать Сталину, поведать об узниках Ярзоны, о напрасном кровопролитии. Возведёт подобную мысль лейтенант запаса, сам и свергнет с высоты душевного порыва. Полная бесполезность просматривалась зрячим сердцем. Не могла великая кара проходить без участия безжалостного человека не русских кровей. Приводные ремни репрессий, террора включались в действие из Кремля. Раскрутка была напористой и неостановимой.

Радужные мечты о большой воде, первом пароходе парным туманом наплывали на сумбурное бытие. Преподаватель военного дела перечёркивал крестиком каждый прожитый календарный день их, вроде, не убывало. На северной широте отступала во времени весна. Её отпугивали густоснежные метели, леденящие морозы. Полоненная Обь переживала пору долгой тоски по желанному половодью.

Приходили из комендатуры, просили помочь разгрести кучу следственных дел. Сослался на нездоровье. Не хотелось даже перешагивать порог безжалостного учреждения, где поставленная на поток тряская жизнь докатывалась до жуткой ямы.

Вспоминалась забава из детства. Старший братишка, ухватив за выпуклую пуговицу фуфайчки, спрашивал льстивым голоском: «Алой или каша?» – «Алой»,- отвечал Сергунька, не догадываясь об уловке сорванца.

«Ах, алой – пуговица долой».

Приходилось переключаться на запасное слово «каша».

«Ах, каша – пуговица наша».

В следующий раз разозлённый братик проорал в лицо хитрована:

- Ни алой, ни каша!

- За такой ответ – пуговицы нет.

Пытался победно оторвать пуговицу, а Серёжа её дратвой пришил – пальцы пробуксовывали.

Беспроигрышную хитренькую забаву детства Горелов сравнил с беспроигрышной смертельной игрой особистов. Подпишешь принудительную бумагу, не подпишешь – итог один: вышка... Не пуговицы отлетали – жизни.

2

Несколько раз Прасковья и Соломонида ходили в комендатуру, в Ярзону, добиваясь встречи с арестованными.

– Не положено. Особо опасные преступники...

Где искать правду? Ни избы. Ни мельницы. Ни клочка земли. Ни свидания с мужьями. Пустить в дело связку соболей Прасковья опасалась. Сочтут за подкуп... сама загремишь за колючку.

Отговорил Натан молодуху от подношения дорогой пушнины. Умолчал: отца и сына поднимали на дыбу. Усердствовали надзиратели Кувалда и просамогоненный Ганька.

Не расскажешь Соломониде о всей кровавой правде, протекающей в застенках. Зверство napало на карателей. Пытальня пропиталась кровью, мочой и блевотиной. Показатели выбивались всеми инквизиторскими методами. Истязаемые не могли поставить в протоколах допросов не только крендели фамилий, но даже простые крестики выходили корявыми и неестественными. Надломленные крестики несли тяжкий крест судьбы, сходили за прощальный знак изуродованной жизни.

На Никодима и Тимура надели кандалы. Ганька Фесько самолично расклепал резьбу на вершинках болтов.

– Бугай! Теперь пальцами не осилишь. Не пытайся освободиться.

За крупную нельму чикист Горбонос выторговал у коменданта день покоя. На расстрелах нервы горели сухим хворостом. После утомительной вахты лихорадило, мутило. Первый гранёный стакан водки исчезал в утробе обыкновенной водой, не воспламеняя дух, не обжигая нутро. Со второго стакана на мозги наплывал туманец. Наслаивался на очертания Ярзоны, подземелья, штабеля трупов.

«Обхитрил Натан-Наган... вовремя в вышкари подался. Стоит сейчас подлец, зыркает по сторонам, дышит чистым воздухом зимы... Перестал в деревню наведываться... побаивается шкура: не сойдёт с рук почтарство. За связь с подследственными опасниками может статью на черепок наклепать... Стоит донести главному – скоренько вышкаря в нарники переведут... Стой, стой пока... зубри стишки поэта-хулигана. Всё зачтётся тебе... Клянусь последним чирьем – когда-нибудь сдам тебя со всеми потрохами...»

Водка пока не подняла стрелка расстрельного взвода до облаков, но над полом казармы закрутить успела. Летает в густых парах. Служба представляется почётной, жизнь удачной. Можно поговорить по душам с тараканами, пробегающими по столешнице.

– Шельмы! К салу крадётесь... Не бойтесь – не убью. Сегодня я добряк – жизнь дарую... Вы твари, но чище, чем обовшивленные нарники... Кто их загнал в мышеловку? Сами себя загнали... Ваше тараканье высочество, погрызите сальца – не взыщу...»

Подушка с грязной наволочкой давно магнитит башку. Видения перемешиваются в чёрный ворох, тащат в глубину забытья...

Даже особисты встревожены темпами ведения расстрельных дел. Следствия стали скоротечными. Комендатура, Ярзона охвачены зимней горячкой. Пытальня вышвыривает полуживых эсеров, заговорщиков, поджигателей, хранителей тайников с оружием, спрятанным для подставы сами же гэбистами.

Количество смертей подгонялось под пузатые конкретные цифры, вписанные в совершенно секретные директивы.

Много сфабрикованных в спешке дел хранилось в пухлой папке с жирными словами на обложке: **РОССИЙСКИЙ ОЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ**. Туда в смертельном полёте залетели помимо русских латыши, поляки, белорусы, обруселые немцы, два китайца и тунгус из придуманного легиона мстителей. Среди разношёрстных вредителей из крестьян-единоличников, сапожников, бондарей, скотников затесался начальничек из Рыбтреста, осуждённый как участник право-троцкистской организации. До этого было исключение из партии за «потерю классового чутья». Какое надо было иметь собачье чутьё, чтобы унюхать в большом коллективе приверженцев красных, белых, уклонистов, сочувствующих, отщепенцев. В густом непитательном бульоне гражданских войн, восстаний, мятежей варились столько отупелого от красных идей люда, что ни один повар не смог бы распробовать на вкус бурливое варево. Надо было иметь классовое чутьё, чтобы когда-то где-то потерять его окончательно и бесповоротно. За непростительную потерю нюха начальник третий месяц валялся на нарах. Ждал, когда земное существование закончится приговором пули.

Разгоряченные безустальные тройки проносились под свист свинца, под стоны и дикие крики в пыталне.

Ещё один особист подал рапорт об отставке. Рассерженный комендант выдавливал кончиком языка

застрявшую в междузубье рыбью косточку. Она ускользала, не поддавалась натиску. Внезапно громоподобный мат сотряс воздух:

– Да я вас!.. отучу!.. рапорты!.. подавать!..

Испуганный гэбист вытянулся сусликом. Бесполезно возражать Перхоти в момент накатного гнева. Лицо, шея побурели. Часто запульсировала вздутая на виске жилка. Неколебимой рукой командир указал подчинённому на дверь.

Вовлечённый в преступный сговор московских политворотил, комендант опасался за личную шкуру не менее напуганного офицера. Где-то на небесах уже оттачивался меч возмездия, вскипала божья кара.

– С корабля побежали крысы, – басил хозяин кабинета. – Надо непременно перекрыть пути к отступлению... Не мы повинны, что верховодник кремлёвский пустил судно по морю крови... Мы – матросы слаженной команды – обязаны выполнять приказы вождя и Наркомата... История спишет неведомый грех... или ведомый?.. Не мне разбираться в хитростях грешных политиков...

Косточка нельмы не выковыривалась даже спичкой.

– Не срослась же ты с зубом.

Затяжная злость не проходила. Прибавлялось накипи в душе от напряженного ожидания следственной комиссии из Новосибирска. Особые грехи не тащились за комендантом волоком. Но всё же... Молотилка крутилась исправно, без пробуксовок. Снопы не скапливались, вовремя пускались в обмолот. По главному показателю его похвалит комиссия. А мелочевок у кого нет... Два элемента покончили с собой в камерах. Один сдох от истощения. В пыталъне у одиночника сердце разорвалось... слабые отголоски режима...

В плюсы Перхоть занёс добропорядочный поступок: гробовщика-контреволюционера в гробу похоронили. Сознался на крепком допросе: входил в Российский Общевоинский Союз. Перед расстрелом сам себе гробишко смастерил. Оструганные доски подогнал плотненько, чтобы ямный песок не просочился. Спокойненький такой старичок, тщедушный. Наверно, кроме рубанков, стамесок и молотков ничего серьёзного не держал в руках за протяжённую жизнь...

Наконец-то злополучная косточка изгнана с зубной территории. Подержал в пальцах, разглядел пристально:

– Смотри сука какая стойкая – как контра на допросах.

Трижды пытался кузнец Селиверстов открутить гайку с болта – раскровянил пальцы. Кандалы закорили крепко. Расклёпанная паршивцем Ганькой резьба болтов не поддаётся сейчас и гаечному ключу.

Зализывая порезы на пальцах, ворчал:

– Вонючая семейка – Фесько. Гниль стволовая. Влипли мы, Тимурка, ох влипли. Такие вериги носим. Своротили нас злыдни с судьбы. У своих же в плену сидим. И кандалы свои. И решётки-солнышки.

Трудно открывать Тимуру почти беззубый окровавленный рот. Слушает рассудительного отца, смаргивает ресницами – соглашается.

– Ты, сынок, из-за меня кару принимаешь. Догадывался: изверг Фесько не простит жизнь-единоличку... Вот и выпала раскулачка... поздним числом.

Глазницы Тимура в густой синеве. Избитое киянкой тело сын не показывает бате: расстраивать не хочет.

Трусливый надзиратель Ганька боится подходить к кандалникам. Успел прочесть по непримиримым глазам: недоброе замышляют. У бугая глаза – сгустки мести. На

бугаёнка страшно смотреть – раскрашен всеми цветами пытални.

«Скорее надо гадов в расход пускать... чего медлят...»

Многих казарменников гоняют на работы. Подкатывают брёвна к лесопилке. Чистят помойки и нужники. Разгребают снежные завалы. Два бондаря эсеровского толка отправлены в засольню на ремонт бочкотары. Печник-заговорщик прочищает дымоходы.

Палачам спущен приказ: Селиверстовых не пытаться. Подлечатся – в кузницу. Колхоз до сих пор коваля толкового не может найти: кто по тюрьмам, кто после коллективизации по болотам и тайгам провинку отбывает. Весна подступает – сельхозинвентарь починки ждёт.

Никодимчик растёт, вес набирает. Пузыри выдувает из ротика, зацелованного матерью. Прасковья представляет: в зыбке Тимур, уменьшенный до младенчества. Отводит сердце и душу на частых ласках. Когда нет рядом Соломонида и Фунтихи, молодуха захватывает томящимися губами писуньку сыночка, причмокивает от удовольствия. Прихватила за такой проделкой опешенная свекровь:

– Срамница!

– Моё дитя – целую, где хочу.

– Грех ведь...

– Нашла грешок. Пусть с измалетства нежные ощущения испытывает. Поп в церкви малютку крестил и то в тайничок палец запустил...

Не по сердцу Соломониде развязные словечки невестки. Слышит по ночам её любовные стоны, вскрики. Что поделаешь? Жаль жалкая берёт, глядячи на горящие страстью глаза остячки. Тимур способен залить бабий пожар, да нету кровиночки. Жив ли? Летаёт по посёлку лохматый слух: швыряют на тот свет несчастных без

отпевания, без благочестивых христианских обрядов... Господи, где найти правдушку в мире грехов и пороков...

Заявился растерянный Натан, сослался на затяжную болезнь. Сообщил: мужики живы... Слово здоровы не договорил. Врать не стал, обсказал про истязания.

Глядела на охранника Праска Саиспаева, телом млела. В злом чёрте произошло странное превращение: лик не отпугивал; пристальный взгляд не злил. Встряхнула головой, вспугнула наваждение... С Тимуром ему не тягаться ни телом, ни духом мужским...

В тесноте, в страшной обиде на власть находились приживалки у спокойной Фунтихи. Травница утешала:

– Всевышний узрит беду – выручит.

Собиралась Прасковья перебраться с сынком в отчую избушку, но родители пустили на постой двух хворых спецпереселенцев. Пришлось продать соболей, жить на вырученные денежки. Сто рублей предложил Натан. Отмахнулась, как от шершня.

– Чего ты... от чистой души...

– С каких пор она чистюлей стала?

– Забудь старое.

«Нет, не распахнёт вновь ромашковый халатик недоступная деваха... Смотрит зверьком... да и как не озвереть от окружающего паскудства».

Чикист Горбонос нахмурился, затаился. Зайцем косым позыркивает. Гадает Воробьёв: успел – не успел заложить за служебные прегрешения. В винной дружбе с Ганькой схлестнулся. Самогонничают, похохатывают над вшивой командой приговорённых. Пуля ставит точку последнюю. Свинец обжалованию не подлежит. Дружки смотрятся тузами чёрными, поставленными на беспроигрышный кон.

Золотые зубы давно не мелькают в обезображенных ртах. Зачем зарывать в песок яра золотишко, когда-то с трудом извлечённое из магаданских, иных недр.

Подаренное провидцем золотое кольцо словно прожигает материю и душу. Верно говорил Тюремной Харе расстрелянный волхв: не принесёт удачи отшлифованный временем желтый ободок. На третий день после обладания золотишком Кувалду избили до полусмерти под шум гудящей пилорамы. Прикончили бы гада, да замаячил за сосновыми кряжами вездесущий Ганька Фесько. Мстители собирались швырнуть полутруп на бревнотаску, отправить на окончательный суд вертикальных зубастых пил.

Оклемался палач. Еще сильнее озверел в пыталъне.

Татуированный синюшный лик вождя исполосовали заточенным гвоздём. После заросших стянутых шрамов он являл страшный вид уродца. Завели в о ж д ё в о е д е л о , искали главаря кощунства. Обречённые стояли нерушимой стеной.

Ничего хорошего не предвещал бунт на корабле. Перхоть ещё яростнее орудовал пальцами в кудлатинах. Чаше стал пробегать по глазным закрылкам ток нервного тика.

Через неделю Тюремную Харю осудили за бесчинства в пыталъне. Припомнили дикое самодурство – отрубленные пальцы старовеера.

Разряд надзирателя разом понизили до положения смертника.

Обладающий звериным чутьём, Кувалда ощутил погребную сырость подземелья.

– Ганя, друг, умасли коменданта золотишком. Откупись за меня.

На корявой ладони бывшего надзирателя тускло сверкнул грешный металл. Один золотой зуб попал под охрану обручального кольца, притаился в аккуратном ободке.

– Расчёт выбитыми зубами оскорбит коменданта... на меня дело заведут.

– Не раздавать же обратно зубы владельцам под расписку, ухмыльнулся убийца, – Ганя, порадей... век за тебя молиться буду...

Фесько перекошил в усмешке рот.

– Не долгим будет век мольбы... Захолустная у тебя душа...

Хочется Кувалде обматерить собутыльника. Крепится. Пыхтит. Зубы впритиск. Кто учить собрался, о душе напомнил. Молодёжь – соплёжь. В надзиратели подались, в стрельцы. По вышкам смотровым расставлены... Таким лобанам пахать, сеять, лес валить. Скоты! Не вилы – оружие облюбовали...

«Сгуртились чёрные тучи надо мной. Вождёк натальный – подмогни!»

Счетовода Покровского пока не расстреляли. Старообрядец Влас по-прежнему бубнит на нарах тягучие молитвы. Каждый день чистит подолом рубахи святого заступника Георгия Победоносца.

Из бухгалтерии комендатуры принесли кипу бумаг. Мелькали и отчёты: цифровика Покровского заставили проверять их достоверность. Мужичок-хлячок обрадовался возможности погрузиться в знакомый бухгалтерский мирок. В первом же документе сразу обнаружил разлад цифр. По отчёту всплыло завышение сметы. Счетовод не знал – раскрывать или скрывать путаницу цифр. Не проверяют ли его на бухгалтерскую грамотность? Сразу и не определишь: подвох готовится или комендатура добивается правдивого раскрытия тайны синих столбцов. Оставить ложь не разоблачённой – тоже опасно. Дали два огня – ищи серёдочку...

Помог мудрый Влас.

– Вскрывай все хитрости-утайки. Дай понять: по священному церковному писанию живёшь. Оно учит: сожги

мысли грешные, не помышляй о наживе... Пусть знают в органах – ты большой спец по цифрам, не мог допустить ошибок в своих отчётах... Контрольную проверку делают – не сплошай.

Металлические солнечные лучи на решётках бились в силках, рвались на волю мартовского дня.

Слушая бубнёж цифр, Никодим наблюдал за посветлевшим лицом счетовода. Нежданно-негаданно Покровскому вернули радость. Повяло духом профессии. От души бултыхался в тихом омуте отчётов.

Руки кузнеца стосковались по металлу, взгляд по гудящему горну. В пыталне вылетали из глаз снопы разбежных искр. Искусственная искорь в воображении сливалась с живой – кузнечной: они взлетали над наковальной при ударах увесистым молотом.

Стоически переносил одиночник Селивёрстов ужасы насилия. Гудела голова. Стонало тело. Ныло сердце: оно находилось в замешательстве, не понимало, что происходит с человеком, кому оно служит верой-правдой. Не было времени успокоить сердце: здесь в зловонной пыталне вершится не поддающееся уму и здравому смыслу злодеяние. Не на вражеской территории – на родной отеческой земле кощунствовали удалыцы красного террора...

Из кривых штолен, ведущих в подземелье, тянуло холодом погибели.

Опытник суровой жизни Никодим Селиверстов давно уяснил: чистая самородная правда распята, так же как был предательски распят страстотерпец Иисус Христос. Русь на кресте. Русь на дыбе. Воскреснет ли убиенный народ? Вознесётся вослед за чудодеем, посланным во искупление грехов людских?

За праведность существования кузнец принимал молитвенную основу, вживлённую веру во Христа. Сейчас у

кандальника рушились все представления о законах истины, о силе и духе правды. В Ярзоне чётко просматривался водораздел. Размежевание единого народа по цветам – хитрая подстроенная ловушка. Иудам удалось вовлечь в кровавую бучу окуренную ложью нацию, запустить процесс самоуничтожения.

Никодим отыскал времечко для осмысления всей пагубы безжалостной власти. До начала злодейской коллективизации он сомневался, принимал на веру усыпляющие лозунги партийцев. Продовольственный грабёж крестьян окончательно развеял сказочку о будущем блаженстве. Выгребли подчистую даже семенное зерно. Кабальные налоги, продразвёрстка обрекали на нищету. На телегах под красными флагами уплывал изъятый по беззаконью урожай.

Почему власть отыгрывалась на беззащитном крестьянстве? Почему здесь, среди нарников, та же деревенская вшивота и голь перекатная?..

В один из ясных апрельских дней у ворот тюрьмы закипела суматоха. Подследственных выводили на работы. Они гуртились в зоне, галдели, кашляли, изощрялись на все матерные лады.

Мальчонок в рваной фуфаечке молотил кулаками по воротным доскам.

– Сволочи! Выпускайте дядю Никоду!.. выпускайте! выпускайте!

Конторский рассыльный Оскал блажил, взвизгивал. Возмущение посыпал бранными словами.

Вышел воротный страж, молча поддал пинка. Недальновидный охранник запоздало понял оплошку. Недоумок вскипел пронзительным ором. Поросёнок при виде ножа не мог бы так виртуозно исполнить арию беды. Страж попытался заткнуть визгуну рот, но Оскал весьма

изощрённо укусил привратника за прокуренный палец. В нос мальчишке ударила табачная вонь. Плевок в лицо обидчика получился выстраданный.

– Дык, суки! Дядю Никоду на свободу!.. Немедленно!..

Распахнулись ворота. Мутной рекой потекли зонники. Маячили конвойники. На штыках вспыхивали огоньки апрельского солнца.

– Дяденьки! Вас много. Дык освободите кузнеца!

Рослый насупленный конвоир сунул Оскалу конфетку-подушечку. Освободитель замолк. Густенькая сопля кралась по верхней губёшке.

Удивлённая подвигом пацанёнка толпа загалдела:

– Толковый хлопец!..

– Один на НКВД прёт!..

– Сёдня наш бугай непременно свободу получит...

– Прощай, Гаврош!.. Довелось хоть одного колпашинского героя посмотреть...

Хрустя липучей конфеткой, Оскал с любопытством разглядывал шустрыми глазками бесконечную серую рвань. Выискивал дядю Никоду. Угрюмые лики сливались в кишашую массу. От мельтешения покалывало глаза, набухали слезинки.

3

Через неделю кандальников увезли в деревню.

– Братцы,- восхитился нарник со шрамом на лбу,- мальчонок единоличника освободил.

– И сына его,- добавил двуперстник Влас.

– Повезли кандалы снимать,- предположил счетовод Покровский.

Каждый подумал о свободе, словно вдохнул хвойного аромата.

Не дав встретиться с роднёй, мужиков доставили к кузнице. Чёрная избушонка показалась Никодиму Савельевичу чужой, неласковой. Думал – прольёт слезу от радости встречи. Испытал опустошение души. Выжгли нутро калёным железом. Улетучилась тоска по наковальне, молоту.

– Чего размечтался, бугай?! – пробазлал неопохмелённый Ганька. – Подкопили на нарах силёнок – колхозу подмогните.

– Снимай кандалы!

– Мы и тут из вас дурь выьем,- взвизгнул Горбонос.- Ваши вериги надолго.

Шустрый Оскал летал по Заполю, блажил:

– Дядю Никоду освободили! Дык я помог.

Ждали появления мужей Соломонида с Прасковьей. Фунтиха сунула рассыльному горячий пирожок с горошницей.

– Рассказывай, родненький, подробности.

– В кузне они.

Сердчишко Праски забилося сбойно. Набросила клетчатую шаль, засуеилась.

– Схожу разузнаю.

На подходе к кузнице её остановил ухмылистый Ганька.

– Стоять! Свидания запрещены!.. Пошла вон!

– Козёл безрогий! Грубить вздумал. К мужу, к свёкру иду. Ни к тебе – шкуре продажной.

– Докаркаешь! Мы при исполнении задания...

– Исполнители вонючие! Прочь с дороги!

Оттолкнув надзирателя, упрямая молодайка подбежала к Тимуру, уткнулась в грудь разгорячённым лицом. Из распахнутой серой фуфайки несло стойким потом.

– Поцеловки отменяются, – секретничал на ушко муж,
– вишь, губы скалками.

Поначалу Прасковья не разглядела синюшные
рассеченные губы.

– Выродки! – ненавистно посмотрела на конвоиров.

Обняла Никодима. Разглядела его потемневшее
осунувшееся лицо.

– Ничего, дочка, дюжим, – успокоил свёкор.

– Чья теперь кузница? – спросил вызывающе
Никодим.

– Обчая, – ехидненько ввёл в курс собственности
Ганька.

Заглянув в нутро избушки, Селивёрстов осудил:

– Сразу видно, что обчая. В свинарник превратили.

Надзиратель Фесько, отведа в сторонку
растревоженную Прасковью, буркнул:

– За свидание водки притартай... можно самогонкой
рассчитаться.

У Саиспаевой мелькнула спасительная мысль.
Подмигнув Тимуру, побежала к Фунтихе.

«Подсыплет наша знахарушка зелья в самогонку –
скоренько с копылков свалитесь...»

Развели горн. Навели порядок вокруг наковальни.

Рассылёнок-освободитель приплясывал у двери:

– Дя-дя Никода! Дядя Тимура! Дык радость какая!

Горбонос с матюгами налетел на парнишку, пытаясь
ухватить за красные уши.

Вмешался Ганька:

– Оставь, визг поросячий поднимет.

Появился председатель. Рожа у Евграфа Фесько
растестилась. Пышные щёки напоздали на седеющие виски.
Племянник услужливо помог слезть с уросливого гнедого
жеребца. Седло на нём было роскошное, конфискованное у
зажиточного казака. Ганька отдал по-военному честь:

– Докладываю, товарищ председатель: кандалынки доставлены в срок.

– Может, снимете с них железки?

– Не велено. Большой риск побега.

Рассыльный Оскал поднёс пальцы к скользким ноздрям жеребца, смазал слизью. Поупражнялся за спиной – хорошо ли маслится фи́га. Большой пальчик втискивался в соседние с лёгкостью ерша.

Председатель не ожидал от чертёнка такой прыти. Подскочил и вытворил багровому носу Евграфа знакомое подношение. В нос ударил запах лошадиных соплей.

– Гадёныш!

Фесько с силой оттолкнул храброго малого, не устоявшего на ногах. Шапчонка слетела. Оскал – по славному деревенскому имени Вася – упал навзничь, ударился затылком о заржавленный плуг. Лежал неподвижно. Правая рука судорожно подёргивалась: неразжатая фи́га продолжала посылать обидчику язвительную депешу.

Пепельные жиденькие волосы на затылке пропитывались детской, самой священной кровью.

Догадываясь о непоправимом, Фесько приказал племяннику:

– Скачи за фершалом!

Гремя кандалами, к мальчику подошли кузнецы. Никодим бережно поднял остывающее тельце: оно показалось легче ржаного снопа. Из разбитой головы усилился красный капёж. Широкой ладонью любимец Васи – дядя Никода зажал рану.

– Зверь лютый! Мало тебе нашей крови, ещё и детскую кровушку пьёшь.

– Поговори мне! – вскипел Евграф. – Сам оступился. – Убирайтесь в кузницу!

Размахивая наганом, как шашкой, Горбонос наскакивал на кандальников:

– Марш на работу! Без вас разберёмся.

Как малютку, баюкая горемыку, Никодим Савельевич шепотил:

– Васенька, живи... живи, Вася...

В избе-пытальне на дыбе у кузнеца Селиверстова докрасна созрела мысль о мести. Под ударами разнузданной казацкой нагайки надзирателя Ганьки разбухала злоба на главного артельщика Фесько – тупого лодырного мужика. «Дорвалась сука до властишки, жизнь нашу изъела... бросила паршивым псам на растерзание...» Ничего не стоило придушить в зоне Ганьку – змеёныша. Откладывал месть... Придёт срок – покажет ему бугай рога острые, копыта пудовые.

Всем нутром, всей кипящей кровушкой чуял Никодим близкий смертный час. Многие нарники-невозвращенцы лезли в вещие сны, предупреждали о скорой развязке. Не ожидал кузнечных дел мастер, что багровое колесо расейской истории готовится раздавить человека, ещё недавно добывающего для народа озвученную лозунгами свободу: она – дитя-недоносок – скоренько переродилась в неволю, гнёт, иго. Власть оказалась зловещей, ощеренной во всю красную пасть. Вздёргивать на дыбу храброго русского солдата?! Глотал удушливые газы неметчины. Мок в окопах. Ходил в рукопашные схватки. Доблестный штык оставил много смертельных мет под вражескими мундирами.

Не знал за собой Селиверстов никакой провинки. Никогда не позорил Родину. Георгиевский крест получил за исключительную храбрость и мужество. За мужество и муки на дыбе готовится пуля... Сидит в патроннике, ждёт рокового разбега...

Ублюдыш Ганька – сошка мелкая. Пьянь. Приспешник. Отсвистит плеть – взбодрит нервишки своегонным винцом. Будет дальше жить, злодействовать.

Евграф нужен для отмщения. Каким ветром занесён сорняк в Приобье? Жил-поживал в Западной Украине, так нет: припёрся в наши края соци-лизм строить...

Тельце Васи остыло. Дяде Никоде привиделось слабое сиреневое свечение. Душа пока не отлетала, сочилась тёплым маревом. Положил трупик на сани, поправил под головкой клочок сена. Чикист Горбонос перестал размахивать наганом, упрятал в кобуру. Насмотрелся на многие узаконенные тройками смерти, уход из жизни визгливого соплячонка не задел ни одной ослабленной струны: душа не отозвалась сигналами боли и сострадания.

– Чего пасти разинули?! Марш в кузницу!

Растерянный Евграф обрадовался властному окрику чирьястого. И то. Весна идёт. Работа стоит. Плуги, бороны о землеце задумались. Вон их сколько вытаивает из-под снега.

Грозовые мысли набухшими тучами проплывали в больной голове Никодима. Пашню, покос, избу, кузницу – всё забрали именем беззакония. Перед расстрелом решили остатнюю силушку высосать у наковальни. Смотрит внимательно на отца Тимур – всё понимает, со всем соглашается. Тоже каждая клеточка мезтью дышит. Пойдёт батя сошники ковать – он за ним. Даст сигнал – порешить злодеев – руки не дрогнут... Догадалась бы жёнушка – сыночка принесла посмотреть. И опухшими глазами разглядит роднулю, каждую чёрточку вберёт взглядом... Что за время поганое обрушилось? Изверги правят твоей свободой, распоряжаются добром нажитым. Засел красный Мамай в Кремле, а услужливое продажное воинство дань подушную выгребаёт. Неужели кандаальный звон – гимн народный?..

Вот стоит трусливый Горбонос, хорохорится. Фесько убил мальчика и ни страшинки в наглых шарах... Васенька фигу не разжал: запеклась крепким крендельком.

Шатаясь в седле, подъехал Ганька, козырнул:

– Фе...шера нне-ма...пян...

– И ты уже нажрался! – вскипел Евграф.

– Ни-как ннет... два сты-кана...

Выпутывая ноги из стремян, гонец не удержался в седле, грохнулся наземь.

На выручку поспешил Горбонос, наклонился, чтобы поставить дружка на ноги.

Медлить было нельзя. Тимур схватил прислонённую к кузнице оглоблю. Удар получился смачный, смертельный. Тимур вложил в него всё припасённое чувство ненависти к Ярзонной мрази. Конец оглобли оглушил и гонца.

– Вот такая гармонь! – уточнил плотник, доставая из кобуры Горбоноса наган. Наведя ствол на председателя, обезоружил и Ганьку.

Не ожидал Никодим от сына такой скоропалительной развязки. Фесько разинул от страха рот. Не расслышал в запальчивости бряканье кандалов. Фигура деревенского Добрыни выросла перед ним живой глыбой. Пригвожденный неожиданностью, парализованный ужасом такой близости, Евграф вытаращил на кузнеца будто отрешённые от тела глаза. Хладнокровный Никодим мог поклясться, что мельком увидел себя в расширенных зрачках артельца. Фесько пытался кричать, но из глотки выливалась сплошная хрипота.

Загрёбистые пальцы кузнеца удавно сомкнулись на землистой шее давнего мучителя. Зрачок нацеленного нагана способствовал гипнозу, под которым находился клеветник.

Всё произошло неожиданно и споро.

Жеребец, стоя у коновязи, преспокойно жевал пучок сена.

Сняв с руки Ганьки казацкую плетть, Тимур трижды огрел парочку, сопроводив операцию смачным плевком.

Волоком перетащили заваль в кузницу. Ножовкой по металлу срезали кандалы.

Заготовленные на растопку берестяные п р и к а с ы от артельного руковода положили в углы, просушенные за долгие годы горячей жизни.

Горн раскочегарили в последний смертный раз.

– Пробил час, родная кузница, пробил...

Из глаз Никодима выкатывались слезинки, их сушил накатный жар горна.

У двери в помятой ведёрной дегтярнице хранился керосин: расплескали по стенам, облили берёсту, охাপку дровишек у горна. Досталось и неподвижной тройке трупов.

– Хоть одна т р о й к а ответит за зверства. Мы, Тимур, подписываем свой народный протокол огнём... Прихвати, сынок, молот, ступай!

Разбрасывая лопатой угли из горна, Никодим выдавливал стон:

– Прости, родная, прости!.. Довели ироды...

Левая кособокая стена кузницы первой обзавелась бесшабашным огнём. Выгреб весь жар. Пламя пыталось переметнуться на одежду, гнало из чёрной горенки, не понимая причины огненной расправы.

Зашевелился Ганька, вытаращил глазищи, в которых чёртиками плясали отсветы рукотворного пожара.

Прокалённые за годы служения клещи намертво сдавили податливое горло.

– Полежи, гусарик... отцарил...

Сработанная на опережение судьба развернула перед недавними кандалниками трагическую панораму. Они стояли на пяточке недавней расправы над тройкой:

растущее пламя завораживало. Огонь набирал гудящую прыть, рвался в распахнутую дверь.

Швырнув в огонь нагайку, Тимур напутствовал:

– Гори, змея подколотная!

Горьким оказался праздник бытия.

Тревожно заржали лошади.

Васеньку отвезли к родителям. Вкратце обсказали о случившемся.

4

В избе Фунтихи царил переполох.

Разохалась толстуха Соломонида, торопливо собирая в дорогу провизию.

Молодые наклонились над кроватью, сюсюкали с малышом.

Прильнув к мягкому боку Прасковьи, Тимур вбирал прощальное тепло. Не такой представлялась встреча с любимой... знать, судьба загнула подковину не в сторону счастья.

Подошёл Никодим Савельевич, ревниво отстранил молодых.

– Дайте деду полюбоваться мужиком... ишь ты... весь в Селиверстовых ...

Без кандалов Тимур чувствовал прилив небывалой силы, подъёмную лёгкость. Казалось: взмахни крылами и улетишь в края, где нет тюрем, насилия, выпученных глаз надзирателей... У кузницы произошло дикое, непоправимое, подстроенное оглушающей бесовщиной. Невыносимая обстановка толкнула на самосуд, затмила рассудок... нет, прояснила его, подсунула золотой шанс... Витал призрак скорой смерти, указывал самый верный путь избавления от нечисти. Гордые сибиряки не могли снести вызывающую наглость шкурников...

Когда отец увидел на липе Тимурёнка улыбочку-вспышку – накатилась крутая волна радости и свободы. Обрёл зажигательную отвагу. Чего теперь бояться – два нагана с полными обоймами патронов, двустволка. Пока ищейки пустятся в погоню – будем на Федоркиной заимке. А там... там тайга, круговая порука сосен и кедров. Может, Михайло спаленку свою уступит, всё равно скоро тепло выгонит бродяжку... Улыбается Тимур, вливает в лицо улыбочку сына.

В чёрную тайну кузницы Фунтихи не посвятили: старая сорока быстренько разнесёт по Заполю словесную стрекотню.

События последнего часа пронеслись перед Никодимом Савельевичем как в дурном сне. Его можно назвать и счастливым сном. Разом получить освобождение и отмщение... Мужик пребывал в возвышенном состоянии решимости. Надо промять колею обдуманых действий. Вот так и на германской войне накатывался перед боем горячий поток неизвестности. Ратник мысленно прокладывал предстоящий путь... Боевые действия начались у кузницы. Полоса фронта протянулась до избёнки травницы Фунтихи, протянется дальше по санной дороге в глубь охранного леса.

Раздумывал кузнец: гордая правая месть умеет разить врага наповал. Сын призвал на помощь оглоблю... очень пригодилось подручное средство... кара врагов настигла... Кузницу жалко: погрела старушка косточки у последнего очага... Молот предать не мог: не доверил жоркому пламени...

Из деревни выехали засветло – благо избушка Фунтихи отиралась на краю кривой улицы. Хриплоголосые дворняги устроили проводины прерывистым незлобным лаем.

К ночи затяжной северок наташил снежные тучи. Забуранило. К скупому рассвету извилистый санный путь перемело, только макушки сиротливых вешек торчали из рыхлых утихомиранных сугробов.

В Ярзоне из когтей смерти вырывались немногие. Грозная, не ко сну помянутая 58 статья, иногда маячила послаблением – отпускала десятилетний срок заключения.

Почти каждый, побывавший в пыталъне, возвращался оттуда с сотрясением мозга, всех внутренностей. Подследственные часто бегали к парашам не по малой или большой нужде – по нестерпимой тяге к изматывающей тошноте. Блевали надсадно, с горловыми потугами, харканьем, хрипом. Часто случались кровавые поносы.

Доведённый до психопатства сапожник из Нарымской артели тренькал на струне из кожи самодельную мелодию. Щерился, выставляя напоказ прореженные зубы. Его арестовали за спетую на гулянке частушку:

Когда Ленин умирал,
Сталину наказывал:
- Хлеб народу не давай,
Мяса не показывай.

В мастерской у него была старенькая балалайка с двумя струнами; третью снял сын, приделал к блесне. Жоркие хваткие щуки водились в таёжном озере: леску откусывали, словно сапожным ножом обрезали.

Дурачка пожалели: тройка влепила десяточку отсидных лет и пяток годков поражения в правах. Чудаки! Да будущий подмастерье был ущемлён во всех жизненных правах с того самого момента, когда рябая повитуха обрезала тупой бритвой скользкую пуповину. Воспитывался на подзатыльниках. Постигал забористую матерщину.

Голодал у развратной тётки. Голова много раз вбирала аккомпанемент сапожных колодок. Какая-нибудь энная колодка и сотрясла мозги, скрутила в пучок извилины.

Бреньканье надоело нарникам. Шумнули на артиста.

Счетовод сумел на три раза перетрясти цифирь подсунутых отчетов.

Он приглядывался к головам сокамерников, видел броскую седину волос. Все стояли на последней ступени ломкой лестницы смерти. Тускнели сердца. Обесцвечивались шевелюры. Только коренастый бесшабашный цыган маячил кудрявой черной головой, не поддающейся испугу седины.

Неделю назад стали гноиться у старовера обрубки пальцев. Влас заливал шрамы мочой, посыпал толчёной корой, замазывал живицей. Из брёвен высачивались густые янтарные капли, словно тюремный барак оплакивал горькую участь согнанных в кучу бедолаг.

Старообрядец рассказывал счетоводу о плакун-траве. Она появилась после распятия Христа. Богородица долго и горестно оплакивала его судьбу, осуждала Иудино кощунство. Вот так вырастают на Руси на слезах – травы, на крови – храмы.

Поубавил гнева Кувалда. Передвигался нервными толчками: кто-то незримый подталкивал его к порогу расчёта.

Без бугая Селиверстова ему стало безопаснее в тюремных стенах. О побеге отца и сына надзиратель узнал на третий день. Выпытывал у чекистов подробности, но они особо не распространялись. Ждали приезда следственной комиссии. Всякие слушки были лишними.

Бывший гэбист Горелов часто ходил к Оби, физически испытывая муки воды под ледовым панцирем. Ждал первых заберегов. Пока река объята белой немотой. Величие не

потеряла. Даже сейчас Колпашинский яр испытывал к шири вековое уважение.

Небеса образца 1938 года наливались густой апрельской синевою. Сорочье и вороньё становилось непоседливее, осыпая округу горластыми вскриками. Суетливые синицы вспоминали подзабытую за долгую зиму припевку *т р е н ь - з в е н ь*, самозабвенно славили крепнувшее солнышко.

Зачёркивая крестиками календарные числа апреля, Сергей с радостным содроганием сердца ждал открытия навигации, прибытия первого парохода. Казалось: целая вечность прошла тихим ходом со времени погружения в комендатурскую жуть. Ярзона представлялась оплотом беззакония, эшафотом, на который ежедневно заводятся новые узники. Университетская скамья – не брыкастая лошадь, но она скинула седока в дебри бесправия и лютого произвола. Не нужен был диплом историка, как приложение к изуверству НКВД.

Глядел на раздольное заречье в саване настороженных снегов. Виделась совсем другая Родина не с растерзанной свободой – чистая, не запятнанная кровью народа, не задушенная репрессиями, не преданная злобными врагами нации.

Вернётся в университетский город, направит поток творческой энергии в русло давно задуманного сочинения. Теперь трактат о жертвенном народе виделся отчётливо, ярко, как вот это заречье, облитое воспрянувшим светом. Комендатура, следственная зона будто открыли третий всевидящий глаз.

Дальнейшие наброски к трактату забурлили живчиками здесь, на северной земле, вознамерившейся существовать при режиме насилия, выживания. Возможно со временем выстраданное сочинение перерастёт в диссертацию.

Мечталось о любви – сияющей, сокровенной. Госбезопасность не обезопасила душу от житейского хлама. Она даже не сжигала накопленный сор – трамбовала до крепости горных пород. Как расплавить теперь спрессованные кварцоиды, очистить сердце от ржавчины, яда событий. Довольно! Побыл в лапах органов заводной игрушкой. Механизм давно сломался. Но мозг не зачерствел... Сергей Горелов – свидетель суровой истории, очевидец яркой расправы над славянскими народами. Он знает всё о свинцовой бойне. Предстояло кошмар пережитого перелить в правдивые слова трактата. Придётся охватить взором ума историческую панораму Руси, сделать вывод: почему аристократическая верхушка не щадила родной народ, столетиями жировала и пировала за счёт его кабального труда, рабского положения. Веками униженный, нищий люд в години испытаний шёл на погибель, защищал чужие имения, дворцы, холёное духовенство, богатое дворянство. Погибало такое же простонародье, какое собралось в ярной зоне отчуждения и смерти.

«Патриотизм, – рассуждал сердобольный историк, – не должен навязываться. Не книжный предмет – духовный. Он впрыскивается в сердце с кровью, с животельной любовью к Родине, к отеческим питательным пластам бытия... Истожились благодные пласты... всё тяжелее ноша, давящая на плечи народа...»

Заобье притягивало раздумчивого человека синеватой удалённостью простора. Природа виделась непокоренной величиной, плывущей параллельно с тяжким бытиём. Она не пересекалась, не подчинялась людским грубым законам... Жалеет иногда бывший особист – почему не выбрал на заре молодости биологический или геологический факультет. Вляпался вот в сомнительную историю. Послать бы сейчас ко всем чертям хитрую вранливую науку с массой загадок и неопределённостей. Не занесла бы судьба в дымный

посёлок на широкой Оби. Вон какие сизо-чёрные вихры над трубами изб и котелен. Бродят неприкаянными тенями голодные, оборванные спецпереселенцы. По-медвежьи выползают из землянок, чихают от лучей, уловленных ноздрями...

Россия-матушка, сколько у тебя спецов появилось – спецпереселенцы... спецконвои... спецконтингент, спецпаёк... И сама ты стала спецРоссией с жутью концлагерей, с разбухшей массой деклассированных элементов... Надо перечитать «Бесов» Достоевского, его «Записки из «Мёртвого дома». Конечно хватало на Руси мертвечины от Рюриковичей до династии Романовых. Но сколько её накопилось при Ильиче и Виссарионовиче. Порочный круг имён и отчеств: разные Ильи, Марки, Иосифы, Яковы, Эдмундовичи, Давидовичи... Боже праведный, разверни Русь на путь истины и добра...

Мысли теснились, искали свободы, воплощения в живые слова. На берегу Оби великой, свободной гудит своя, Ярзоновская история. Пули ставят точки после гнусных параграфов «троек». Обрывают незавершённые судьбы страдалцев. Не война ведь идёт, не супостаты прут на песчаный бастион с трапециевидной формой зоны отчуждения... НКВД свил жёсткое гнездо вопреки всем естественным законам природы... На ступенях всемирной истории насилие стояло незыблемо. Поощрялось царями, королями, императорами. В колоде держиморд террор расцветивался в чёрную и красную масти. Шулерским картам хватает главных цветов. Перетасовку можно делать самую хитрую, воровскую...

Что изменилось в России после отмены крепостного права? Посветился манифест вольности, стал угасать, возвращая чернолюдые в старые границы рабства. Доморощенные бесы с бесовскими силами извне раздули чад переворота, втолкнули в красно-белый ад

братоубийственных войн. Минуло два десятилетия – репрессии и террор не затихли – разгорелись всеохватным пламенем. Московские верхушечные враги нации перевесили броский ярлык на плечи простонародья. Политика наглого вранья далась узурпаторам без сложностей. У них услужливые газеты, радио, партглашатаи. Сколотили жестокий пронырливый наркомат – спрут со щупальцами, вцепившимися во всё народонаселение страны, на всех её удалённостях.

Спаянные блоки букв ВЧК-ОГПУ-НКВД Сергей Горелов ставил на попа: тянуло кровью и гарью, точно они прожигали страницы Российской истории и раздували неостывшие угли гражданской войны. Одно чудовище с тремя разверстыми пастями...

Школьному военруку показалось: за ним следят. Не Кувалда ли мелькнул за кривостенной хибарой, спрятался в глухом переулке?

Уходить от Оби не хотелось. На белом разгонистом просторе хорошо думалось о историческом труде. Он станет летописцем новой Руси, расскажет правду, не перекрашенную домыслами, стекающими с газетных полос.

Боковым зрением всё же выследил Тюремную Харю. Габаритный надзиратель воровской походкой удалялся в сторону Ярзоны.

С дощатого настила вышки Натан видел молодого офицера. Позавидовал его свободе. Разгуливает когда хочет. Подолгу любезничает со снежным плёсом Оби, с далью под горизонт. «Чего пасётся Кувалда среди сугробов, не подходя к яру? Собрался утащить бельё, развешенное на проморозку?» Осенило: шпионит за уволенным особистом. Перхоть надоумил?..

Неделю назад вновь вздрогнул яр, качнулась вышка. Гадал: неужели такими резкими толчками бунтует кровь,

насылает наваждения. Тогда откуда нудный скрип сосновых ног вышки, смешение очертаний заснеженных изб. Часто вместо молитв Натан вытверживал есенинские строки – успокоительные, приводящие душу в равновесие. Сейчас пришли вот эти:

Чую радуницу божью –
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.
Между сосен, между ёлок,
Меж берёз кудрявых бус,
Под венком в кольце иголок
Мне мерещится Исус...

«Примерешься, Господь, вдохни святой дух в ослабленное сердце. Радуницу не чую... но ощущение напрасной жизни мучает, тяготит постоянно, мучительно...»

К Праске теперь не подступись. Стала развязно-дерзкой, не один ушат грязи вылила на вышкаря. Её и Соломону допрашивали комендатурники. Говорят: уехали в сторону Федоркиной заимки. Никодим наказывал: говорите правду, быстрее сволочи отступятся.

По-мальчишески радовался Натан за удачливых беглецов. Ему-то никогда не выкарабкаться из ада. Знать, надёжно упрятала тайга-матушка – до сих пор догонщики на следы не наткнулись. Кружился над районом поисков самолётишко под цвет травы. Разбудил гвалтом медведя. Вылез лохмач из берлоги – сердитый от недосыпу. Грозным взглядом проводил небесное чудовище. Придётся теперь шататься до сугревных дней, искать пропитание.

Найденные на пепелище трупы валялись обгорелыми пнями. Огонь постарался обезличить, довести их до полной неузнаваемости. Органы определили быстро: в куче Евграф

Фесько и конвоиры, приставленные в день беды к двум кандалникам. Недоумевали: как могли ослабленные пыталней враги разоружить чекистов?

«Ну вот, ехидный Горбонос, – размышлял вышкарь, – закончился бесславно твой кривой земной путь. Будет дан небесный маршрут – никто не узнает...»

Не было в душе и сердце Натана ни чувства злорадства, ни капли сострадания к стукачу.

Один чикист сгорел. Другой – из местных остяков-охотников сошёл с ума. С санным обозом рыбы Агафона отправили в Томскую психолечебницу. Бить белку в глаз остяк умел. Делать дырки в черепах двуногих не пушных зверей стало для него тошнотворным занятием. Охотнику внушали: смертники не люди – волки. Хлепци зверьё. За дюжину волков, отправленных на тот свет, на этом свете получишь пачку пороха, кило дробы. Абориген свихнулся на шестом черепе, так и не получив награду – охотничий провиант.

Перед отправкой в Томск, Агафон шатался по посёлку навеселе с испуганными глазами. Приставив к виску указательный палец, скалил прокуренные зубы, нудно мычал: ч и ки - ч и ки ...

В расстрельный взвод пытались вернуть Воробьёва – наотрез отказался.

– Становите под пулю – не пойду!

Поэзия синеокого рязанца накладывалась на глубокую рану души целебным пластырем. Любимые, выученные наизусть стихотворения имели молитвенную основу, служили магическим заклинанием в особо тяжкие периоды жизни. Таких периодов становилось больше с каждым прожитым днём. От ненавистной собачьей службы избавления не предвиделось.

«Свет не клиновидный, не сошёлся на упрямой остячке... не в ту сгоряча втюрился... Не разыгрывай, парень, несчастную любовь... У них-то была счастливая...»

Пытался поддерживать Праску ласковой речью, задабривать подарками, Привёз Никодимчику расписную погремешку. Надлом в отношениях не склеивался: ни доброта, ни подарки не затягивали брешь. Одного боялся: как бы ежастая метла органов не смахнула с чужого двора Прасковью и Соломониду. Зоркое опасение высказал молодой маме.

– Наша-то вина в чём? – вспыхнула засольщица. – Два дурака бед натворили – нам ответ держать?!

– Им грозил расстрел. Что оставалось делать? Замолчала. Насупилась. Дала шлепка сынишке.

– Дрыхни! Таращишь глаза, чучело несчастное... Уходи, Натан. Дитя боится. Запах тюрьмы чует...

От горя опала телесами Соломонида. Ходила, натыкалась на табуретки, скамейку при столе. Поубавила словесную течь, косо поглядывала на гостя Фунтиха. Ее тревожил крутой поворот событий. Пустила на постой подозрительных баб... крикун досаждаёт, тяготит недоброе: органы и до нее доберутся... зачем мне такие опасные постояльцы. У Саиспахи своя избёнка – пусть перекочёвывают всей троицей. Фунтиха суровилась, копила беспокойство. Открыто не высказывалась, но губы шепотили обиды.

Подруги с засольни навевались редко. Не сердилась балагурка и заводила. Каждый катится по своей колее жизни и забот. Весовщица Сонечка, которая когда-то сохла по Тимуру, съязвила наедине:

– Заякорил тебя суразёнок... на вечерки теперь не ходишь...

– Завидки берут. Я в костре любви не прогорела. Вон какой алмазик выплавился... Ещё раз назовёшь его суразёнком – глаза выцарапаю. Убирайся!

Музыка капли с тесовой крыши заглушила на время горечь Сонькиных слов. Праска стояла перед горячкой не потерянной особой – волчицей, готовой на всё. Никому не даст в обиду личное горькое счастье... сама разбудила чувства, сама усыпляет...

Наступательная сила весны обилием света заявила о себе на всех границах Нарымского мира. Прасковья выдворила Соньку, по-мужски сплюнула на искрящийся сугроб. Стояла, вслушиваясь в перепляс беспечной капли.

Услужливый Натан вызвался сбросить с крыши слежалые пласты снега. Фунтиха обрадовалась. Соломонида безучастно зыркнула на мужичка с широкой фанерной лопатой. Праска подарила беглую искристую улыбку. В её свете и при обильном лучеизвержении солнца работалось легко и споро. Снег обрушивался у стены с лёгким побряхтыванием. Рубаха давно промокла. За ушами скатывался по ложбинке пот. Волосы под ондатровой шапкой взмокрели: выбивался парок.

– Не надорвись! – Праска влепила в грудь крепко скатанный снежок.

– Меткая!

– Хочешь – в глаз попаду: сверзишься белкой-летягой...

– А вот тебе гостинец!

С лопаты на молодуху полетел кусок пласта. Увернулась. Снеговойный туманчик накрыл, проструился над головой.

– Расшутковалась бесстыдница, – пробурчала Соломонида, выходя из коровника.

Слышала невестка упрёчные слова – не придала значения... не взвесила их на точных весах души, объята озорством, нахлывом обильного света.

Очищенная крыша задышала весенней свободой. Не менее обрадованная знахарка достала из заначки бутылку самогонки.

– Сотворил помощь... вот так помощь. – Фунтиха крестилась размашисто, а Троеручица под вышитым полотенцем внимательно слушала восхваление старушки.

Подошла порозовевшая Праска:

– Возьми сухую рубаху, иди в баню – переоденься.

Приходилось видеть Натану на сопернике эту синечёрную клетчатую одежинку. Не собирался облачаться в рубаху Тимура.

Легонько толкнув работника в плечо, кивнула на дверь.

– Марш переодеваться!

– Слушаюсь, командёр!

Долго не возвращался Натан из старой баньки. Отуманило голову не пугливыми мыслями. Снял мокрую рубаху, не решаясь переодеваться в чужую. Парок успел отструиться от тела: оно не остывало от внутреннего жара. Волосатая грудь вздымалась вольно, легко. Красные картечины на холмиках прятались в рыжих завитушках, вызывая улыбочку.

– Чего насторожились?

Приплыли строки:

Мне бы лучше вот ту сисястую,

- Она глупей...

Распахнулась чёрная скрипучая дверь. Заглянула Праска.

– С домовым ведёшь переговоры? Ждём-ждём чёртушку – он даже не переоделся.

Апрельский свет сочился не только в банное оконце. Казалось, он проникал сквозь сажные брёвна. Натан развёл беспомощно руки, спешно стал надевать охолодевшую рубаху. Рукава путались, не открывали матерчатые русла.

– Дай помогу.

Шагнув за кривой порожек, Прасковья принялась поправлять низ клетчатой одежды. На секунду ей привиделся неумеха Тимур, вот так же однажды запутавшийся, словно в сетёнке, в непослушных рукавах.

Пахнуло мужицким духом, потом. Широкие ноздри втянули зазывный жар юности. Муж и соперник слились в волнуемое существо, не подвластное пылкому рассудку, пустым условностям. Скрытое под материей лицо Натана подтолкнуло молодуху к отчаянному поступку: воспользовалась подстроенной утайкой глаз и губ, цепко обхватила тёплый стан, смачно чмокнула в пуп, углубив в ямочку кончик виртуозного языка.

Работник замер от безумной неожиданности. Стоял на шатких гнилых половицах, полностью доверяясь бесстыжим рукам взбалмошной ведьмарки.

С хохотком рискуха Праска напяливала мужнину рубаху, словно распашонку на ребёнка. Не было сил противиться колдовским движениям рук, подступающему риску. Когда рубашка облегла плотное тело, когда увидел вблизи хитрые влекущие глаза, его настороженные губы потянулись к давно желанным губам той, о которой постоянно грезил, которую ласкал в сновидениях, не находя ответной ласки.

Расстояние между лицами сокращалось предательски медленно. Пугала неуверенность. Наносило обмётным страхом... Проструилось дыхание соломенной вдовы...

взгляд построжел... Отшагнула к порогу, шаловливо погрозила пальцем:

– Нне ббалуй... ишь лепёшки раскатал... Пошли. Бабы заждались...

Беспокойная Соломонида собиралась идти, выпугнуть из бани подозрительную парочку. Чистила картошку. Свисала тонкая кожа. Слетало густое ворчание.

– Сучка остяцкая... совратила сына, с его врагом шашни крутит...

Не поддерживала закипающий самовар знахарка:

– Не рычи на молодых. Овины, копны да бани завсегда притягательны

– Меня не тянули. Пахала пуще лошади, не до прижимулек было.

В избу гулеваны вошли краснолицые, распалённые затаёнными думами. Свекровь отдала бы полжизни за тайну было – не было...

Глава четвёртая

1

На Оби появились первые забереги. Броские чистины воды зеркально отражали вольные облака, обживающие небесную синь.

Отовсюду, кроме Ярзоны, тянуло полной свободой далее, искристой радостью солнца.

Впитывая природу большой весны, Сергей Горелов недоумевал: откуда наползают в душу тревожные тучи. Они появлялись нежданно-негаданно, занимая немалые площади, соразмерные с нахлынувшим страхом.

Месяц усиленно штудировал пуганую историю российских веков. Трактат о жертвенном порабощенном

народе продвигался быстро, словно бывший особист летел по широкому тракту прошлого на выносливых рысаках.

Ярный берег Оби, растянутый огромным вогнутым магнитом, притягивал мощью песчаного скола. За сколько же веков намыла умная река вздыбленную глыбину, сколько тайн сокрыла природа в золотистом чреве. К неразгаданным тайнам веков прибавилась ещё одна – позорная, страшная утайка НКВД. Роковую яму даже нельзя назвать захоронением. Подойдут выражения: свалка трупов, склад смертей.

Одно тревожит соучастников массовых убийств – нехватка хлорной извести. Оружия, патронов хватит перечислять миллион контры. Но хлорка – дефицит рассыпной – главная головная боль портупейщиков.

Не запускает Горелов в мозговые извилины пережитые кошмары – сами продираются, встают дикими видениями. Как с цепи сорвалась стая.

Приезжают разные комиссии. Некоторых служака для острастки отдают под суд. Но их не уменьшаются.

– Хлорки! Давайте больше хлорки! – вопиют спецы расстрельных команд.

– Недавно большой вес получали. Чего вам ещё?

– Подземелье дышит смрадом трупов...

Тошнотворный запах вроде не выбивается на простор зоны и посёлка. Однако чуткие собаки стали чаще кучковаться и нудно выть на околоченный забор, сторожевые, слегка покосившиеся вышки. Ночью подъярной тропой прибредал медведь-шатун. Долго лизал колючий песок и принюхивался к трещине – прародительнице будущего оврага.

Свобода оживающей природы, несвобода людского потока, втекающего в охранные берега Ярзоны, входили в явное противоречие жития земли. Совсем не державную

власть Горелов в узком кругу единомышленников называл подлой, трусливой. Она не верила в созидательные силы нации. Вести провальную войну с подданными, ослаблять мощь государства могли случайные людишки, в загрёбистые руки которых нечаянно перепала брошенная на перепутье русской истории власть.

Прочтение веков давалось историку легко, словно кто-то подносил на блюде эпохи войн, мятежей, тихие годы мира. Не с высоты университетских лет – с нулевой отметки Колпашинской следственной тюрьмы – чётко виделась горемычная Русь, её народ-страстотерпец. Вся мученическая судьба кормильцев, поильцев поднималась до высот героизма и самопожертвования.

История государства Российского текла не спокойной рекой – её несло и разбивало об острые камни. Порожистое русло – кровавая артерия веков. Берега произвола, насилия вздыбились вот такими ярами.

Сын раскулаченного трудолюбивого алтайца успел прочувствовать, узреть всю пагубу, наносимую залетной красной ордой. Ряженные под освободителей большевики вдолбили несведущему народу удобные идейки о мировом благоденствии. Расколов нацию по оси времени на красных – белых, провокаторы хладнокровно наблюдали за резней родственного народа, околпаченного посулами зарничной жизни.

Трактат пополнится новейшей историей Ярзоны, комендатуры, котлована в песке. Сергей пока не решил – отошлёт ли сочинение Сталину. Испытывал недоверие к усатому дяде с трубкой, к его нерусскому происхождению, к его путаной подозрительной биографии. Не нашенские вожди наследили по истории, ископывтив поля и доли плохо защищенной Родины.

Перед чистым взором историка-аналитика разлеглась раздольная Обь. Вспомнил высказывание учёного

Татищева, который в одном из трудов назвал Обь Великой. С больших букв написал оба слова. С маленьких грешно заносить на бумагу слитые в одно ширь и даль.

Зачем было позорить Могучую реку, высоченный песчаный яр, устраивая здесь концентрационный лагерь? Кровельной жестью гремит словцо КОМЕНДАТУРА. По северному посёлку снуют сытые бездельники в военной форме. У многих висит килой кожаная поблескивающая кобура. Напустили на забитый народ охранное племя окладников, мясоедов и хлебожувев...

От Великой Оби тянуло Великой свободой. От яра – неволей, жестокостью. Удалось Горелову откреститься от цепких органов, но тяжесть ноши креста давила на плечи, угнетала дух.

Появись скорее, первый пароход, просверкай белизной надежды, радостью полного отрешения от жуткой точки на карте страны. Но ведь таких точек, как спелых зёрен в головке мака... Думалось о первом долгожданном шаге на спущенный трап. Думалось о каюте, о торопливом говорке пароходных колёс... Уйдут в горькое прошлое директивы с грифом строго секретно, протоколы допросов. Сама Ярзона провалится в яму отрешённой памяти, замуруется в слежалый береговой песок.

Пароход...

Явись скорее, светлое видение, програми плицами...

«Не буду ждать возвращения пассажирского чуда с низовья... сяду в каюту, прокачусь по течению до последней пристани... потом плицы ещё усерднее загребут Обскую настырную воду. Утроится сила сопротивления. Каждый мучительный оборот колёс будет приближать к родному Томску со сказочными теремами, храмами, булыжным взвозом на Воскресенскую гору... Посещу спокойную красавицу – университетскую рощу... поброжу по

таинственным аллеям. На одной из них птицей счастья прилетел первый восхитительный поцелуй... Где она – предвестница пыла любви? Сперва клубился в душе сонм надежд... сердце прошло испытание ознобом, жаром, лихорадкой... Укатилось всё забавным сказочным колобком...»

Узнав, что Серёженьку – несмышлёныша захомутали в органы внутренних дел, Катерина отдалилась от дел сердечных.

Много передумано о губастенькой озорнице – поклоннице поэзии Сафо. Когда успела Катя накинуть на себя шёлковое покрывало лесбийской любви? Распаляла себя культом нагих девичьих тел, овейных ароматами пылкой эротика. Застенчивый Серёжа алел от обилия зажигательно-притягательных слов, от русалочьих телодвижений медички. Эротика парила в поднебесье, опускалась на облака простыней. Ей нравилось качаться на волнах оберегаемой страсти. Выдуманное не выдавалось за академическую любовь, не втискивалось в позолоченные рамки устоявшихся истин.

Смута отношений настораживала Сергея. Подступали периоды прельщения лесбиянки, не чурающейся мужских грубых ласк. Не раз впадала в кроватное озорство с носастыми парнями. Спокойно откровенничала: «Мне нравятся органы обоняния греческого происхождения... и другие органы... чтобы размер был беспроигрышным...»

Не мог соперничать со шнобелистами алтаец. Нос у него был нормальных параметров, слегка приплюснутый. Глаза с заметной узинкой.

«У тебя нос обыкновенного русского покроя.»

«Катя, он тебе нравится?»

«Красивенький. Аккуратненький. Петушка два уместятся...»

С недоверием относился парень к любвеобильной студентке, успевшей с головой погрузиться в глубокий омут пылкости. Он называл её длинноногой чертихой в короткой юбке. Сейчас отдал бы все за обладание загадочной бестией, для которой секс являлся гремучей заводной игрушкой с неломкой пружинной.

В Колпашине ни с кем не заводил сердечный роман. То, что с ним вытворяла в постели Екатерина Томская, вряд ли повторит любая поселковая особа. Он перекормлен той разваренной сытной кашей из меню бесстыдства и полного раскрепощения. Красивая вампирша сумела выпить даже отвагу для новых знакомств...

Первый пароход... Он вплывёт в истоки сомнений. Доставит в мир, не сдавленный обузой захолустья. Здесь время течёт по клейким путям. Его тормозит Ярзона: её охватывает злоба, что сутки и недели находятся на свободе. Машина ада смазывается вышибленными мозгами контры, промывается кровью невинно убиенных узников.

Никогда время для Горелова не было такой обременительной ношей. Оно тянулось тяготящей субстанцией. Приставало к подошвам утеплённых сапог. Опутывало липкими сетями. Одна отрада – работа над трактатом. Неужели недавние сослуживцы лейтенанта госбезопасности не прозрели, не пропитались жутью кровавой драмы на Обском берегу. Занавес не опустится. Время не скроет следов преступления. История государства Российского в бессчетный раз захлебнётся живой кровью народа-мученика...

На праздник встречи парохода «НАДЕЖДА» высыпала взволнованная поселковая рать. Таращили большие прищуренные глаза вылезшие из хибар и землянок спецпереселенцы. Гуртилась ребятня. Бабоньки в цветастых

платках и полушалках переживали вторую молодость: глазели на вольницу обских вод, на гордый колесник, зычно пробазлавший на подходе к пристани.

Торговцы приготавились сбить команде, пассажирам солёную и сушеную рыбу, орехи, клюкву, колобки желтеющего масла. Веселый остячонок принес на продажу связку беличьих шкурок.

Подкатилась телега с посылками, мешками почты. Сивая грязная лошадёнка пронзительно заржала у реки, будто и она испытала радость торжественного открытия навигации, прибытия бодренного колесника.

Сердце Сергея Горелова давно перешло в ритм учащенного биения. Просилось на волю, готовое броситься под крылья подплывающего лебедя. Пароход и впрямь смотрелся сверкающей гордой птицей. Свежие белила отсверкивали на майском солнце, придавая судну торжественность долгожданного появления.

Поодаль о чём-то перешёптывались два офицера. Сергей знал бывших сослуживцев. Презирал обоих за шкурничество, подхалимаж к начальству, за пустую критику на общих сборищах особистов... Ни за что не подойдёт к ним, не подаст руки на прощание.

Маячил стрелок. Посверкивающий штык винтовки был чуждым и диким среди праздничной толпы поселян. Даже зеваки из спецпереселенцев не портили общую картину всеобщего празднества.

По Оби несло запоздалые льдины. Основные откочевали к Ледовитому океану. Одиночки плелись нехотя, без желания покидая разливистый простор реки, дышащий свободой и светом майского полдня.

Большой чемодан холостяка Горелова имел по углам блестящие металлические насадки, согнутые в форме шишачков. Масса заклёпок придавала им охранный вид.

Бравый капитан «Надежды» медлил, не объявлял посадку. Красовался у рубки в поношенной, но опрятной форме. В солнечном блеске её принимали за новую.

Трап давно щекотал берег. Сергей улавливал скрип мокрого песка под сходнями, когда матросы шустрили по хлопотливым речниковским делам.

Скорее, скорее бы шагнуть на спасительную полосу с поручнями. Отъезжающих в низовье пассажиров немного. Толпится простой люд. Каюты первого класса вряд ли ему нужны.

Преподавателя военного дела окружили гомонливые школьники. Пришли попрощаться, погрустить: жалко расставаться с учителем-любимцем.

Поступая на временную работу, Горелов предупреждал: предмет буду вести до первого парохода. Так и сказал директору школы, который затаенным вздохом выразил откровенное сожаление.

За несколько месяцев занятий преподаватель военного дела научил ребят быстро разбирать и собирать винтовку, метко стрелять из тозовки. Все далеко и прицельно швыряли гранаты. Преподавал не голословные – яркие уроки патриотизма. Наполнил сердца и души юных нарымчан выразительными примерами подвигов, образцами героизма и самопожертвования. Правдивая исповедь доводила учеников до слёз, до лихих возгласов «ура!». Военное дело дышало светлой правдой, жестокой историей войн, сверкало радостью побед, тревожило горечью поражений.

Объявили посадку.

В числе первых Горелов шагнул на трап. Вот он, момент восхождения к полной свободе. Пусть кто-нибудь посчитает его отъезд за побег. Не грешно вырваться из преисподней Ярзоны. Судьба, запятнанная службой в комендатуре, должна самоочиститься, задышать без хрипоты и сдавленности.

Когда приобрёл билет в одноместную каюту, влился в небольшое, но уютное пространство парохода с умывальником, зеркалом, нескрипучим ложем, собственным широким окном с жалюзи – душа забурунила восторгом, сердце выплеснуло лучистый свет. Вот оно, залётное в сны видение. В тихую каюту первого класса влетело взбудораженное солнце на правах постоянного соседа до окончания водного пути.

Расслабленные колёса «Надежды» отдыхали. Паровая машина выпирала всеми стальными мослами. Посверкивали шатуны. Длинноносая маслénка смотрелась в руках смазчика птицей перед скорым отлётом.

Царила привычная толчея в проходах, хлопали двери кают. Переговаривались вахтенные матросы.

Счастливый обладатель одноместной каюты проверил столик: крепок, удобен. Славно потрудится над продолжением трактата. Заранее проникся доверием к прочной лакированной столешнице.

Открылся каютный мирок, озарил призывом к труду. Сулил наслаждение отдыхом. Поплывут ленивые берега. Начнут разворачиваться панорамно виды серых приобских деревенок, где давно свили гнёзда бедность и запустение.

Скрипнули шарниры. Распахнулась дверь. Без стука ввалились угрюмые молодчики в лоснящихся кожанках. От первого сугулого непрошеного гостя растекался густой запах шипра. Горелов вспомнил: он в звании старшего лейтенанта г/б. Фамилия заковыристая Пиоттух. Имя Авель. Влив в голос свинца, отчеканенными слогами особист произнёс:

– Бывший лейтенант госбезопасности Горелов, вы арестованы. Вот ордер на арест.

Стоявший за спиной особист метнул руку к кобуре, ощупал задок нагана.

Вместе со словами изо рта Авеля выдавливался тяжелый перегарный дух: его не мог перешибить пахучий одеколон.

Придерживая дыхание, не веря в жестокость произнесённых слов, Горелов напустил кислую улыбочку.

– Разыгрываете?

– Органы не играют. Органы карают, – заученно выпалил старший лейтенант. – Чемодан в руки и на выход... Комендатура заждалась.

– Ка-кадров не хватает – ехидненько поддержал из-за спины заикастый конвоир.

– Хватит разыгрывать комедию! – вспылал Сергей. – Освобождайте каюту! Хотели бы арестовать – на берегу повязали.

Последнее слово скатилось с языка самотёком.

– На берегу дети.

– Ннарод ппоселковый...

Стрелок топтался в коридоре, постоянно заглядывая в нутро каюты.

Комендант Перхоть приказал Пиоттуху: «Арестуй в каюте... Пусть на «Надежде» лопнет последняя надежда. Собрался гусь на север лететь. Обрежем крылья...»

«Иезуиты! Сущие иезуиты», – вытверживал про себя Горелов, спускаясь по затоптанному трапу на каторжный берег.

Стайкой подбежала ребятня, затараторила. Кто-то крикнул «урра!» Любимый учитель остаётся...»

Стрелок, цыкнув на школьников, отогнал любопытных.

– Ребя! Айда к директору. Скажем: военрука забирают.

Веснушчатый старшеклассник первый догадался о сути происходящего.

Конвой уводил их любимца. Арестованный хотел сказать ребятам:

«Хлопцы! Впитывайте живую историю... Запомните май тридцать восьмого года...» Слова бурлили в горле, не выплёскивались наружу.

После третьего гудка загрела якорная цепь. Вскоре с «Надежды» грянула всполошная музыка. Над живой водой, над берегом, над толпой гремел марш «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Звуковые волны плескались широко, вольно, докатываясь до Ярзоны, залитого заречья, где раскланивались струям покорные тальники.

На пристани надрывно заржала давно не чищенная скребком кобыленка, запряженная в почтовскую телегу. Ржание не совсем утонуло в плавных раскатах марша. Приглушенное, оно походило на чей-то язвительный смех.

Оглушенный дикостью происходящего, арестованный мог поклясться, что слышит долгий залиvistый плач души, ощущает в груди поток слёз. Славянка всё просталась и просталась...

«Надежда» развернулась по курсу, выходила на Обскую стрежь. Плицы дробили воду веков, словно под их крепко привинченные массивные доски попадало и отведённое Горелову время навязанного позора, подсунутого особистами. Оно не раздробится на слитки и брызги. Накатные минуты стали спрессовываться с момента распахивания каютной двери, с прочтения грозного ордера на арест.

«Мстит Перхоть за свободу и смелость суждений. За уход с собачьей службы. Мстит за непослушание, когда предлагал вернуться в комендатуру в дни бумажной запарки. Таких грехов мало для ареста... Может быть, идёт продолжение драмы из-за раскулаченного отца... не сбежал ли он из нарымской ссылки?..»

Болевые мысли толклись в голове-ступе. В висках, затылке нарастал стук: кто-то пестиком трамбовал кошмарные думы.

Первый допрос вёл сам комендант. Чванливый, важный, нервно ходил по кабинету, по-барски сложив на груди пухлые руки.

– Горелов, когда вы вступили в «Российский общевойсковой Союз»?

– Никогда, нигде не состоял ни в каких партиях и союзах.

– Другого ответа я не ожидал. Но есть неопровержимые доказательства.

– Состряпанные? Презирайте доносы. Ложь не украшает офицеров.

Перхоть от такого поучения собирался матюгнуться, но только сжал кулаки.

– По агентурным данным вы были причастны и к «Томскому рабочему комитету».

Резко перейдя на грубый тон, комендант проорал над ухом арестованного:

– Отвечай, контра, ты принимал участие в подготовке забастовки на Томском заводе «Металлист»?

– Наглая ложь...

Еле сдерживался Перхоть, чтобы не запустить в гордеца пресс-папье.

Расшатанные нервы коменданта нередко доводили его до бешенства, до появления в глазах чёрных мух, кругов, похожих на петли. В такие минуты он мог самолично перестрелять всю контру страны Советов, вести недобитков на эшафот, рубить головы супротивников завоёванного режима.

Полученная неделю назад секретная директива о чистке рядов в органах НКВД сперва озадачила, потом

возмутила: «до своих добрались. ... мало нутряному наркомату пахарей, углежогов, свинарей, рыбаков, вальщиков леса – подавай стрелков, надзирателей, офицеров... попробуй отыщи замаскированных лицедеев в театре кровавого абсурда, выяви грешников-скрытников...»

Страшась послушаться команды свыше, пугаясь мелованной запросной бумаги, штабисты приступили к выявлению внутренних шпионов. Первым под молот неотвратимого наказания лёг Кувалда: ретивый добровольный помощник, введённый в штат надзирателей. Не откупился даже золотишком: оно-то и подвело. Выбитые золотые зубы блескуче подтвердили жестокое обращение на допросах с подследственными. Потом из вещдоков исчезли два зуба из драгметалла и кольцо, подаренное истязателю щуплым волхвом. Смерть «Тюремной Хари» он предсказал с точностью выпущенной стрелы.

Труднее давался поиск контры из среды стрелков, офицеров. Хотели пустить в расход вышкаря Натана. Упреждая час смерти, дал согласие снова перейти в чикисты: всё же меткий ворошиловский стрелок. Скрепя сердце, повторив, как Отче наш «Улеглась моя былая рана...», он налёг на водку, чтобы хоть на время забыться от зонного кошмара.

Справиться с проблемой раскрытия замаскированного офицера помог Пиоттух. Он прямо указал на отправленного в отставку Горелова.

– Ненадёжный тип... отец – кулак... на оперативных совещаниях возмущался против строгостей внутренних органов.

– Да, но он ведь теперь не наш.

– Особисты – даже бывшие – все наши, – не унимался Пиоттух. – Подведём базу: боясь разоблачения, подал рапорт... собрался бежать из посёлка... Есть сведения:

пишет воззвание. У него, видите ли, народ-великомученик под гнётом НКВД.

– Для меня это новость, – обрадовался известию комендант.

Построжел лицом, спешно отступил от особиста на шаг.

– Авель Борисович, а ты оказывается Иуда... ну, ну, не сердись. В хорошем смысле слова Иуда.

Раскручивать дело Горелова поручили «Иуде в хорошем смысле слова».

Пока вёлся первый пробный допрос в кабинете Перхоти, особисты легко «допросили» чемодан, закрытый на хитрые замки. Конвоир-заика был отличным отмычником. За тюремную отсидку на Кемеровской зоне он успел усовершенствовать мастерство домушника. Чемодан открылся без музыки. Шмон производился без опаски разоблачения.

Пробежав глазами по страницам ТРАКТАТА О ЖЕРТВЕННОМ НАРОДЕ, Пиоттух довольно потёр ошпаренные стыдом руки. Сбылись его предположения о вольнодумце... можно легко состряпать дело о принадлежности к контрреволюционной, повстанческо-вредительской организации. В трактате явная крамола на власть, на чекистскую внутренку. Опасный тип с дипломом Томского университета. Умник нашёлся! Студенческая среда нищая... в головах бунты вызревают, разные трактаты, воззвания... Наш неотлётный гусь позволяет себе нелестные высказывания против могущественного Наркомата.

Преданный победившей партии Пиоттух распался воображение. В мозгах посверкивали молнии мести арестованному офицеру, имеющему веские суждения, пылкий ум, честный взгляд на гнусную действительность.

Авель начинал верить в обоснованность ареста, подводить дело под платформу реальной правды.

Без труда выбьют на допросах дурь молчания, запирательства. «Иуда в хорошем смысле слова» успел поднатореть на выпечке нужных протоколов. Великий террор раскатился пышущим паровозом, Тормоза давно вышли из строя. Кого из органов будет заботить судьбишка дипломированного историка. Мудрый Пиоттух служит органам без всяких дипломов. Мобилизованный заполошным временем, умеющий белых перекрашивать в красных их же кровью. Никому не удержать террор – ретивого рысака. Лезет под его огненные копыта всякая сволочь... Удалось Авелю умыкнуть из вешдока Кувалды два золотых зуба и кольцо... награда за бессонные ночи на допросах, испепелённые нервы, постоянную прополку тюремной вшивоты. Змей Горыныч, что ли, надувает на нары земное отребье? Слой за слоем ложится оно под песок и хлорку. Смотришь – нарники опять теснятся на продавленных жердяных настилах. Когда закончится затяжная игра в вечные жмурки? Когда всем врагам будет вечный упокой?..

2

Иногда у арестованного алтайца Горелова просверкивала мысль: разыгранная комедия не обернётся драмой. Разберутся. Выпустят. С низовья вернётся «Надежда». Он сядет в каюту, будет вслушиваться в марш «Прощание славянки».

Короткими были мысли-лучики. Следом напознали грузные тучи сомнений: когти НКВД не выпускают жертвы. Хватка хищная, мёртвая.

Беспокоил трактат о народе-страстотерпце. Там много исповедальной, светоносной правды, нелицеприятных

суждений о пагубной власти образца новейшей истории. Чистые истины сочтут за крамолу. Кто-нибудь напишет донос о причастности студента Горелова к какому-нибудь Союзу освободителей и – прощай воля. Всю следственную кухню, всю грязную стиральную арестованный знал досконально. Испробовал на зуб. Изучил с протокольной точностью.

Каким неопровержимым доказательством располагает Перхоть? Блефует. Шьёт прелыми нитками дело о принадлежности к «Томскому рабочему комитету», «Российскому общевоинскому Союзу». Да, заступался на сходках за униженный рабочий класс, за обездоленное крестьянство. Выказывался против насильственной политики раскулачивания, расказачивания. Пример вечного труженика отца давал полное право говорить о перегибах в крестьянском вопросе. Не вымышленная правда о насилии: крупная гиря на весах истории. Её положили на чашу долготерпения. Ждут – каким продуктом обернётся неволя. Во все века угнетение никогда не приносило пользу государству, чёрным людям. Несправедливость – прямая дорога к бунтам, неповиновению, террору... Разве изменники Родины имеют право вершить судилище над поверженными рабами?

Новое крепостничество вторглось в пределы Руси. Наглая циничная верхушка выплыла из шулерской революции. Двадцать лет бросает на лобное место истории голодную, опутанную декретами нацию.

Если доведётся вновь засесть за продолжение трактата, Сергей дополнит его Антоновским мятежом, полнее, зримее пропишет причины Сургутского восстания. Север Западной Сибири предпринял попытку сбросить ярмо насилия и засилия пришлых революционеров, посчитавших Россию базарной площадью, где можно вздёргивать на дыбу за божественную правду. Почему государство в

недавних веках кипело бунтами, мятежами, восстаниями? От хорошей жизни, праведной власти не будут призывать Русь к топору.

Так называемые пламенные революционеры замаскировались под славянские фамилии. Юлят. Хитрят. Горлопанят на трибунах. Рассыпают враньё, посулы о скором благоденствии. Перед историком Гореловым росла глыба мужицкой правды, раздробленной молотами гражданских войн, мятежей. Бунтари видели все перегибы в извечном крестьянском вопросе. Земля бросалась кормильцам, будто кость к конуре. В последний момент её вырывали из пасти, насмехались над одуроченной чернью.

Земельный надел кормил большую семью. На пашне пот отца, старших сыновей. Где они, личные десятины? Где алтайский луг с медовыми травами?..

Ничего не будет писать угрюмому вождю. Даже мысленно не желает беседовать с ним, доказывать неправоту ареста. Так безмозгло управлять страной, изничтожать соплеменников, на коих держится мощь державы, может только ирод, умеющий возводить существование в степень страха.

Успев пересмотреть взгляд на воцарившегося грузина, претендующего на вождя нации, Горелов всё больше склонялся к его скудоумию. Джугашвили мог быть вождём какого-нибудь африканского племени, но не стоять во главе государства Российского: оно призывало ума масштабного, идей, сверкающих воплощением добра и справедливости. Додуматься до разгона, до уничтожения зажиточных крестьян мог партийный недоумок со всем его выморочным центральным комитетом.

Виделись глобальные беды в будущем...

Старший лейтенант госбезопасности Пиоттух смотрел на страдальческий вид арестованного... Прочсть бы его мысли по строкам- морщинам на лбу.

За долгую неделю допросов, измученный на многочасовой выстойке Горелов изменился до неузнаваемости. Складками висела на щеках пожелтевшая кожа. Глаза упрятались вглубь, по-совиному поглядывая из глазниц на обстановку кабинета следователя. С первого дня задержания объявил голодовку. Потом ему насильственно через ноздри стали впрыскивать из большого шприца питательный бульон.

Изматывали долгие ночные допросы. Лишение сна – испытанное, изощрённое изуверство особистов. Оно применялось ко многим подследственным, особенно из тонкой прослойки интеллигенции. Одни чекисты уходили спать. Другие заступали на позорную вахту.

Протокол допроса лежал на столе вызывающе спокойный, безучастный к происходящему.

Усердному особисту Пиоттуху тоже выпадали ночные допросные бдения. Вскипал от злобы постоянного запираательства арестованного в каюте «Надежды».

Немели полусогнутые ноги. Звенело в ушах. Слипались глаза. Чугунело в висках и затылке. Давила дрёма. Когда в изнеможении падал на заплёванный пол – взрывалась трещотка. Летом она отпугивала всякую вороватую птицу в огороде Пиоттуха. Теперь рьяно распугивала зачатки наплывающего сна. Подследственный с невероятным трудом расщелял глаза, приподнимал огрузленную голову. В мутной пелене кабинета или камеры допросов различал гневную рожу «Иуды в хорошем смысле слова».

Часто всполошные трели ручной трещотки действовали усыпляюще, клонили голову на подставленные

ладони. Ведро ледяной воды водопадно обрушивалось на голову. Стояние продолжалось.

Лист-допросник оставался без подписи. На бумаге заведомое враньё. Разве подпишет оговор? Подставные фигуранты по «Томскому рабочему комитету» подтверждали участие Сергея Горелова в разработке планов по свержению большевиков. Перечислялись места явок, пароли, конспиративные квартиры.

Особисту Пиоттуху не терпелось любимыми способами расколоть недавнего заносчивого сослуживца. Дело чести опытного следователя, отвечающего за воспитательную работу в комендатуре. Незавидная участь контры с дипломом будет решена без подписи. Черновик трактата о заступничестве за русский народ-сброд дал органам полный котёл сытной каши. Пища сама просится на стол следователя. Неужели историк-несмышлёныш рассчитывал опубликовать гнусную антиправительственную ересь? Она потянет на убойную пулю.

Светло мечталось Авелю Борисовичу: за разоблачение скрытника из офицерского состава ему светит повышение по службе, капитанское звание. Выбитая подпись только усилит позиции следователя. Подсовывать протокол с поддельным росчерком пера – слабость чекиста... Будет настоящая, живая...

Обжигал допрашиваемого пламенем взгляда:

– Сука! Всё равно согну твою волю. Сломаю через колено, как сухую хворостину. Плохо знаешь Авеля Пиоттуха – славного потомка Одесских портных. Ведём родословную с шестого колена... не то что вы – глупые Иваны, не помнящие степени родства после бабушек и дедушек.

Есть время у следователя-опытника. Может порассуждать о нынешнем превосходстве пастухов над стадом опаршивленных овец.

– Послушай, твердолобый офицерик: не зря великие мудрецы Сиона вписали золотыми буквами веков чёткие наставления. Они действуют на правах непреложных законов. Наш славный народ прошёл через унижения, гонения, исходы, чтобы засверкать после революции, подчинить себе варварские племена, разбросанные по степям, горам, пустыням, тайге...

Соберём воедино разрозненные стада... пустим в расход непослушные отары... Пора, Прогорелов, пора обмакнуть перо в чернильницу. Засвидетельствуй тушью о своей принадлежности к мятежникам...

Смысл плохо доходит до сознания узника. Слова вязкие. Ледяная вода немного взбодрила. Измотанный без сна организм отозвался на душ добавочной энергетикой. К издевательскому искажению фамилии Сергей привык.

В комендатуре он сразу разоблачил подхалима, двурушника Пиоттуха. Всяко подъезжал карьерист к дипломированному историку. Набивался в друзья. Приглашал домой посмотреть диковинную выставку. Показывал фотографии поселковых красоток, «годных к употреблению за умеренную плату».

Не заплывал в сети Авеля мудрый пескарь. Какие неведомые силы отгаливали Сергея от неопрятной личности. Высочка без подмылки втирался к немногословному алтайцу. Сергей сразу уловил в Авеле Борисовиче немалые задатки вампиризма.

Маска снята. В камере допросов, именуемой пыталней, вампир изо дня в день, из ночи в ночь выцеживал энергию сопротивления. Влитый через ноздри питательный бульон вызывал рвоту, расстройство желудка.

Сила воли слабела, но не настолько, чтобы отказываться от голодовки без принудительного вливания бурды. Лучше вытерпеть физическое насилие, чем

унизительное впрыскивание раствора. Под носом лопались тёмные пузыри. По губам, подбородку текла мутная жижица.

–... Пора, Обгорелов, пора...

Не думал, не гадал службист Пиоттух узреть такое сопротивление. Упрямством его не назовёшь. Сбивали спесь и не с таких удальцов. Но с применением изошрённых пыток. Столярная киянка, пресс-папье в валенке выбивали подписи без стояний, запрета на сон. Чекистская этика не давала право на разгул эмоций, на избиение офицера из своего атаманского корпуса.

Простреливало в ушах. Набатно гудела голова. Или долетало эхо выстрелов из роковых штолен?

«Вот она, свеженькая история на крови».

Изучая загадочное пришествие большевиков, студент Горелов с трудом переваривал аббревиатуру РСДРП: деревенские коровы умели выбрасывать из-под хвостов подобные состряпанные звуки. Так и слышался шлепоток в дорожной пыли. Принуждали изучать происхождение РСДРП, впитывать благозвучие букв-лепёх, постигать мудрость туманных деятелей...

–... Пора, Подгорелов, пора... Подпись, и тебе обеспечен сладкий сон. Сам подушечку приготавливаю...

В больной голове проносились видения из времён университетского жития, алтайской деревенской вольницы. Развернулось подсолнуховое поле в золотой поре... мальчик бежит по меже, ощущая жар от склонённых голов, плотно набитых спелой зернью... Сергунька готов взлететь к проплывающему отбелённому облаку...

–... Пора, Угорелов, пора... – как попка повторял следователь придуманную издёвку.

«Только бы не грохнутья на пол, не дать возрадоваться вампиру... голова стала трещоткой, гремит на всю кубатуру кабинета...»

В глазах полыхал пожар. Где-то близко грань предобморочного состояния... Крепился из остатних телесно-душевных сил. Грубое вторжение в природу сна, разрушение психики, вампирические сеансы подтачивали волю, втягивали в расставленную ловушку, вынуждая подписать проклятый протокол.

«Иуда в хорошем смысле слова» зажег по углам стола четыре свечи. Высветил спасительный лист. «Может, расставил похоронные знаки? Хочет воспользоваться силой священного огня?»

Колеблются четыре огонька. Их клонит к двери, где сгуртился прохладный воздух. Не оторвутся от свеч – не улетят на свободу. Им суждено прогореть, стать огнём невидимым, переместиться в душу.

Всматриваясь в четыре мини-солнца, мученик неожиданно почувствовал приток небесной энергии. Великое светило посылало восточку: огоньки выполняли его знаковое поручение.

После обретения световой поддержки, можно переносить стояние без сна. Предобморочное состояние откатилось лёгким колесом.

Догадливый Пиоттух потушил свечи. Он рассчитывал на другой эффект – разрушающий конструкцию сопротивления. Экспериментатора осенила мысль. Приказал охраннику принести четыре крупных угля.

Кусочки тьмы заменили свет. Свечи убраны. Возле углов протокола угнездилась тьма – верное оружие дьявола. Авель Борисович поругал себя за ошибку: допросник, осиянный свечным светом, получил отталкивающий эффект.

Такую новинку на допросах Пиоттух применял впервые. Если окажет положительное действие – распространит опыт на все камеры допроса. Свой род он

изучил до шестого колена, считая последующие отдаления во времени пустой затеей.

Узник не обращал внимания на материализованную тьму. Угли лежали в потустороннем мире от его светлеющего сознания. Смотрел в потолок, желая угледеть отлетевший свет.

Напрасно внушал шестиколенный Авель, шевеля синюшными губами: «Гляди, сука, на протокол... не подпишешь – обретёшь тьму в яру... угли – предвестники преисподней».

Тёмная полоса раздражения упертого чекиста сменялась светлой межой. Он ценил мужество, нестигаемость алтайца. Сможет ли он – Авель с безупречной родословной – вот так же стоически переносить муки голода и бессонья. Горелов обладал золотой волей... я её подрастерял за годы опасного служения...

Перед жертвой ставилось на стол пиво, водка, нарезанная ломтиками колбаса. Запах осетрового балыка ощутимее всего бил по обонянию Сергея. Слюна смачивала язык, гортань, освежала нёбо. Не прекращал голодовку. Ни разу не испробовал вкус тюремной баланды. По-прежнему рябоватый фельдшер вдавливал еду в ноздри.

В одну из хмурых ночей случился обморок. В мозгу просверкала шаровая молния. Колени подкосились. Ощутил в позвоночнике резкую боль... Очнулся на нарах. Обречённый на смерть криворотый мужичок лет сорока подолом бумазейной рубахи вытирал выступающий на лице пот. Узник приоткрыл глаза, настороженно посмотрел на незнакомца.

– Лежи, лежи, голубок... вокруг свои... почти сутки спишь... не всякому такая курортная лафа выпадает.

– Пи-и-ить...

Бортик мятой железной кружки застучал по зубам...

Вернулась с низовья «Надежда». Снова при отплытии проструился славный марш «Прощание славянки».

«Иуда в хорошем смысле слова» вывел узника на тюремный двор: отсюда слышнее волнующие звуки марша. Пусть услышит упрямец уплывающую музыку, вберёт в себя прах рухнувшей надежды, поверженной свободы.

Следователь, отвечающий за воспитательную работу в коллективе чекистов, играл с осуждённым в зонные кошки-мышки.

Тюремный мастак подделал подпись, поставил на протоколе допроса. Тайну подделки мог раскрыть только опытный почерковед. Не идти же к строгому коменданту с позорным проколом: за две недели не выбил признания вины, не заполучил подпись. А так довольны все – Перхоть и получивший сон борец за народ-сброд. «Поставил подпись перед потерей сознания». Докажи попробуй обратное... «Славянин Горелов, ты не из нашего рода-племени... Надоело валить в яр вонючую массу... Отары не убывают...»

«История бурно протекает по мне, – рассуждал Сергей Горелов, обретая помаленьку реальность. – Ничто так не отравляет человеческую сущность, как заведомая ложь».

Славянка прощалась несколько минут, отведённых для марша. Подследственный видел язвительную улыбку Авеля, который научился считывать по лицам камерников болевую информацию. Наслаждался унижением, чекистской всесильностью. Терзал народного заступника запретом на воду и сон. Сейчас терзает отвальным маршем, наводящим смертную тоску, вселенское уныние... В тенётах НКВД бьются в корчах бросовые людишки – расходный материал. Умный Пиоттух понимал и принимал всё вероломство приспешников главного кремлёвца. Редко гаснет его трубка... не гаснет грузинский пыл... Там тоже охраняемая

зона... каждый сантиметр просматривается отборными чекистами... Замыслил вождь раскулачивание – многотысячные толпы спецпереселенцев кормят гнус в нарымской тайге, на васюганских болотах. Задумал разметать остатки белогвардейщины, крестьянского сопротивления, объявить террор красным тузом в политической колоде – вот он, режим комендатур, концлагерей...

«На руку нашему племени разбойная политика вождя, – ликует Авель Борисович, – идёт косовица сорной травы... Казаки-разбойники отхватили для Руси лишку земли! – до Тихого океана усердники государевы доскакали. Всякие Ермаки покоряли таёжные дебри, степи. Не захотелось отсиживаться на тихом берегу Иртыша. Не тот масштаб покорения. К чему пришли? К какому берегу прибились?..»

Стушался лагерный мрак.

Спёртый воздух камеры вызывал тошноту. В ушах звенела маршевая музыка. Славянка простилась с унылыми берегами, с Ярзоной, с историком, пробивающим в трактате слежалые пласты веков. Ползут равнодушные времена, растворяются в судьбах. История государства Российского прирастает тёмными подробностями. Что всплывёт? Что замуруется в провальной памяти прошлого?

Возникшее отупение, втиснутое безразличие погрузили Горелова на дно глубокого колодца. Он обрадовался возможности сгинуть там – в недрах измученной Родины. Унизит короткая свинцовая весть. Возмутит захлорированная братская яма. И это унижение, и это возмущение двумя лучами пробьются к высотам звёзд. И всё...

Полубредовое состояние сменялось прояснением сознания. Бормотал предложения для трактата, путаясь, сбиваясь с оси замысла.

3

Было у Авеля Борисовича шутейное увлечение, называл его с т о я ч е с к и м: вырезал фаллосы. Больше нравилось резчику расхожее словцо на мягкую букву. На втором месте по значимости звучания стоял обыкновенный смертный ч л е н. Но в целях народной конспирации увлечённый мастер всегда козырял ф а л л о с о м. Что-то упругое и в то же время скользкое слышалось в слиянии магических букв.

Корни-закорюки для поделья отбирал везде – в тайге и в сограх. Ах, какие залупы вырезал умелец отточенными стамесками, шлифовал мелкозернистыми наждачными шкурками. Изгибы, ложбинки пропиливал личнёвыми напильниками.

Выстраивал фаллосы матрёшками – по росточку. Были в высоту ружейного патрона. Доходили до солидности ученического пенала. В коллекции находился предмет особой гордости: он называл его членом Квазимодо. Сосновый сучок попался оригинальный, с утолщением. Крупнячок имел размер завидный. Резчик по дереву считал: у звонаря-горбуна собора Парижской Богоматери такой и должен обитать. Ворчливая супруга Матильда, проходя мимо деревянных удальцов, отплёвывалась и шипела:

– Позорник! Свой бы имел такой устойчивости.

Грозилась собрать блестящую срамоту до кучи и сжечь.

– Только попробуй! Вышка обеспечена.

В тяжёлый непохмельный понедельник комендант, проходя в кабинет, приказал замершему в стойке дежурному:

– Срочно петуха ко мне!.. Пиоттуха.

Умашиваясь в кожаном кресле, проворчал: наградили же род ползучий имечком...

Козырнув, отчеканив «здравия желаю!», с бравым перестуком каблуков подплыл старший лейтенант госбезопасности. Военная выправка выдавала служаку не первого лямочного года: лямку-портупею тянул с гордостью, являясь примерным офицером органов.

– Фамилию менять не думаешь? Например – на Петухова...

– Мы – Пиоттухи – гордимся коренной фамилией.

– Гордись-гордись. Х... по-прежнему вырезаешь?

– Так точно... совершенствуюсь. Нервы успокаивает заделье.

– А вот мои нервишки расшатываются, как старый штакетник. Убийство кадровых сотрудников. Побег особо опасных преступников. Посёлок завален погаными частушками. А мои сыщики-членорезы задельем стоячим увлекаются. Послушай:

Будешь слева, будешь справа –

В органах – одна расправа.

Будешь сзади, впереди –

Всё равно в тюрьму иди.

Дел-то внутренних не счесть.

– Где у вас, служаки, честь?

Поглядишь – эНКаВэДэшник –

То убийца, то приспешник.

– Позор! – взревел Петр Петрович.

Старший лейтенант раскрыл рот: тугая словесная затычка коменданта не позволила вставить оправдательный вердикт. Тирада с веской долей матерщины длилась с минуту.

Всполошно зазвонил телефон.

Переговорив, Перхоть нежно опустит трубку на рычаг.

– Утешили. Следственная комиссия откладывает приезд... До её появления отыщите сочинителя. На что замахивается подлец:

Зачем кулачить мужика -
Пашет, сеет хлебушко.
Раскулачить бы ЦК –
Посветлеет небушко.

–...Политическая уголовщина!.. Есть намётки, соображения? Да ты садись – чего торчишь фаллосом?!.. В газете был?

– Сотрудники «Северной окраины» – люди проверенные, надёжные. Частушки не типографского набора. Конспиратор хитрый – крамолу буквами заглавными переписал.

– Ищите! Ты – главный ответчик за воспитательную работу. За сыскную тоже... Это тебе не члены вырезать...

С тяжелой ношей выходил Авель Борисович из кабинета.

«Мудак перхотный! То Иудой обзовёт, то дельце подсунет следопытное... Приказал историка с дипломом побратски допросить... Не получается братца заиметь. Не сознаётся герой славянского происхождения... Ничего, не таким рога обламывал, вышибал из них дух Минина и Пожарского... Стоп! Не из братца ли прут частушки? Трактат сочиняет. Башковитый. «Не кулачьте мужика –

раскулачьте, мол, ЦК.» За отца мстит рифмами ядовитыми...
Версия нуждается в тщательной проверке...»

В камеру посадили толстяка с тупым взглядом перекормленного хряка. Обожрался недоваренной горошницей: фабрика газа выпускала ядовитых шептунов. Возмутителя камерного воздуха дважды звезданули по рыхлой шее. Лучше бы не трогали, не встряхивали гороховое месиво: воздушные атаки усилились.

Не все сокамерники догадывались о веской степени обреченности.

Каждый вынашивал мечту о спасении, о воле. Древнейший инстинкт самосохранения оставлял щелочку, через которую проглядывалась даль благополучного исхода. Из песчано-глинисто-хлорной преисподней наносило смрадом смерти. Верилось: тлетворный поток не коснётся, не пропитает плоть. Подспорьем в вере была чистая правда полной невинности

В минуты просветления ума Горелов рассуждал: «Зачем оставил логово НКВД раньше срока? Дотерпеть бы до навигации, смотаться из посёлка быстро, не дав очухаться сумасбродным особистам... Сталин видит врагов в своем народе. Явного врага Гитлера проглядит. Германия не только хвост подняла – жерла зениток и пушек... Быть страшной войне. В Ярзоне роты, полки выбивают... Неужели кремлёвский грузин совсем обкурился запашистым табачком?... Джугашвили – не отец народа – грубый отчим. Не было на Руси доброго тяти – истинного радетеля за рабов... Выжимали из черни пот и кровь: кому влага, кому блага... Явилась позорная власть, взяла для цвета знамён яркий колер крови... Прости, мой незавершённый трактат о народе-гибельнике. Твою доверчивость принимают за глупость. Пичкают тюрей искусственного патриотизма. Болтают о врождённой

жертвенности. Растаптывают свободу грязными сапогами верховных правителей... Не на чем записать мысли, освещенные сердцем...»

Снова провал памяти. Пронесются разрозненные слова, ссыпаются в яму, заваленную трупами. Голова заполнена уродливыми образами горячего бреда... наганы... лопаты... свечи... шприц в ноздре... пароход... судно разваливает надвое песчаный яр... скоро носовая часть упрётся в нары... Капитан машет фуражкой, зовёт в путь,..

Вернулось тусклое соображение. Увидел оконце в решётке железных лучей. Узнал знакомый закуток, где отбывали время неволи счетовод Покровский, старовер Влас. Под бок попало что-то холодное, твёрдое; пригляделся: образок святого Георгия Победоносца послал тихий привет отсветом бронзы. Горелов обрадовался иконке. Поцеловал чистый лик, ощупал копьё, поверженного змея-дракона. Старинная финифть кое-где облупилась... Отчётливо вспомнил, как защитил Георгия от посягательства Кувалды... Святой заступник не заступился в роковой час, не отвёл беду... Не было в камере нарников Никодима и Тимура. Краем уха историк слышал о происшествии в Заполье. Летают ли на свободе орлы, или чекисты расправились с беглецами по-свойски?

От святого Георгия исходил тёплый свет. Никогда не молился атеист Горелов, а сейчас рука машинально наложила спасительный крест. Представилось новомольцу: он с давних пор замурован в бревенчатые стены. Ему примелькались решётки-лучи, нары, поскрипывающие под тяжестью тел, параша, прикрытая листом фанеры. Не дурной сон – храпящий толстяк с обстрелом гороховой воонью. Прихрамывающий на правую ногу надзиратель. Матерки, нацарапанные гвоздём на стесах брёвен... Боже праведный, передо мной жуткая явь, втиснутая во время. Где он, пароход, разбивающий литым носом твердь яра?

«Надежда» обманула, предала, обсмеяла. Полоснула звуковым издевательством марша...

Подозрительно: не таскают на допросы, не терзают изматывающим лишением сна. Вот и настороженная тишина уже ищет местечко в распахнутой душе. Ощущение голода прошло, но в желудке появились рези: по кишкам чиркают чем-то острым, нутро прокалывают шилья. До сих пор горечь в горле от принудительного вливания бульона. Болят ноздри, исцарапанные шприцем. В ушах кряхтение зонного фельдшера, с силой жмущего на упрямый шток. Какое пойло вливали через ноздри? Может, опробовали на мне новый метод «лечения от голодовки»?

В следственной тюрьме внутренними разборками занимались мало. О воровских законах вспоминали редко. Блатных сумели приструнить узники с добрым опытом жизни. Особая зона не походила на обыкновенную тюрьму, где карты и поножовщина играли заглавные роли в среде отпетого контингента. Самоубийства происходили часто. Заключение о смерти были лаконичные: умер от сердечного приступа... от истощения... скончался от воспаления легких... Изощренное воображение чекистов придумывало причины по списанию самоубийц по иным статьям расхода. Главный расход принимала песчано-глинистая яма так же охотно, как и побочных лишенцев жизни.

Верный сын раскулаченного отца ненавидел красную вакханалию. Отовсюду выпирала гнусная замаскированная ложь. Она просилась в трактат о невинных жертвах Руси. Вся гнусь насилия, расстрельщины просачивалась сквозь воспалённый мозг. Думалось о нерусском правителе, его услужливом центральном комитете. У всех узкая специализация: в ЦК цыкают, в ЧК чикают. Возвели в ранг беззакония тлетворное политиканство. Какая опухоль разъела серое вещество твердолобых, превратила в сажу?

Леденела душа от мысли, что свобода не помашет вольными крыльями. Не подышит чистым воздухом на Обском берегу... Не впервой задавался алтаец Горелов коренным вопросом отечественной истории: откуда берутся Пиоттухи, почему они шустро выпрыгивают, как черти из табакерок, в смутные времена народных заварух, часто заваренных самими же хитрыми дельцами. Неужели Сионские мудрецы на века просветили бывших скитальцев по пустыне?! Даже мудрец Достоевский в «Бесах» не ответил на трудный вопрос, заданный историей...

Клацнул капкан судьбы, перешиб жизнь тугими пружинами.

Со стен куцыми бородками свешивался мох. Сергей незаметно выдёргивал его, прощупывал щепочкой пустоту. Глоток, хотя бы пол-глотка чистого воздуха. Пузатый горошник, посаженный в камеру, загазовал её плотно.

При строительстве барака-тюрьмы плотники сосновые брёвна подгоняли умело. Мох успел слежаться до крепости спрессованного жмыха. Щепка махрилась, не пробивала брешь. Не ощущалось притока уличной свежести. Ни одного пузырька воздуха не пробивалось сквозь толщу стены. Запах сосновых брёвен немного отшибал едкий газ камеры. Поодаль сушились портянки, стельки. Вместительная параша в углу прибавляла шаечные ароматы. Подследственный офицер не успел притерпеться в затхлой атмосфере камеры. Отовсюду текли вонючие струи, впадали в распухшие ноздри.

Среди ночи просыпался от храпа-грома. Сон разламывался от безудержного исторжения носовых, горловых звуков. Казалось: пузан с горошницей во чреве покрывал матом всю кубатуру камеры, её невольников. Храпуна грубо толкали, награждали пинками, набрасывали фуфайку на башку: матерчатый глушитель не помогал. Пинки по заднице на минуту-другую обрывали арию из

тюремной многоактной оперы. И снова храп, сравнимый с матом.

Подсадному толстяку делали тёмную. Прикладывали ко рту войлочную стельку. Пробовали напугать волчьим воем. После звериного взвоя нарный артист пронзительно зафальцетил. Фистула выкатывалась из необозримых недр матёрого чрева, летела в потолок: оттуда от жуков-древоточцев осыпалась древесная мука.

Утром камерники восстали.

Надзиратели отнеслись к бунту спокойно. Больше одной ночи уникама никто не выдерживал. Кочующего храп уна переводили из камеры в камеру. Пожалуй, это была единственная уступка чекистов.

4

Рукотворный переворот в семнадцатом году переломил ситуацию в пользу бесов. Достоевский задолго до крушения предвидел грозную ситуацию, надлом хребта страны с огромным разбросом территорий.

Наткнувшись в трудах Достоевского на фразу «жиды откуда-то понаехали», Авель Борисович отшвырнул к печке тяжелый том. Писатель осветил тьму истории ярким предвидящим фонарём. В его свете закопошилось племя, гонимое временем, другими странами, народами.

Богоискательство, зарёбистая суть обманных продуманных дел привели хитрый народец к вершине власти в одной неустойчивой стране: её лихой казачий размах расширил до границ Тихого океана.

Старший лейтенант госбезопасности Пиоттух гордился важным постом, неограниченной властью. Приказы дышали безграничной ненавистью к вырождакам революции. Забойная дрянь копошилась в холодных бараках. Списанная в красный расход ещё при жизни, она

не представит интерес для истории после свалки в приречный яр.

Фитиль истории горел дымным нагарным огнём. Весомая часть неугихомирного сброда брошена на нары, вплотную приближена к исходу.

«Тройки» кресалами подписей высекали в ы с ш у ю м е р у. Между крошечными буквочками «в» и «м» провисла разделительная черточка. Не сулила надежду на жизнь: в/м в одной страшной сцепке представляли неизбежный росчерк свинца по мгновенному пути к виску. Последняя точка в судьбе... последний кивок жизни...

Давно сброшена маска притворной доброты. Во взгляде шестиколенного Авеля полыхала чекистская ненависть к обречённым. Чего жалеть согнанную к яру нечисть...

Адольф Гитлер шерстил в Германии несчастных евреев. Иосиф Сталин услужливо вложил в их руки карательный меч. Именем НКВД вёлся каскадный разбой против народа, охваченного параличом нарастающего страха.

Родова Авеля Борисовича была разветвлённой, разношёрстной. Встречались старьевщики, портные, банковские клерки, башмачники, ростовщики, воры-отсидники трёх громких тюрем. После злосчастного переворота для Пиоттухов открылась неограниченная возможность проникновения в охранку, в карательные органы, суды, адвокатские конторы. В тайных списках ВЧК, ОГПУ, НКВД под грифом «секретные сотрудники» числилось с дюжину молодчиков, поставляющих важные сведения из министерств, банков, крупных государственных учреждений. Сексоты разными путями добывали ценные сведения о благонадёжности граждан, о финансовом, имущественном положении новоиспечённых толстосумов. Всё интересовало тайных сотрудников – от

правительственной сферы деятельности до постельных вожделенных делишек.

Никому не доверял Апель Борисович – ни «главкому» Ярзоны, ни телесатой нервной жене, охочей до нарядов и золотых украшений. Даже в её завистливом взгляде сверкали золотые отблески колец и цепочек.

Дальновидный Пиоттух знал: всё равно когда-нибудь подсядет коменданта, займёт насиженный трон. Мысленно не раз вписывался в массивное кресло, надёжно и классно сработанное искусным нарымским краснодеревщиком. Манило всё: удобные подлокотники, нескрипучие сочленения, вишнёвая блестящая политура.

Запаса терпения, наглости, природной изворотливости хватало с лихвой. Шестиколенный Апель сконцентрировал в себе весь разрозненный талант навечно почивших и ныне здравствующих Пиоттухов.

Безграничной ненавистью воспылал Апель Борисович к русскому писателю Алексею Константиновичу Толстому, прочитав обжигающие строки:

...За двести миллионов Россия
Жидами на откуп взята —
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа.

И много Понтийских Пилатов,
И много лукавых Иуд
Отчизну свою распинают.
Христа своего продают...

Открытое разоблачение убийственно подействовало на верного офицера госбезопасности. Не мог и догадываться Пиоттух, что голая правда слов почти вековой давности может иметь такую взрывную силу.

В трактате Горелова шестиколенный Авель натолкнулся на такие умозаключения: «В стране рабов русские влачат жалкое существование. Пребывают в обморочном состоянии вековой нерешительности. Многочисленная разрозненная нация так и не выковала оси всеобщего крепежа, спасения и свободы. Баре гнули податливый металл, помыкали неустойчивой массой. Подавлялась любая смута. Хватало виселиц и эшафотов вешать бунтарей, отсекал забубённые головушки... У НКВД достаточно пуль-недур для полного усмирения непокорных... Не так страшен враг извне, куда страшнее свой внутренний...»

Случались дни, когда шестиколенный Авель окутывался угарным дымом сомнений, невольно впускал в нутро животный страх. Чья сторона возьмёт? Белые ломили красных. Изворотливые красные не гнушались даже китайских наёмников для подавления опасных очагов сопротивления.

Грозная комендатура, разворошённый ад Ярзоны постоянно рушили спокойствие Пиоттуха. С вахты приходил опустошённый, истерзанный видом гнусных рож смертников.

– Вернулся палач! – язвила Матильда. От неё пахло перекишей простоквашей.

В муже продолжала бурлить ярость от пёсьей службы. Грубый укор неласковой жены возмутил. Зрочки налились опасной белизной. Запульсировала жилка на правом виске. Нервный тик привёл в действие оба века. Ущипнул их – не утихомирил.

– Сучка толстомясая! Разбирайся в постельных делах. В наши чекистские не суйся... Обзываешь палачом. Да, я палач, но идейный... пусть народишко походит под нашим ярмом, похлебают революционной мурцовки.

– Разошёлся хрен с португеей! – не сдавалась Матильда. – Ступай, смой кровушку с рук. За что сплошь и рядом людей вините... Не пяль, не пяль на меня ватные шары. Нашёлся Иван Грозный!.. Скоро и меня в комендатуру потащишь показания выбивать...

– Заглохни! Пристрелю!

– Стреляй, постельный слабак! С другим бы мужиком нарожала ораву ребятни... патрон холостой... кобура без нагана...

Пользовалась Матильда бабьим превосходством. Знала: муж повинен. Седьмой год не тяжелеет. Не святая – беспорочного зачатия не дождется.

Верная подруга уши прожужжала: «Подмахни соковитому нарымцу, пусть с первого задела обрюхатит... Мужу – слава. Тебе – чадо...»

Не страшится грудастая Матильда муженька-членорезчика. Мать не напрасно предупреждала: не ходи во жёны к высушенному чебаку. Ни кожи, ни рожи, ни одёжи. Гляди – кадычище какой: снует по горлу, рюмаху и ищет... Ослушалась мудрую матушку, клюнула на червя в офицерской форме. В первую брачную ночь опростоволосился: облевал фату от винного перебору... ни порошинки в обмяклом стволе. Тело просило жаркой ласки, пылало вождедением. Тормошила непропечённого мужичонку, дрожащие руки бесстыдно пытались привести в чувство упрятанную собственность.

После позора постельного Матильда налилась дерзостью. Долго отмалчивался муженёк, побрякивал в кулак, кривил рот. Не выдержав натиска обид, громыхнул булыжинами слов:

– Дрянь! Сама виновата! Другая бы сумела меня воспламенить, пары поднять...

– Паровозик без топки, – не пасовала толстуха.

Занёс руку над головой жены, болезненно опустил, не приведя в действие вспыхнувший замысел.

Начались частые стычки. Не было покоя ни в раю дома, ни в аду следственном...

Не считал усердник Пиоттух служебную бумагу настоящей, если в ней не сверкали убийственные буквы в/м. Высшая мера, подписанная «тройкой», приносила успокоение: ещё один нарник будет убаюкан пулей.

«Косить бы из пулемёта двуногую нечисть, согнанную на яр. Покончить разом с тупыми супротивниками страны Советов. Против какой силы прёте, эсерики-засерики, кулачьё-сволочьё? Именем НКВД мы сметём погань нации... Наше воцарение не в вашу пользу...»

Такие бравые мысли шестиколенный Авель приветствовал. Повернёт ли его река жизни на седьмой плёс? Неужели он повинен в том, что супружества до сих пор не обзавелась дитём, не дала старт новому колену рода Пиоттухов?

Задабривал Матильду золотишком, сверкающими камнями колье. Плата оказывалась слишком дешёвой. Жена вымаливала иную драгоценность – ребёнка. Порою ей не хотелось иметь детей от мужа-недоразумения. Родится какой-нибудь колючий сорняк, мучайся потом с ним на поле жизни...

Скопище неубывающей рвани тяготило, изматывало особиста. Откуда наплывала вонючая масса кулаков, казаков, диверсантов, единоличников, эсеров, бандюг? Свинец еле справлялся с неубывающими нарниками. Шестиколенный Авель предлагал коменданту новшество: науськать на приговорённых к расстрелу изъятый из тайника «контрреволюционер» пулемёт «Максим». Скорострельник служил белым. Пусть Максимушка послужит красным. Сгрудим вшивую массу, полыхнём огнём во имя окончательной победы интернационала.

Отклонили заманчивое предложение рационализатора. Надо в беззаконной стране соблюдать условную законность. Ясно: «Максим» ждал горячей работёнки.

На допросах во гневе особист Пиоттух надрывал контрикам уши. С размаха тыкал растопыренными пальцами в глаза. Слабые руки не годились для боксёрских ударов под дых. Выбирал жертвы, готовые вскоре перейти по настилу перед потайным оконцем стрелка. Зачем что-то видеть, что-то слышать приговорённым к расстрелу. Высшая мера безмерна. Свинец всё поймёт, всё спишет, всё сотрёт с последних скрижалей судьбы.

Мир кипел малыми войнами, развязанными ошалелым фюрером. Тень великой войны прокатывалась по границам большого Отечества, утыканного концлагерями, комендатурами. Европа захлёбывалась от внешней войны. Лагерь социализма задыхался от борьбы внутренней – беспощадной.

Арестованному Горелову шестиколенный Абель представлялся исчадием ада. Через чёрную дыру ада втягиваются жизни, они со свистом проносятся по Ярзоне, вмуровываются в песок.

– Русские – народ-сброд. Полуазиатчина. Казаки-разбойники размахались шашками, Сибирь покорили, до вод океанских добрались. Останову не было. – Пиоттух, как портянку, разматывал историю России. – Нахватали земель под долгую руку государеву. Удержать не знают как. Аляску-аппендикс отрезали – все еще много земли осталось... Русские – те же арабы, только рожам посветлее.

– Абель Борисович, ты аполитичен, – доказывал Сергей Горелов после одной из жарких дискуссий. – С Родиной надо кровью слиться, чтобы вобрать в себя страну до каждой рязанской деревушки, до любого сибирского просёлка.

– Родина – звук... тинькнет – и нет её. Не я – Пушкин открыл:

Москва, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...

– Дочитывай дальше:

... Как много в нём отозвалось...

– Не разубедишь, господин Горелов. В моём сердце ничего не отзывается. Я поставлен НКВД выбить дурь и мозги из биологического материала. И мы выбьем, вычистим ересь.

– Кто это мы?

– Герои тридцатых – бесстрашные рыцари без упрёка. Нас Феликс Дзержинский свинцом накачал... крепче стали мускулы наши. Беспощадность – вот наиглавнейшая наука, верное условие нашей победы. Последнюю каплю жалости высушим плевком револьвера. Задушим в зародыше любое восстание. Осадим всплеск любой азиатской крови. Час мщения пробил... Не для того Ленин влил в страну яд революции, чтобы кто-то вылечил теперь землю русскую...

Слушал алтаец Горелов, будучи на свободе, такие дикие воззрения сослуживца и перефразировал слова Льва Толстого: каждый несчастный народ несчастен по-своему... Особист Пиотух – не враг ли перед ним? Враг! Даже маскироваться не желает... Вот стоит перед ним библеец, кипит злобой, родину унижает, народ... А ведь была у нас изначальная чистая вера в свет. Осознанно поклонялись Солнцу, силам Природы. Крещение Руси огнем и мечом порушило праверу, посеяло сомнения, разрушило привычный старинный уклад святорусский. Началось медленное порабощение духа, затмение древних

уверований. Позорное огульное, насильственное крещение Руси открыло все пути для ворогов. Народ угодил под гнёт унижения, рабства, страха и недоверия к религиозным поработителям. Началась эра смуг, войн, закабаления. Не хотелось становиться под знамёна послушания, навязанного инородцами. Иго, многовековое иго придавило нацию, которая постепенно уграчивала самый живучий спасительный инстинкт самосохранения. Инородцы топтали и до сих пор топчут наши нивы, выгребают богатство из наших кладовых. Торгуют мнимой свободой оптом и в розницу. Затёрли до дыр разменную карту мнимой демократии. Разрушены вековые устои семьи. Давно выветрился запах первородной правды...

Историк рассуждал сам с собой, готовил блоки для своего трактата-пирамиды. Нет вечных империй. Политика – сосуд грязный, на котором оставляют отпечатки стяжатели, падкие на самообогащение. Не брезгают ничем. Их звезда – нажива. Духовность народа – так себе... окалина веков, эфемерность. На добром чистом слове ДЕРЖАВА наслοилась ржавчина. Более тысячелетия сторонники ига превращали веру в неверие. Народу внушали, говорили в лицо: ты – вечное быдло, чернь... Народом помыкали цари и дворяне. Гнали на войны и на помещичьи десятины...

Какого полного повиновения, послушания хотят власти от усталого измордованного чернолюдыя? Оно вместе с мучеником Христом распято на безгрешном кресте. Только Иисус воскрес, воспарился. Церковной пастве неизвестно таинство сего чудесного превращения. Она обречена на муки вечные. На тягло, оброки, налоги, ясаки. Народ на какой-то период поверил в освобождение от крепостной зависимости. Ему затуманили мозги всё те же лжеправители, вранливые баре, высасывающие доходы со своих имений. Пот и кровь неодинаковой солёности. Кто

по-настоящему оценивал народ на пашне и на войне? Везде нужна живая сила – на барских лугах и на полях битв...

Долго продержится та империя, правители которой поймут: для продолжения существования важна не жиреющая бессовестная знать, важен непорабощённый свободный народ не в положении рабов. Народ – устроитель вольной жизни и судьбы. Дайте ему в истории шанс жить без мародёрства правителей. Тогда патриотические чувства самотёком вольются в души не закрепощённых пахарей и воинов. Политика, религия – охранительницы хапужных властей, их услужливых лизоблюдов.

Не раз ворошили пласты истории сослуживцы с диаметрально противоположными взглядами на Отечество. Шестиколенный Авель пасовал перед младшим по званию сослуживцем. Однажды Горелов сделал вывод:

– Власть – обух. Народ – размочаленная плеть: ею не перешибить кованое железо.

– Верно подметил, – просиял Авель Борисович. – Поэтому – запасайся терпением, народ-лапотник, не суйся в сомнительные российские союзы борьбы. Победа будет за НКВД: этот обух точно не перешибёшь никакой плетью.

– Не охочие до труда физического чиновники, дворяне, помещики ловко обворовывали тружеников, бесцеремонно выкачивая энергию жил, выгребая из закровов последний хлебушко, уводя со двора последнюю коровёнку. Так и ведётся на Руси испокон веков: богатеям – дворцы, быдлу – скотные дворы.

– Не тебе, офицер Горелов, вторгаться с непродуманным уставом в монастырь, простоявший столетия на фундаменте власти и веры.

– Придёт срок – по кирпичику разнесут шаткие строения рабовладельчества. Зачем было затевать

губительную революцию, если через два десятка лет народ отброшен в кювет, зарывается в яр.

– Серёженька, я твой друг... другой твои слова может донести до ушей иных.

– Скрывать нечего: знать не умеет ладить с народом, ценить его, уважительно относиться к кормильцам государства. Грошик гнутый стоит такая управленческая армада.

Сказал и подумал: «С каких это пор ты другом моим стал, Авель Борисович... без подмылки валенки катаешь...»

Зачастую в идеологических спорах глаза Пиоттуха пропитывались белизной, словно известковым раствором. Он считал Горелова врагом, обнажающим нутро до самого сердца. «Кого напринимали в комендатуру – святой орган НКВД. Кому доверили секретные документы, протоколы, дали право вершить суд над чернью... Какой-то плохо пропечённый в университете историк поливает грязью революционный путь страны, делает гнусные выводы о коронованных особах... Щенок! Вольнодумец! Мы и тебя сотрём в порошок, развеем по лагерному двору...» Опасная белизна выпученных глаз, налив озлобления вовремя подсказывали сослуживцу Горелову заканчивать бессмысленный диалог. Разве поймёт Пиоттух – выкидыш истории – всей сущности новой инквизиции...

5

Переведённый из вышкарей в расстрельники, Натан-Наган ослабел духом. Тяжело поднималась рука на уровень голов невинных жертв. Шёпотом испрашивая прощение, нервно нажимал на холодный спусковой механизм. Крестился после того, как вертикаль жизни складывалась с горизонталью смерти.

Смертники догадывались в последние минуты, что их подводят к роковой черте. Инструкция для чикистов гласила: стрелять неожиданно, скрытно, с близкого расстояния. Сможешь выкрикнуть: ИМЕНЕМ НКВД – хорошо. Не сможешь – выговора не будет. Твоё молчание не перешибёт скороговорку нагана.

Висок – самая уязвимая часть черепа. Уяснили это на теоретических занятиях по огневой подготовке. Попадали контры с утолщёнными костями на затылках. Прошиби такую лосиную твердь. Пуля и не душой бывает: может срикошетить, уйти в бессмертный песок яра. А если развернётся да прилетит в лоб чикиста?

Перед Натаном постоянно маячил кулачище из-под песчано-хлорной смеси. После того почти фантастического случая перестал заглядывать в преисподнюю. Висок... спуск курка... звук выстрела... И всё! Пусть зонный врач констатирует смерть... Можно обойтись без осмотра. Ни вскрика, ни гневных слов проклятия... Висок... спуск курка... в ушах эхо от выстрела... Миссия чикиста закончена. Дальше вечная миссия габаритной ямы. Усыпальницей не назовёшь.

Смертники проходили по настилу в одном направлении... перед чикистом проплывала явь левого виска. Из тайника не мог промахнуться даже неопытный стрелок... маячила седина волос... в любой шевелюре ни волоска надежды, ни спасительной ниточки.

Прижимаясь к земляному срезу, тянулся настил в ширину двух сосновых плах. Маховая пила вычленила из двухобхватного дерева толстые доски. Они даже не прогибались под тяжестью обречённых. В полном смысле слова жертву вели на плаху: не под топор – под пулю палача.

До мелочей продуманная кара шокировала немногих. Текла обыкновенная рутинная работёнка. Тот, кто оставался

жить, старался не задумываться о тех, кому суждено пройти последние метры судьбы... Видение виска... именем НКВД... короткий гром... В расход судьба... в расход жизнь...

В комендатуре Натану-Нагану припомнили посылочки-записочки из Заполя к кузнецу Никодиму Селивёрстову, нечуткую охрану на вышке. Комендант Перхоть держал Воробьёва в резерве. Понадобится – передаст в лапы смерти с потрохами, с найденными под матрасом стихами пьяницы и хулигана Есенина. В двадцать пятом его упокоило самоудушение. В тридцать восьмом упокоил бы свинец. Так рассуждал премудрый комендант, отчитывая неделю назад грешного чикиста.

Висок... спуск... гром... тачка... шпатель... песок... хлорка...

Спирт... бессонница... разломленная надвое душа...

Чикиста тащила на аркане спотычливая судьба. Не взбрыкнёшь. Не заурисишь.

О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь...

«Дорогой друг, спасибо тебе. Светит мне твоя поэзия, не даёт сгннуть в Ярзоновском вертепе... Самый короткий путь ствола до своего виска, рта. Много раз хотелось изменить курс пули... спасаешь, Серёженька, вселяешь дух жизнелюбия. Поверишь в иную Русь – гордую, со зрячей судьбой народа... Зажечь бы в моём сердце яркий свет Руси, да окутала его темь непроглядная. Тянет к Обскому яру: там сейчас водобойная вихревая сила крутит воронки. Большая вода. Больные мысли... Даже Праска Саиспаева не может снять гнёт с души. Ласковая стала, доступная, податливая.

Откуда в метиске возник наплыв страсти? Душит в объятиях... ярко-пунцовые губы налиты бесовским огнем. Нежданно-негаданно привалило везение. Скрытничала. Грубила. Отталкивала. Подошёл, видно, жоркий бабий срок. Полная луна подсводничала... Не всю молодуху выпил Тимур... просто не успел...»

Давно догадывался Натан о многих преступлениях органов НКВД. Видит Бог – делал отчаянную попытку вырваться из оглушительного позора. Расстрельный маховик не остановишь. Найдутся другие исполнители приговоров. Цель: висок в метре от стрелка. Каждый «в десятку» попадёт.

Без язвительного Горбоноса стало скучновато. Простил ему стукачество... Вместе с ним спиртишко, самогонку попивали. Сейчас не с кем. Отстранился от однозвонников, душу на хитрый замочек закрыл. Выпьет втихаря, зажует лавровым листиком. Запах жидкой дури отбить можно. Кто отобьёт дурь мыслей?

«Только бы не попал в мою смену офицер Горелов. Не смогу поднять ствол. Давно хотел задружить с ангелочком – робость мешала. Здравовался с ним уважительно... Я – холоп. Он – барин... Особисты за своих взялись... Какое дикое племя шкурников, извергов, сволочей... Я – из их помёта. Стрелок по принуждению... Завела юность в тайный закуток... Виски, виски, виски перед глазами...»

Винился Воробьёв перед смертниками, перед Есениным, перед совестью. Не примешь быть за кошмарные сновидения. Из всех шелей бытия прёт жуть. Перхоть дал понять: проявишь ещё недовольство службой – изничтожу.

Перестало тянуть к Прасковье в Заполье. Ненасытную полукровку с весны словно с голодного мыса сняли. Неужели и под Тимуром заходилась вскриками, стонами,

щенячьим скулежом? Ох, бабы, бабы – злое, но славное отродье человечества!

Думал – влечение к Праске будет долгим, насыщенным, со всей предсказуемостью любви. Несколько раз в постельной запальчивости сменщика Тимуром называла. Видать, не занозой в теле сидит гармонист. Такие и после отравленной стрелы выживают. Ни сном, ни духом не знал о яде на наконечнике. Товарищок удружить хотел – вычеркнуть соперника из жизни. Кое-как убедил Праску: не моя страшная затея...

Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилища...

Давно внедрились в ум уплывающие в поднебесье строки. Когда тяжело – Натан призывает для утешительной миссии колдовские слова: облегчают смурные и смутные дни.

«Моя душа – жилища какой нивы? Прозвучит ли для неё зов высот или она бултыхнется в Обь песчаным сколом... Скрыта великая тайна в есенинских словах... Души – вечные невидимки...»

«Не по своей воле стал палачом. Залетел рикошетом в комсомол. Прочертил в судьбе кривую дорожку. Судьба не оставляет меня без присмотра. Приказывает мне: не направляй ствол к своему виску. Не ходи часто на крутояр, не заглядывайся на стрежь. Не промеряй мутным взглядом обскую пучину... Душе не надо илистого dna... её стихия – синяя высь... не души свободу выбора...»

«Родной мой рязанец, меня кто-то подталкивает к роковой черте, где караулит пугающая бездна. Иногда хочется залечь в братскую яму, разделить участь смертников... Никто не предполагал, что по извилистой судьбе Руси промчатся бешеные тройки, насмерть забьют

копытами множество жизней... Прости, душа. Ввалил на тебя непосильную ношу палача...»

Винный угар проходил. Самоказнь вырастала до вселенских габаритов вины. В четушке манящее бульканье. Надо скрыться от зорких глаз однозводников, хлебнуть прозрачного огня. Он не успел вспыхнуть в горле, раскатиться до размеров воздушного шарика, дюжина минут – и пары попадут в голову, окутают мозговые извилины ласковым парным туманцем. Натан поднимал блаженное состояние относительного покоя. Растворялись грустные мысли. Перед глазами колебалась радужная кисея, кутала страшные видения.

Сослуживцы звали играть в волейбол. Отмахнулся. Искал уединения. Комсомольцы-активисты приглашали на диспут «Что такое счастье». Натан брезгливо посмотрел на восторженных идиотов, без слов прошёл мимо. Дурачьё! Говорить о счастье вблизи Ярзоны, где палачество возведено в степень оправдания. Нашлись счастливики! Стрелок редко прибегал к мату, молодчики вынудили загнуть трёхколенную трубу.

Явится ночь, накошмарит видений. Воробьёв часто находился на пограничной черте бодрствования и сна. Не мог выплыть из тинного омута подстроенной чертовщины. Отовсюду лезли безглазые, безротые рожи – багровые, в шрамах и гнойниках. Прорастал неотвратимый кулак, гневно надвигался к лицу. Чикист улавливал запах сыри, хлорки и тьмы.

Не научился обрывать залётную жуть из потустороннего мира ада. Стонал. Вскрикивал. Отбивался. Бил наотмашь по вздыбленному кулаку: он оборачивался огромной – со снаряд – пулей, зависал у виска.

Раньше кошмар сновидений, пыл вскриков обрывал коечный сосед Горбонос. Спал стукачок чутко. Натану

казалось: притворился спящим, боится пропустить ночную казарменную быль.

После Горбоноса никто не обрывал громкие вскрики, изматывающие стоны. Некоторые стрелки улавливали спросонка запальчивое бормотание, догадывались утром о муках. Подтрунивали:

– Эротик! Крепко же ты баб тискаешь даже в снах...

– Криком страсти исходить – уметь надо...

В казарме никто не мог понять исходящую плачем и криком душу.

– Натан-Наган, ты не наш. Из чужой стаи.

– Конечно не ваш. Для себя – я свой.

Тяжело было своему среди вроде не чужих стрелков, крепко повязанных убойной кабалой. Все цеховики на конвейере смерти работали несбойно. Входящие в широкие ворота следственной тюрьмы теплили надежду: восстановят справедливость... разберутся... выпустят... Благие помыслы рушились, ложь восстановлению не подлежала. Органы даже не пытались реставрировать попранную свободу, внести ясность в протоколы допросов. За время террора т р о й к и неслись оголтело, минуя все раздорожицы судеб. Вершители беззакония требовали не двусмысленных ответов, выводов о полной виновности поступаемой к о н т р ы .

Под статью расстрела загоняли охаянный, заклеянный люд. Выжигали тавро: в р а г н а р о д а .

«Свой для себя» думал о летящем в неизвестную коммуны задышном паровозе. Сгрудили в теплушки отпетую массу пролетариата, крестьянства, интеллигенции. Органы в нужном месте в нужное время перевели стрелку. Дымящее чудовище понеслось по направлению Ярзоны.

Здесь – коммуна смерти. Обрыв. Теплушки с обреченными не летят под откос – их засасывает подземелье.

«Конечно, я не ваш, – рассуждал чикист по принуждению, – Горбонос и тот называл меня соколом... Не ворон я, даже не белая ворона. Сам по себе. Хватает ума не быть оголтелым молодчиком, не кощунствовать на диспутах о счастье... О злосчастии можно поговорить. Оно перед глазами: плаха... виски, беглый гром выстрела...»

6

Причаливали, отплывали пароходы. Призывные гудки манили в путь.

Надзирателям Авель Борисович приказал:

– При отплытии «Надежды» выводите Обгорелова на прослушивание душещипательной музыки. «Прощание славянки» – кивок из свободы.

Арестованный сразу догадался об истязании маршем. Только шестиколенный Авель мог до мелочей продумать иезуитский план. Ни запах колбасы и осетрины, ни хладные угли, положенные по углам протокола не помогли. Сокрушительный удар по психике отщепенца нанесёт щемящая сердце музыка. «Большую глупость допустил ты, Серёженька, покинув поле чекистского боя. Стратег – наркомат внутренних дел – умело расставил заградительные отряды особистов-опытников. Фронт растянулся по всей стране. Вражин не убывает... Слушай, Прогорелов, слушай внимательно «Прощание славянки». Впитывай дух Руси. Скоро не запахнет душком славян, не повеет удалью... Нагородил в трактате героической ереси. Были заступники

– не чета тебе. Ссылаешься на Радищева, Карамзина, Достоевского. Оплетаешь историю бесовщиной революционеров. Кто вывел славян из языческого мрака? Века пастыри христианства добивались полного послушания разбредших стад... Кому-то не по вкусу щёлканье бичей, сгон овец в загородки колхозов... Не скоро ещё выбьют дурь из паствы. Красный террор – новое крещение Руси... свергнем ваших демократических идолов, вычеркнем из памяти рабов...»

Хорошо сегодня философствуется шестиколленному Авелю. Шипр перебивает утробный запах изо рта. Говорит и ощущает неприятный поток. Не отдуешь его, как жирок со стерляжьей ухи. Вчера важные гости застольничали. Ели чёрную икру, как обыкновенную перловку. Балыки нельмовый, осетровый. Строганина из лосиной печени. Сам нарезал пешки янтарной мороженой стерляди. Отлично шла чушь под водочку, под армянский коньяк.

Разговоры велись о наградах, званиях, окладах, премиях. Сообщили важные гости по секрету: отдали под суд за мародёрство крупного офицера из Ахской комендатуры. Спустили шкуры со многих шкурников из медвежьего угла. Комендатуры разбросаны даже там, где Макар никогда не гонял на пастьбу телят... Сами пасём начальничков. Своевольничают, на безнаказанность надеются...

Ёрзал Авель Борисович на массивном стуле, тусовал мыслишки: «Вдруг доберутся дознатели и до нашей шараги... рыла не в пуху – собачьей шерстью обросли, псиной провоняли... Господи, помоги миновать напасти... Пора контру Прогорелова пускать в расход... что-то тройка медлит, приговор не подписывает. Неужели поставили под сомнение подделанную подпись... боятся, поди, лейтенанта госбезопасности подставлять под забой... Тройка, попади в десяточку, отправь с глаз долой университетского умника...

Можно и в Томскую тюрьму спровадить... в трюме «Надежды» поплывёт...»

Не знал Пиоттух, что вчера нарочный доставил в кабинет коменданта пакет с самой грозной из бумаг НКВД. В приговоре тройки в череде прочих отпечатанных на машинке несуразностей горели пламенем роковые в/м.

Долгое затишье настораживало Сергея Горелова. Ни допросов, ни насильственного вдавливания бурды через распухшие ноздри. Прекратил голодовку. Брезгливо хлебал зонную баланду с кусочками разваренной сушеной рыбы, ослизлыми ломтиками квашеной капусты.

Прутья-лучи на окнах даже не намекали на райские кущи свободы. Сидел на жердях, вслушиваясь в галдёж нарников. Камера – растревоженный улей. Не носить пчёлам медок, не подслащивать жизнь.

Часто вскипало озлобление на усатого государя, окопавшегося в Кремле, на его подлые органы. Глаза у них зашорены. Не видят правители перекосы судебной системы, варварство троек.

Не орды Мамаю топчут Русь – орды Наркомата внутренних дел приговаривают невольников к высшей мере. Кто устанавливает одновесную меру в граммах свинца?!

Новые главы исторического трактата выстраивались в голове в надёжные роты слов. Воспламенённый мозг продолжал высвечивать из хроник Руси узловые события, роковые даты. Тридцать седьмой и тридцать восьмой годы спеклись в раскалённый ком и катились по времени опустошающей массой.

Аналитический ум офицера-узника пробивал брешь в тенётах проводимой политики. Великий историк Карамзин не мог увидеть полымя века в самом страшном сне. Взгляд в будущее не облагался непосильной данью. Страна виделась могучей, народ свободным, жизнь не каторжной.

Всё обернулось игом, закабалением масс. Нашествие грянуло не с азиатских продуваемых степей, не от резвых племён кочевников. Иго вызрело в утробе Кремля Московского.

Находились в стране фальшивых Советов люди с умами зрелыми, но их идеи добра и справедливости, их действия подавлялись изошрёнными бесами. Была благодатная среда для их расплода.

Мысли, протекающие за письменным столом и на нарах, не выбивались из общего русла бурливого повествования. Историческое течение могло из плавного переходить на бурное, порожистое. Не менялось направление выстраданной сути и правды.

Становилось боязно заглядывать даже в недалёкое будущее. Хватка, с какой бывший сослуживец выбивал показания, указывала на пулевой исход. Теперь особенно желалось свободы, завершения задуманного труда. Пусть узнает народ: не все службисты госбезопасности впали в состояние отупения, закрыли глаза на бесчинства органов. Добро должно побеждать зло не только в красивых сказках. Горькая явь не менее нуждается в отражении неприкрашенной правды...

– Прогорелов, на выход! С вещами...

Историк не обижался: исказили фамилию не сильно. Звучит по-тюремному. Почти все здесь прогорают до последней порошинки. Смешно прозвучало: с вещами! Всего имущества – бронзовая иконка святого Георгия Победоносца. Принял от старовера Власа святую память и эстафету... Оставить на нарах? Взять с собой?.. Неужели – свобода?

С нескрываемой радостью разглядывал Амель Борисович документ с сияющими буквами в/м. До

плотности пуль ужаты они. Заветные, зловещие словечки в ы с ш а я м е р а. Вот он, итог изматывающих допросов. Тут и свечи-помощницы, и угли, и бутерброды с деликатесами.

– Бывший офицер Недогорелов, твоя воля уже измеряется часами. Мне больно говорить о суровости приговора.

– Не виновен, как и старообрядец Влас по фамилии Невинный.

– Он теперь молится иным богам... успел справить обряд небесный.

– Я не подписывал протокол допроса. Всё в нём ложь. За измышления не приговаривают к «вышке».

– Приго-ва-ри-вают. Наши законы знаешь не хуже меня.

– Волчьи законы.

– Мудрые арабы говорили: кто охраняет – тот и волк... хороший зверь: овцам покою никогда не будет... Твой трактат наделал в верхах много шуму... Вольнодумец!

– Когда строй бешеный – вольнодумство неизбежно.

Безучастный к судьбе историка Пиоттух бросил беглый взгляд на приговор, не отыскав букв клопиного размера. Следователь общарил взглядом текст, со вздохом облегчения обнаружил условное обозначение исхода.

Вот они – голубушки-славянки!.. Прощание с жизнью, с обетованным раем... Пусть выговорится перед скорой встречей с пулей выученик русской истории, испятнанной кровью и мозгами... Есть цари, будут и цареубийцы. НКВД изрядно сократит недобитков белого легиона. Цвет крови – несмыаемый колер истории...

Перед старшим лейтенантом госбезопасности мышка, пойманная в мышеловку даже без сыра. Для чего-то пушистый комочек осилил науки, обзавёлся дипломом. Сочинял никому не нужный трактат... Даже не интересно

стало коту – шестиколленному Авелю – играть с мышкой... А ведь на лице ни капли животного страха... Дал задание служакам отыскать в посёлке пластинку с записью марша «Прощание славянки». Патефон в следственном отделе есть. Будет последняя игра в кошки-мышки. Пусть приговорённый перед плахой насладится душещипательной музыкой... Арест в каюте «Надежды» сильно подпалил шерстку пойманной жертвы...

Ни разу в Пиоттухе не проснулось чувство жалости к соплеменнику-чужаку. Существующий строй назвал бешеным. Но кто взбесил вождей адским неповиновением, тупым упорством? Сброд со времён Разина, Пугачёва не поумнел, не запасся мудростью для выживания, продолжения славянского рода...

– Обгорелов, при обыске в твоём чемодане кроме трактата нашли опасные частушки. Откуда они?

– Какие частушки? – удивился узник.

– Очень политические. Такие вот:

Был разбойник Кудеяр.
Он не прятал трупы в яр.
Что-то наши кудеяры
На расправу очень яры.

Не хочу в Улан-Удэ –
Ведь и там НКВД.
Даже кожа - кобура
За него кричит: ура!

Смерть народу день-деньской.
Распухает яр Обской.
Позабыл проклятый Вий
Божеское – «НЕ УБИЙ!»

Развались скорей Ярзона
От великого позора.
Видно, сытые харчи,
Раз лютуют палачи.

Завелись в Кремле враги.
Боже светлый, помоги!
Можно и не ворожить –
Нам с антихристом не жить.

- ... Каким манером частушки в твой чемодан попали?
- Манера чекистов – провокации. Кто подбросил? Зачем?.. Впрочем, вали до кучи, Авель Борисович, на узника, приговорённого к расстрелу.
- Собирался свой трактат сдобрить устным народным творчеством?

Бьют в затылок. Бьют в висок.
Прячут смертушки в песок.
Не добудится будильник.
У Оби скотомогильник?

Льётся кровь народная –
Наверно, беспородная.
Самодуры красные
Для страны опасные.

- Ты на кого замахнулся! Сукин сын ты – не чекист!
- С каким бы удовольствием вlepил тебе на дуэли пулю в лоб.
- Поздно. Дуэль б е л ы е – к р а с н ы е кончилась в нашу пользу...
- Где твоя честь офицера? В царской армии благородство поднимали на вершину службы...

– Поплачь, поплачь о старинушке.

На яру посадим ивы:
Сердобольны и плаксивы.
Пусть поплачут, погорюют,
Как убитых штабелюют.

Плачет русская земля –
Все злодеяства из Кремля.
Знаем мы врагов народа.
И в Кремле не без уroda.

– ... Только политически подкованный жеребец мог проскакать даже по вождю. Ни стыда. Ни совести. Ни чести...

Богобоязненный Авель Борисович начинал верить: частушки – дело рук и ума приговорённого к свинцу... Наконец-то он раскрыл сочинителя.

Отрапортует коменданту: частушки были спрятаны в двойном дне чемодана... рифмованное дополнение к трактату...

– Почитай ещё, чекист Пиоттух, о правде народной. Хоть перед смертью утешь.

– Поди, наизусть знаешь все жалобы турка. Забыл? Напомню.

Триста лет Романовы
Жили все обманами.
А Советская властишка
Такова – народу крышка!

Есть у нас комендатура.
Комендант – губа не дура.
Держится он молодцом –

Поливает всех свинцом.

Присмирели камеры –
Христиане замерли.
Жертву новую ведут
На свинцовый страшный суд.

–...Не прикидывайся овечкой смирной. Насочинял – на три высшие меры... хотя одна за всё рассчитается.

– Мне эта художественная самодеятельность нравится. Читаешь ты плохо, не выразительно, но суть слов доносишь.

– Вспомни, что ты написал о судах-тройках.

– Неужели есть частушки и об этих позорниках?

– Есть. И тоже тянут на расстрельную статью.

Приговор подпишет «тройка» –
Узникам тогда у б о й к а.
Зона тоже не грустит -
Штабелями умастит.

«Тройки» – страшные убийцы.
Душегубы. Кровопийцы.
Курс прошли у сатаны:
Убивают без вины.

На Руси взбесились «тройки».
Нас швыряют на помойки.
По ночам свинец свистит.
Яр пузатый всех вместит.

–...Вот что, сочинитель и хранитель частушек. Подписывай признание, и мы пересмотрим приговор. Похлопочем, чтобы «вышку» заменили десятилетним

сроком. Переведём поближе к теплу – в Томскую или Кемеровскую тюрьмы.

- А кто три «вышки» недавно обещал за напраслину?
- Сгоряча вылетело...

Пластинка с маршем «Прощание славянки» пока не находилась.

Казнь отложили.

В камере приговорённый к расстрелу гладил иконку, шептался со святым. Лик Георгия Победоносца был мудро-спокойным, задумчивым, посылающим светлую надежду.

7

- Смазливенький в португее зачастил к тебе.

Секретарь газеты «Северная окраина» Колотовкина не придала значения подковырке машинистки.

– Не отмолчишься, Анна Сергеевна, – не унималась курносая с т у ч а л к а – так её называли сотрудники редакции.

В кабинетный залив добродушной Аннушки заплывали коряги и покрупнее. Случались серьёзные з а д ё в ы: с языка редакционной стучалки слетали колкости острее иголок ежа.

– Почему Авель библейский к тебе похаживает?.. Ох, неспроста. Скажу его жене Матильде – пристукнет нашего секретаря, хоть и ответственного.

Равнодушно подёрнув плечами, смущённая Анна Сергеевна ответила:

– Офицер добрый, отзывчивый. Доискиваются в комендатуре – чьи частушки по посёлку летают... Допечатавай скорее срочный материал и поменьше болтай.

Коренная нарымчанка Колотовкина умела сиять небесной красотой глаз. Многие подолгу смотрели в её синь – нежную, притягательную и волнующую.

Увидев впервые важную особу местной газеты, Авель Борисович не мог скрыть волнения и несколько начальных слов произнёс с заиканием.

Полистав подшивку «Северной окраины», Анна Сергеевна красивым почерком выписала фамилии Колпашинских стихосложенцев. Достали письма, проверили почерки – ни один не подошёл к размашистому разливу слов неизвестного частушечника.

– Говорят, гармонист Тимур Селиверстов распевал какие-то частушонки... Но вот такие – он бы петь поостерёгся... Это же явная крамола на партию, товарища Сталина.

Растерянный Пиоттух вскоре забыл о цели прихода, смотрел на красавицу с нежностью любящего брата. Женщина быстро уловила совсем не магическое притяжение взгляда. Она привыкла к подобному мужскому ротозейству и знала, что поведёт любого самца в любом направлении.

Частушки ей понравились остротой и неотстранённостью от сомнительного времени. Но как бы они ни просились на газетную полосу – их невозможно было опубликовать.

Так близко Анна Сергеевна пока не видела чекистов: от портупей, кобуры, запыженной какой-то стреляющей шуковиной, исходил неприятный запах.

– Неужели в частушках заложена правда?

– Ни капли! – отрапортовал службист. – Да, Анна Сергеевна, органы карают за преступления, но бесчинства не допускают, – уклончиво ответил растерянный офицер, не в силах оторвать взгляд от яблочного налива гладких щёк, от кукольных ресниц. – 0 частушках забудьте. Нашли

партизана. Следователи – не лишние рты у государства... Но если услышите, кто распевает рифмованную ложь – немедленно сообщите.

На последних словах построжел, словно освободился от чар, напущенных редакционной княжной в розовом, плотно облегающем свитерке.

На один из рельефных холмиков груди угнездилась изумрудная муха. Авель Борисович позавидовал стремительной твари: она задержалась на плотной шерстяной вязке, принялась бесцеремонно чистить лапками без того опрятную головку.

Особист представил рядом с обворожительной дамой пресную Матильду, чуть не зевнул от наваждения. Оконфуженный, размышлял: «Кому что даётся... вот так живёшь, ошибаешься, терпишь муки, а радость-то: вот она... говорят: разведёнка... разве такую можно бросить?.. Наверно, гордая – сама ушла... И какой дурак выпустит из постели неземное существо...»

Не выдержала Матильда домашнего позора. Напялила перчатки, взяла помойное ведро. Свалила все фаллосы, отнесла к печке. Сжигать не стала – задумала испытать на пробу первую отчаянную дерзость.

– Где коллекция? – удивительно спокойным голосом спросил муж.

– В трубу вылетела.

Вместо гневной отповеди, грома и молний Авель Борисович безнадежно махнул рукой:

– Туда им и дорога...

– Авелюшка! – возликовала Матильда, – дай я тебя расцелую за твой подвиг души.

Косо посмотрела на домашнего и зонного стража.

– Что это сегодня с тобой? Не узнаю...

Фаллосы горели огнём притворной страсти.

Не надо было и кочергой помешивать – так хорошо пылали высушенные самоделки.

На Авеля Борисовича налетело безразличие ко всему, посягающему на его время и жизненное пространство. Подступали слезы раскаяния, обиды... Ощутил поражение судьбы, никчёмности ретивых действий.

Дома он прятал табельное оружие подальше от зорких глаз. Не хотелось, чтобы беременная кобура напоминала о сокрытом дитяти. Всплывали мыслишки и не раз рассекретить одну ячейку патронника, отпустить на роковую волю гладкий сгусток свинца... Через минуту восставал против измены воли, прогиба дальнейших планов по ликвидации заговорщиков .

Налёты внезапного бешенства сменялись кислой меланхолией, рвение на службе – угарным бездействием. Высокие идеи, за которые насмерть бился держинец, превращались в оборотня – повизгивающую юлу: раскрутили её грязной рукой, оставили без присмотра. Безусловно, были ревностные сторожа порядка, следили за механизмом волчка, чтобы не скovyрнулся с отлаженной оси.

Иногда Авель Борисович чувствовал себя трещиной – скоро произойдёт надлом. Эпилепсией не страдал, но активностью мозга предвидел её приближение. Какой-то враг держал падучую болезнь на спусковом крючке, мог в любой момент дать команду – «пли!»

Ранимая душа, освещенная красотой Анны Сергеевны, по-иному откликнулась на происходящее вокруг. Комендатура показалась полузабытым материком, когда-то открытым по компасу сердца. «Зачем?» – спрашивал себя Пиоттух и не находил ответа.

Зонные злодеяства наслоились на судьбу: какой скребок очистит огрубевшую шкуру? Заведомо обречённый

на служебную ложь, исполнял приказы, которые считал в н е з а к о н а . То, что народный комиссариат внутренних дел навалил на тридцать седьмой, тридцать восьмой годы, не могло не шокировать грузом трупов. Позор, возведённый в степень тайны, вышел на чистый простор, разгуливает в дерзких частушках. Побеждающая в сказках правда не могла соперничать с кривдой жизни. Карающий меч возмездия обретался на небесах и мог в будущем слететь оттуда булатной птицей. Дальновидный Пиоттух не мог не предчувствовать верную траекторию полёта.

Сегодня Матильда глядела на Авелюшку глазами испуганными: из него словно высыпались все бесенята и попрыгали в печку, чтобы сгореть вместе со срамными фаллосами.

Его не тянуло ни к вину, ни к револьверу.

Образ редакционной чародейки расплывался парным июльским туманом.

В нём просверкивала мозаика радуг... появлялись манящие глаза... колебались выразительные ресницы... сочился тёплый розовый свитер... На нежной шее сидела крупная муха и хохотала последним смехом приговорённого нарника...

Над нижней пухлой губой запузырилась красноватая пена... поплыли под лоб известковые глаза... Голову и плечи просекла наступающая дрожь...

Послышался хриплый вскрик:

– Врачча!

Г л а в а п я т а я

Надгробная замшелая плита на окраине старого кладбища покосилась, продавала смертным грузом податливый суглинок. Сугулый пожилой человек, озираясь, подошёл к заброшенной могиле, постоял в нерешительности, неохотно перекрестился.

Темнело. Набирал прыть мелкий разгонный дождик.

Осень давно не скрытничала, прошла по листве беспепельным палом. Почётный ветеран грозных органов Натан Натанович Воробьёв надеялся на мокропогодицу, на предсказание горбатенькой ворожейки. Вдолбила в распалённую голову: Отыщи на старом кладбище плоское надгробие, ложись на спину и тридцать три раза отщепчи «Отче наш...» Сегодня вечером заморосит... пригодный случай для покаяния. Не верилось верному служаке в доброе предзнаменование.

Зоркая сердцем Варвара знала: кладбищенская процедура не выскребет все нечистоты из души старого мытаря. Что он ей порассказал под пьяную рожу – ни одна история не поверит. Грешна: спала с ним. Бес бесплотный попугал, шепнул под ореховый Спас: поваляйся со служкой в постели, послужи... пусть взойдёт на бабий полюс...

Кошмары не отступали. Ад при жизни с каждым погружением в сон раскручивал ужасные свитки.

Одновзводники перекрестили его в Нагана Наганыча. Гордился железным именем. Когда совсем отупел от расстрельной тяготы – портретам Сталина, Ежова, Берии отдавал честь. Боялся чихнуть, высморкаться при них, считая сиё деяние кощунством.

Надеялся управиться с «Отче наш...» до сыри, до затяжного дождя. Расхотелось ложиться на мокрое, жутковатое надгробие. Зачем погнала дряблая ведьма измождённого телесными и душевными недугами в хаос упавших крестов, опрокинутых обелисков? У ног осколок царства мёртвых, бесхозное владение догнивающих

мертвецов. Натан Натаныч и сам давно чувствовал себя близким родственником погребённых.

Реабилитационная заваруха толкала чекиста что-то предпринять, но он не знал, как подступиться к обнаженному требованию смутного времени. Его словно тащили по рифам темнеющей памяти.

Сумерки густели. Слабеющие руки разгребали ослизлый бурьян.

Последний поворот затравенелой тропинки. Старик в кожанке вышел на простор пустыря.

Хохочущие подростки волокли звено металлической оградки.

– Эй, привидение, подмогни!

Ветеран молча ухватился за холодный угольник. Металл придал остроту нервам. В стали кладбищенской оградки было много общего с крепостью всесильного нагана.

Когда демонический пустырь докатился до устья широкой дороги, всплыли мертвенные огни старого города.

С небесных холмов потекли слабенькие потоки.

– Привидение, глотни для сугрева обжигаловки марки ДОН: денатурат очищенный, неразбавленный...

– Куртка на тебе мировецкая...

– В таких не бомжуют...

Не было душевных сил ввязываться в спор, физических в драку. Лет пяток назад он расшвырял бы кодлу по трём сторонам света.

Помощник выпустил ржавую оградку из рук, побрёл в сторону унылых огней.

– Хмырь, куртку-то оставь...

– Нищим на пропитание...

Самый рослый из тройки рыжий шевелюристый парняга приблизился к старику, попытался снять кожанку.

– Отвали, мразь, яйца расквашу.

– Че-воой?!

Холодная сталь наградного оружия придала отваги. Прозвучал выстрел, приглушённый промозглой погодушкой.

– Крутое привидение, – пробубнил струсивший грабитель, пятясь к корешам. Колени дрожали. Хмель улетучился.

Рыжекудрый ощутил: пуля напором свинцового вихря накрутила клубок волос, вырвала из башки и унесла за пустырь.

– Пердун! С тобой и пошутить нельзя...

– А если мы свои пушки достанем?!

– Не успеете! Всех порешу в пределах одной секунды... Марш по домам, соплячье вонючее...

– Парни, а дед-то круженький! Скажи, сколько у тебя ходок, в каких зонах параша таскал и мы тебя простим...

Наган Наганыч не вслушивался в болтовню бомжистых удалцов, сокращал расстояние до выморочных огней.

Он называл пригорбленную хозяйку по-домашнему: мой Варвар.

Сухенькая, морщинистая старушка не обижалась на постояльца. Она мудрым умком дошла до понимания: много перестрадал Натаныч, точит его не червь – змея сомнений. В спорах она умело прикидывалась необиженной, даже весёленькой. Не по своей воле настрадался человек, хватил лиха на дикой расстрельщине. Варвара не подступалась к грустному квартиранту с вопросами, не давила советами. Мало ли какие глыбы льда плавают в его сибирской душе.

И сейчас, после возвращения с операции по очищению души, она не спрашивала Натаныча ни о чём. Молча поставила перед ним расписную фарфоровую чашку индийского чая.

– Попей крепенького – в такую погоду согреет тело и душу.

– Спасибо, Варварушка...

– Ишь ты! С утра в а р в а р о м была, к вечеру почёта удосужилась... да я не обижаюсь, родненький... Все мы психом стукнуты. Вон, говорят, томская психушка вся под стропилы забита. По недобору ума мы многих обошли.

– Не дураки же. Ракеты пуляем, тычем в небо кукурузой. Видел початки на базаре – палицы Ильи Муромца.

– Пей, пей чаёк... Лицо бледное, цвет менять надо...

– Зачем?! Под мои года и такое сгодится.

– Уныние Господом осуждается.

– Радости мало, хозяйюшка. Вот сходил в старый мир кладбищенский, будто местечко себе приглядел... Страшная штука – жизнь... навалишь в душу всякого скарба ненужного... моль в старье завелась, выбросить бы на свалку, ан не можешь.

– Да-а, – сочувственно вздыхает Варвара, помешивая серебряной ложечкой крепкий чай, – души молитвами очищаются... сходил бы к батюшке на исповедь, обсказал жизнь Колпашинскую... Иную судьбу три кобылы не утащат – гужи порвутся...

– Сознаюсь тебе, Варварушка, как на исповеди у попа: не выполнил я твоего совета дельного. Плита могильная отталкивала меня, гнала от себя, Отче наш слушать не хотела...

– Не ту плиту выбрал. Лежал под ней мертвец праведного толка, такие страшные привереды греховодников гонят от себя всей силой костей.

– Не пойду больше. Может статься, что на том старом заброшенном кладбище только праведники лежат.

– Да, старина даже не дальняя, не заслужила столько упрёков, как новизна наша опаскуденная.

– В мой огород камень?
– Да таких заросших огородов без тебя нагорожено ой-ой сколько...

– Ты праведница?

– Ох, милоч, спросил о чём... Наверно, за одним Всевышним грехов не сыщется... Житуха наша настроена на блуд да на пакости разные... Меня вон судьба сгорбатила: вёдра на руки вешай, да в колодец за водой иди.

– Моя душа болью выплёскивается... что делать – не знаю. Врачи какую-то мудрёную болезнь определили, говорят: раньше такой за людьми не водилось.

– На психу не тащат и то благодать.

– Взвоешь от такой удачи.

– Ты бы, Натаныч, в Колпашино съездил, перед всем людским подземным миром покайся, великое прощение вымолил... Чую – очищение придёт.

– Не раз думал об этом... Вот войну прошёл, три ранения на плоти ношу. Разве Великая Отечественная не могла омовение огнём сделать? Нетушки. Всё грозный кулачище из хлорной ямы в морду тычет. Тебе одной, как на духу, всю правду поведал. Гляжу вот в твои глаза угольные и врать не в силах. Так и выворачиваешь душу наизнанку...

– Видно, судьба твоя сразу не по той дороженьке повела: она умеет на раздорожицу выводить и пинка под зад давать, мол, катись в любую сторону света, ты мне не интересен...

Захотелось фронтовику Воробьёву сменить горькую тему разговора, спросил:

– Как продвигаются дела базарные?

– Да поторговываю помаленьку старьём. На барахолке жизнь особая: матерно-обманная, разухабистая...

В а р в а р не хотела выпускать из головы упорные мысли. Не понравился перескок в разговоре.

– Съезди, Натанушка, съезди на Обь широкую. Сходи на тот самый яр опозоренный нелюдями. Отче наш обязательно поможет... Шепчи, шепчи молитву, как заклинание... впускай слова в душу, в кровь, в сердце... Не смотри на меня, ведьму, потрёпанную жизнью, косо. Дело говорю. Не одна психушка не вылечит, пока сам себя на правёж не поставишь да очищаться не начнёшь.

– Неужели ты историю в школе когда-то преподавала?

– Два моих ученика диссертации успели защитить.

– Как ты трактовала годы страшных репрессий?

– Называла это затмением рассудка властей... Всё поняла по твоему взгляду вьедливому... да, таскали в грозный комитет, от работы отстраняли... вернули честный труд, видно золотым педагогом посчитали – не позолоченным... Хочешь спросить – горела ли я в пламени любви?

Старик нервно вздрогнул: его поразило мгновенное прочтение мыслей. Он лишился последней возможности утаить что-то от мудрой ведьмарки.

– Любила, Натанушка, до умопомрачения... не могла без заикания слова вымолвить при красавце.

Варвара решила врать напропалую, наговаривать на себя напраслину.

–... Потом внезапно прозрела, дерзить стала... когда почуяла – брюхо затяжелело – к знахарке пошла... отраву пила... спицей колола... молодая была, ещё из студенток не выломилась... куда, думаю, мне дуре, с обузой в подоле идти... вытравила... потом деточек Бог не дал...

Натан Натаныч смог быстро разоблачить враньё:

– Катерина ходит к тебе, по хозяйству живо управляется. Роднее дочери...

– Приёмная она... детдомка...

– Варвар ты, Варвар! Под мою душевную беду подпору ищешь... мол, не ты один горем бит.

Разоблачённая старушка посмотрела на постояльца пристально и загадочно.

– Прокатись на свой неродной Север, страдалец ты этакий... Покаяние – лекарь проверенный...

– Не гони, сам знаю, что делать! – вспылил фронтовик.
– Куда недопитую бутылку водки спрятала?! Сколько раз предупреждал, фронтовые сто граммов для меня – запас неприкосновенный.

– Если бы ста граммами ограничивался... Вижу, пришёл с кладбища угрюмый, думаю, одним чаем дело не кончится.

– Прости, Варвар, за срыв... не серчай на квартиросъёмщика, выгнанного сыном из благоустроенной квартиры. Не ходить же по инстанциям, не клянчить новое жильё.

– Ветеран заслуженный, орденов да медалей на полгруды... Не грех – два-три порога обить... Партейцы вон какие хоромы элитные понастроили себе.

– Да хрен с ними – дворцами краснокаменными! Нам с тобой достанется скоро по хороминке досчатой: самое уютное жильё... Тащи-тащи булылочку. Выпьем во здравие жизни.

2

На голубой тумбочке ветерана ворох лекарств. Забудет иногда какую коробочку открывать, синюю или зелёную пилюлю на свет божий выводить.

Смахнёт разом на пол всю прописанную медицинщину, плюнет на рассыпанную таблетную роскошь, ухмыльнётся:

– Олухи царя небесного! Химией не воскресишь душу...

Фронтовые, теперь тыловые нормы жидкого довольствия тоже не воскрешали радость, не длили часы и дни успокоения.

Когда-то в далёкой молодости душещипательная поэзия Есенина доставляла свежие родниковые потоки, омывала вместе с кровью израненное безответной любовью сердце. С полуостяжкой Прасковьей Саиспаевой пожилось недолго. Зашухарила со светлооким надзирателем Ярзоны, выплюнула из своего сердца Натана, как подсолнуховую шелуху изо рта. Вставил в барабан револьвера один патрон, прокрутил страшную вертушку три раза и чакнул в висок. Без гула обошла фаталисту каверзная проделка. Не стал испытывать судьбу дважды... посмотрел в патронник: на одно счастливое деление не докрутил барабан.

«Если выпала козырная карта жизни, – размышлял в нервной трясучке чикист, – значит надо дальше вертеть колесо своей истории... значит не совпали взгляды барабана револьвера с ободом житейского колеса...»

Перестал возводить водочку на царственный трон, месяца три кто-то подкачивал энергию стоицизма. Кто-то же и отказался брать надолго душу на поруки.

Радости тянулись пунктирные, а серость бытия прочерчивала линии длинные, чёрные. Служба подливала туши из чернильницы-выливайки. Никто не дарил непроливайку, не вмешивался в игру больного воображения.

В Колпашинский магазин смешанных товаров завезли гаванские сигары. Покоились они в красивых коробках под плотным целлофаном. Манили, просились в рот. Не курил по первой юности, согрешил по второй. От пробной затяжки поперхнулся удушливой гарью, раскашлялся. В горле словно водили ёжиком для чистки ламповых стёкол.

– Дьявол! Сейчас глотка взорвётся!

– Дай попробовать, – попросил однозвонник Ерёмка, заядлый курильщик.

Принялся сосать сигару, будто во рту была обычная смертная папиросочка.

– Ничего пошло, – спокойно пробасил приобский житель, – наш нарымский самосад достойнее... не чета заморскому горлодёру.

В головушке Натана стала твориться приятная кутерьма. От водки, самогона он не получал такого поразительного эффекта. В мозгах расцветали туманы, наносило пахучими ветерками. Не стал делиться с Ерёмкой золотым образцом нирваны. Затянулся ещё, сгустил туман до массы восторга.

С той поры гаванокурение превратилось в добрую поджидаемую радость. Забыл о продукции Центроспирта, перешёл на Кубинский табачный кошт.

Рай длился до появления страшных головных болей. Мозговые извилины скручивались в канат, трещали невидимые перегородки.

Пришлось сбить закупленный товар сибирячку Еремею.

– За полную цену не возьму, – заупирался конопатенький стрелок.

– Почему?

– Наш грядочный горлодёр победит гаванскую завёртку. Сбивай кому-нибудь другому кручёные сигары.

– Покупай, Ерёма, качественный товар, – убеждал раздосадованный Натан. – От твоего самосада никотин в конопушки просочился, рыжеешь от него день ото дня.

– Ладно, куплю... за треть цены...

Вспоминает сейчас чикист-ветеран этого остроносого купчика – скупая улыбка на лицо набегаёт... Потянулись стайей знакомые лица из расстрельной команды, грозная рожа коменданта... Наверно, сейчас вместе с перхотьё

последние волосёнки повылетали... Каждый на своей личной скрипочке жизнь пиликал, вышагивая за судьбой, искал свою широту счастья. «Я вот тоже искал да заплутался в широтах и меридианах... До чего дожил – недавно матёрый аферист предлагал п р и ш и т ь несговорчивого конкурента... денег пенсий на сорок хватило бы... Неужели учёный Варвар и про это ведаёт... Яга она добрая – не из сказки, из русской паршивой были... Всё в Отечестве шиворот-навыворот... трескотня трибунная даже на горошницу не сгодится...»

Фронтные-тыловые остаточки в хрустальную рюмаху вылиты. Тара сапожком... опрокидывает содержимое в рот и чудится Натану, будто болотная жижа из солдатской обутки в нутро стекает... вот такая чертовщина мерещится.

Раздумывается на досуге фронтничок, станет друзей перебирать и выходит, один молчаливый Кирюха предан всей сталью и статью – именной револьвер. Пугнул недавно замогильную шваль – до заикоты довёл. Рука не дрогнула, пулю по шевелюре пустил. Не зря значок меткача получал, сокращал зонную вшивую армию... Может, зря казнюсь, сердце режу свинцовой памятью... Служил. Задания выполнял... Разоблачили культ личности... ну и что трупам сделалось? И тем, что по учебникам истории расползлись, и тем, кто, как падаль, зарыты в Колпашинском роковом яру?! Ровным счётом ничего... Устремляясь в атаку, вместе со всеми орал: «За Родину! За Сталина!» Спит кавказец сном праведника... мы – грешники – головы ломаем, мозги насилуем...

Варвар с хитренькой улыбочкой подошла, четушечку московской на стол водрузила:

– Чую – лишней не будет.

– Красавица ты моя! Дай я тебя расцелую за это прочтение моей мысли...

Прокатилось времечко до майских деньков.
Перед обедом улыбчивая Варвара сообщила:
– На речной вокзал звонила – послезавтра первый теплоход пассажирский идёт до Каргаска...
– Наверно, каюту одноместную мне забронировала?
– И ты, оказывается, провидец! Во второй кассе работает моя давняя знакомка... билет тебе отложен.

По берегам Томи доживали свой зимне-весенний век грязные льдины.

Такого приподнятого настроения давно не испытывал фронтовик Воробьёв. Его магнитили причалы, лестницы, повеселевший речной вокзал. Вечная красавица Томь торжественно несла пока холодные воды к Оби... А там необиженная Обская Губа, матёрый океанище... Какое им дело до чьей-то изломанной судьбы, до этого вот старинного града.

Сегодня в разомлевшую душу рядового гвардейца по-прежнему текла синь небес, ломились потоки солнечной благодати.

Давно не всплывало в памяти Есенинское чародейство.

Над окошком месяц.
Под окошком ветер...

Иногда Натан Натанович запутывался в мысленном прочтении магических строк, путал местоположение месяца и ветра. Намурлыкивал: «Над окошком ветер, Под окошком месяц...» Спыхватывался, ругал себя за р о т о з е й с т в о памяти.

Сегодня он не ошибался: всё пело – душа, вода Томи, синь, солнце и даже билет первого класса, который держал в руке, как пропуск в далёкое прошлое. На время забылась

тяжкая миссия, с которой ехал в низовье – к горемычному яру.

Боялся одного – в дороге его накроет чёрное покрывало винного невождания. Он готовился к битве за трезвую голову, сознавая великую силу векового соблазна.

«Бутылку в сутки – и ша!.. неужели я, обстрелянный фрицами волк, не смогу одержать победу над зельем... над чёрной свастикой одержал... до белой горячки не докачусь...»

Случалась в судьбе эта страшная белая бестия, о которой горестно и стыдно вспоминать. Давно тот обрушной запой накрыла лавина лет, сплющила до листа копировальной бумаги... какая она белая горячка – настоящая чёрная, ядовито-аспидная. В те, подстроенные безвольем, дни не хотелось жить. Само существование представлялось нелепостью, злым наваждением.

Сегодня пассажир первого класса даже близко не подпускал налётные мысли.

Огромный теплоход венгерского производства не проявлял равнодушия к пассажирам. Прибывший из Новосибирского речного порта, он всеми окнами приглашал к себе, манил светлой тайной путешествия.

Печали прожитого витали где-то в небесной синеве, подлаживались под строй проплывающих стерильных облаков.

Появление доброй в а р в а р ш и обесцветило прежние радужные мысли.

– Думал – не приду проводить, забуду защитника...

Не ругнёшься на старушеницу за самовольство... обнял за горбик... слышал – счастье приносит дружественная операция.

–...Твоих любимых пирожков с картошкой напекла. В ресторане таких не подадут.

– Спасибо, Варварушка, огромное спасибо за доброту, заботу.

–... Ты мне стопарёк хрустальный отдай на хранение... приедешь – верну сапожок в целостности-сохранности... мало ли солдатских сапог с тобой не расставалось...

Покушение на волю сегодня не вызвало никакого озлобления. Бычок без верёвочки достал из бокового кармана завёрнутый в салфетку подаренный сувенир, протянул бывшей историчке.

– Не разбей... дорог мне... фронтовые будни напоминает.

– Навоюешься ещё, гусар... главная битва – впереди.

– О чём ты?

– На яру обском тебя ожидает встряска памяти. Чистое покаяние никогда бесследно не проходит. Тоску не нагоняю, но будь начеку...

– Не порти мне, Варвар, настроение... недавно душа пела, теперь её кашель колотит.

– Предупреждён – значит во всеоружии...

С широководной Томи наносило майским холодком. Резвый ветерок бесстыдно мял платья прогуливающих дам.

Хозяйка откочевала на барахолку, не дожидаясь посадки беспокойного постояльца.

«Ведьма! Сбила с курса радости...»

Хрустальный сапожок был для Натаныча не просто малой тарой – он служил талисманом, чуткой мерой для глотки. Не стаканом же вливать огонь в нутро.

«Зачем так беспрепятственно расстался с маломерным сосудом?»

Лёгкая тревога просочилась в сердце, летала над душой разрозненными тучами.

Свёрток с пирожками грел руку, источал аромат.

Из одноместной каюты не успел выветриться волнующий запах духов. Воробьёв жадно вдыхал их полузабытый дух. Воображение дорисовывало красивую женщину с вьющимися локонами, миниатюрной ямочкой на подбородке... Выплыла из густого тумана памяти разбитная Праска Саиспаева... какая была зажигательная особа... какие ожоги нанесла...

«Встречу бестию в Колпашине – не кивну даже... да и вряд ли узнает она меня, отшагнувшего от молодости на сто вёрст...»

Обедал в ресторане, расположенном в носовой части судна «Урал». Отсюда открывался роскошный вид на внушительный плёс, на задумчивые берега.

Официантка со следами былой красоты дважды спрашивала: «Что будем пить?»

– Чаёк-с... по возможности индийский, с лимоном.

Заказы на кофе, чай дама в накрахмаленном фартучке принимала неохотно. Какой навар с таких заказов.

Нутро фронтовика просило белого жидкого счастья, но он самолично путал карты речного бытия. Вопрос официантки: «Что будем пить?» был подвешен на волоске, и он не оборвал связующую с волей ниточку. Не раз гордился такими малыми победами, а сейчас сник, поугрюмел.

– Чего мучаешься?! – повела наступление официантка.

– Насмотрелась я на таких чаёвников да кофеманов. Сколько – двести, триста граммов... водки, коньяка?

Убийственная психология, видать, прожжённой дамочки обезоружила бойца.

– Так сколько? Чего? За отплытие минералку не пьют...

– Бутылку! Столичной!

– Вот это по-флотски! – Наклонилась над ухом, обдала табачным перегарчиком. – Икорка чёрная есть – моего посла...

– Сто граммов...

Натану Натановичу начинала нравиться открытая ветрам и чувствам разбитная бабёнка, и он подумывал – не залучить ли её под ночь в каюту. Так ловко, быстро прогнала серию жизни от чая с лимоном до бутылки водки. Ничего, что хрустальный сапожок утопал в известном направлении... рюмки хрустальные не из дальней родни – свояки крепенькие, отзывчивые на звон.

Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы...

Рыдало, звенело, пело не только в душе, но даже где-то за её пределами, в недостижимости сознания. Не за пряниками ехал на тот страшный яр. Вины за собой не чуял, война всё подчистую списала. Но всё же тяжкий груз неостывающей памяти давил, плющил остывающее сердце. «Не сам ли ты стал палачом... вывели тебя на молчаливую казнь... ни петли, ни гильотины, ни пули, а ты испытываешь животный страх перед грядущим днём, перед совестью...»

Варвар предлагала ехать при орденах, медалях. Отмахнулся от упёртой исторички. Она учила школяров по вранью учебников. Он делал историю по горькой неподкупной правде жизни... Была Ярзона... был расстрельный взвод... просверкала плачевная любовь... Всё в прошлом, как в вязкой тине...

– Раздумистый у меня клиент, – сверкнула улыбкой официантка, – на вопрос ни гу-гу. Морс на записку принести?

– Не надо... привык фронтовой ложкой занюхивать.

– Воевал что ли?.. Простите за фамильярность...
– Мне ваш тон нравится... благодарен, что от чайка с лимоном отшили. Нашу жизнь, дорогуша, без водочки не размыкать...

3

Теплоход выходил на Обь.

Повсюду сверкало царственное половодье. Казалось, вода заплёскивается за синеющий горизонт, но не чинит синеве беспокойства.

Размеренными, чёткими шагами Воробьёв вышагивал по чистой палубе, подчинив мысли раздумьям об одарённой природе. Она жила обособленно, под миром небес, распахнув себя во все сторонунки света. За уживчивой природой не числилось никакой вины... она помогала, она вела солдате по курсу, проложенному Солнцем.

Дали привораживали.

Ветер с матёрого плёса нахлёстывал по лицу, выдувал хмель.

Навстречу лёгкой походкой гимнаста вышагивал мужчина преклонного возраста. Его нельзя было отнести к разряду старичков, всё в нем являло образец неколебимости духа, мужества и жажды неунывающей жизни. Ветеран пристально взгляделся в ясные черты лица и... вздрогнул. «Не может быть... не может быть...»

Встречный пассажир прошёл мимо, взглядываясь в панораму плёса и заречья.

«Он... он... Всё та же пружинящая походка... красивый овал лица... тугие скулы... Да, но ведь с того тридцать восьмого года сорок лет с хвостиком... не может быть...»

Когда бодрый пассажир нарезал по палубе новый круг, Воробьёв на подходе неуверенно спросил:

- Сергей Иванович?
- Да...
- Горелов?
- Он самый... Пстой, пстой... Не Воробьёвым ли пахнет сия рожица.
- Ну и память у вас... стопроцентная – чекистская...
- Не хочу слышать забытое словечко...

Поздоровались без крепкого дружеского рукопожатия. Ладонь Воробьёва была влажной, рыхлой. Бывший лейтенант госбезопасности определил болезненное состояние давнего сослуживца. Лицо помятое, вкривь и вкось испещрено морщинами. Подбородок по-стариковски стал западать к кадыку.

– Вот так встреча!.. Я вас, Сергей Иванович, уважал сильнее всех особистов. Тушевался, боялся знакомство завести...

- Чего так?! Вроде не красна девица, и вы не кавалер.
- А вот не знаю... Играю в волейбол и всё боюсь мячом вас ошарашить... Какой счастливый случай выпал...
- Меня живым узреть?

– Да... так... Ведь в ы с ш а я м е р а над вами висела... Боялся, что в мою смену попадёте... Думал – себе пулю в висок пушу, чем в вас выпускать.

– Бог миловал. Перед самым расстрелом прибыла следственная комиссия. Моё дело первым в проверочный оборот пустили... Попался майор с высшей категорией совести и честности... Бо-о-ольшой разнос в комендатуре устроил... Нос у него большой шишковатый. Войну с Гитлером сильнее всех чуял... Не дал русского офицера в расход пустить... Десятью годами лагерей заменили приговор... Отбывал на Соловках, в сорок втором, тяжёлом для фронта, в штрафбат загремел... Вот такая карта жизни выпала... Вы тоже войны хватили. Я фронтовиков насквозь вижу... Пехота? Артиллерия?

- Снайперил.
- Выходит – по профессии на войну угодили.
- Будь она неладна эта профессия!
- Куда плывём?
- В Колпашино... на покаяние... А вы?
- Туда же...

Лицо Натана Натановича покраснелось. Кровь носилась по жилам стремительно. Мысли молниями просекали память.

Не рад был встрече Воробьёв. Он гнал из памяти те уплывшие далеко воспоминания. Не хотелось прорисовывать в зазеркалье гнусные события, Ярлаг, камеры смертников, снующих по полу голодных крыс.

Бывшему особисту Горелову случайная встреча на теплоходе показалась подозрительной. «Не х в о с т ли тащится за мной от Томска... Первый рейс, и вот служаки оказываются вместе... Конечная пристань Колпашино... Старик за стариком охотится... чертовщина какая-то...»

Попугчик спрашивал о шпграфбатовских атаках, но Сергей Иванович рассеял внимание на облаках-путешественниках, не вслушиваясь в занудный голос с хрипотцой. Одно облако из белого стада наливалось чернотой, готовилось обернуться смертной тучкой. Припомнились любимые строки из лирики Афанасия Фета:

Знать, долго скитаться наскуча
 Над ширью земель и морей,
 На родину тянется туча,
 Чтоб только поплакать над ней...

«Плакучие у нас ивы, берёзы... сама Родина тоже плакучая, проливающая слёзы о своих горемычных жильцах...»

– Знобить стало, пойду в каюту... – Горелов поёжился, потёр сильными ладонями крутые плечи.

– Приглашаю в ресторан. Фронтовики не могут разойтись накануне выстраданной Победы... Да и встреча какая!

– Представится ещё случай опрокинуть положенные фронтовые нормы, – прозвучал уклончивый ответ.

Давний ч и к и с т остался один – насупленный и обиженный.

«Брезгует рядового расстрельника, считай – палача...
Офицерик задрипанный...»

Предчувствовал: в душе скоро заходят буруны, потом крутые валы.

Объ разворачивала плёс за плёсом. Бесконечная вода... Бесконечные небеса. И только судьба конечна – обрывок верёвки, конец хворостины... Вот она жизнь-коротышка. «Выходит: все мои годы – кобелю под хвост... Сорок лет с человеком одной, пусть и невесёлой службы, не виделись – и на тебе! Полное пренебрежение... Задавал вопросы – ухом не повёл... Ему, видите ли, даль заречная милее фронтовика... Надо было в поездку все ордена и медали прихватить... Пусть бы поинтересовался, как не штрафбатовец такие награды заслужил...»

Если опустошение не призрак, значит, оно вживую проникало в нутро сильно обиженного человека. Давно никто не посылал в его сторону такого смачного плевка.

«Не зря не сошёлся в крепком знакомстве с офицериком-гордецом. Ишь, зазнобило его, сердечного...»

Купленный на пенсионные деньги хмель улетучился. Не придуманный озноб делал пробную пробежку по спине, по лопаткам.

Вернулся в каюту, дрожащими пальцами сорвал колпачок с бутылки, прихваченной про запас в ресторане.

– Чёрт – не старуха! – выругался громко Натан Натаныч, – вспомнив об отсутствии хрустального сапожка. – Ведь как приятно было пить из него.

Выпил из стакана неохотно, неторопко, не ощущая прежнего вкуса.

– Разбавленная, падла!..

Икра официантки не походила на осетровую. Сейчас её из нефти катают... Бурчал, зажёвывая возмущение пирожком с картошкой.

– ...Словно два дьявола разрывают меня... оба нашёптывают правильные слова, а на поверку выходит – врут...

Часто разговаривал Воробьёв с невидимым двойником. При введённых в организм градусах философские беседы длились подолгу.

– ...Возрадуетесь скоро, черти поганые... как человека не станет – вы возликуете... Вам наше земное существование не по нутру. Всё норовите своим кланом жить, деток дерьмовых в университеты пристраивать, по банкам да госконторам рассаживать... Вот что ты скажешь в своё оправдание, левый бес? Молчишь. А ты, правый? Тоже киселя в рот набрал. То-то же...

Сейчас бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман...

Эти строки из поэмы Есенина «Анна Снегина» обычно просачивались в голову в лёгком хмелю. В начальном питии проступала серебряная грань, когда желалось женщину... не хоть какую, завалющую, а оваянную вуальной тайной.

Несколько раз Воробьёв пытался выучить наизусть поэму, но дальше первой главы А н н у ш к а не пускала. Кто-то выставлял преграду лени, и Наган Наганыч не мог перешагнуть трудный рубеж.

В каюте бес справа прошептал: «Хватит!»

– Много ты понимаешь, дурак! Добреньким прикинулся, на службу в сторожа записался... Поздно! Проворонил хорошего человека... не заметил, когда он в никудышного превратился... С ним даже бывшее офицерье разговаривать не желает... Поживи-ка вот таким отверженным от общества и членов союза пенсионеров... Штрафбатовец! Мудрец хренов!

Жалюзи на окне дребезжали, постукивали, словно кто-то неуверенно просился в каюту для неприятного разговора.

«Зачем послушался ведьму, плетусь на Север неизвестно зачем... покаяние пусть грешники вымаливают... Служил органам в пределах чести и совести. Не я – кто-нибудь другой дырявил бы черепа приговорённым... Может, и невинные... Т р о й к и решали, вот пусть им и ставят двойки по поведению, хлещут по задницам звонкими розгами...»

Наползали из прошлого огненные запредельные мысли: качнулась сторожевая вышка... вздрогнул яр... кулачище из многоместной ямины опять пригрозил Нагану Нагановичу... Пугало и на фронте причиняло бойцу постоянное кровеволнение: разжатые, растопыренные пальцы душили во сне, вырывали из глотки куски мяса. На заданиях снайперская винтовка во время прицела предательски вздрагивала, будто по стволу резко щелкали пальцем... невидимый надмогильный сгусток ярости зависал над мушкой, мешал прицельному огню.

Проглотил три разноцветные таблетки, выданные доктором с у х и м п а й к о м. Лекарства давно не приносили успокоение, не оказывали лечебного эффекта. Фронтвик принимал пилюли и порошки в надежде навсегда избавиться от ночных кошмаров, дневных галлюцинаций. В глуби сознания гнездилась вера в лучшее, не хотелось разрушать собранное по пёрышку гнездо.

Позабыв запереть каюту на ключ, Воробьёв вышел на узкий простор палубы.

Ветер усилился. Обь вспенилась. Раздолье небес сократили наплывы туч.

«Встретится сейчас давний знакомец – всё выскажу кадровому офицеру госбезопасности... нельзя так унижать ветерана-гвардейца... дни победные скоро засветятся, а он от ресторанного застолья отказался... за личный счёт собирался его угостить... Дань уважения – ноша лёгкая, посильная. Чего испугался штрафник?!»

По обеим сторонам разгульной реки тянулся береговой неуют. Отвергнутые водой льдины отживали свой отведённый природой век.

Совсем не майское – муторное настроение не покидало сутулого гвардейца. Слабеющие мышцы плеч и груди часто отзывались точечной болью. Голову обносило прострелами, мучило резкими неожиданными толчками, будто её пытались вывести на орбиту, но она всячески сопротивлялась чужой воле и силе.

Верхнее давление подпрыгивало под двести пунктиков, нижнее часто переваливало за сто. Тонометр в дорогу не взял – зачем лишний и почти бесполезный груз. Стареющий человек сам всегда угадывал о переборах артериального давления по хлопьям чёрного снега в глазах, по рези пробегаемой толчками крови, по току от головокружения.

Раньше частенько помогал лекарь Есенин. Прочтёт пяток магических стихов-заклинаний – успокоится, похорошеет душа, сердце прекратит сбойный ритм, задышит нормальной пульсацией: оно прислушивалось к строкам со всей чуткостью живого существа.

Поэзия мага не потускнела с годами. Такое наваждение – точно сам стал покрываться ржавчиной лет. Ещё со времён проклятой Ярзоны она наслаивалась на

послушную судьбу. Поддали свободе пинка под зад. Пошла нараскорячку жизнь, опаскудила служба.

В кормовой части теплохода ветер был слабым: стихия обтекала судно, слегка взвихривая потоки.

Фронтовик ждал появления Горелова, испытывая жар от ожидаемой словесной дуэли... Редкие пассажиры, в основном из нефтяной и геологической братии, шумно прогуливались по открытому тоннелю могучего теплохода. С языка слетали названия нефтяных и газовых месторождений, немалые суммы заработков.

Завидовал Воробьёв этой гордой смене, не запятнавшей себя подлыми доносами, волчьей службой в НКВД. Их радость светилась на лицах... ни одного матерного слова от подгулявших парней. Росло совсем новое поколение, не ведающее страха, болезни совести... За них воевал, по-снайперски отправлял в небытие врагов...

«Ну, где ты отсиживаешься в каюте-окопе?! Выходи! Свергни вот такой же молодостью духа...»

Он искоса заглядывал в окна, пытаясь узреть беглеца...

Неожиданно потеряв к нему всякий интерес, погрузился в иные мысли.

«Криминалисты утверждают: убийц всегда тянет на места преступлений. Когда-нибудь они всё равно ступят на тропу крови... Не погнало ли меня то незаросшее чувство злодейства? Столько лет минуло, а чертополох не погулял по памяти, всё свежо, как травка молодая, сочная...»

Испугался такой параллели вывода... заглянул в зазеркалье, а там снова вышки, бараки, побрякивание гладеньких патронов, выданных для исполнения приговоров... И кулак из песка, перемешанного с известью... Запах хлорки долго держался в ноздрях. Раз над солдатским котелком – обед был вскоре после форсирования Одера – пахло сыростью Колпашинского

яра и неистребимым запахом хлорной извести. Откуда налетели дьявольские наваждения, примешались к жидковатой горошнице. Хотелось есть, но от пробки в горле не смог пропихнуть ни ложки желтоватой еды.

Ко дню Победы фронтовые воспоминания сгущались, приобретали яркие черты треклятой войны. Тягомотная жизнь разбивалась на большие блоки. Ярзона имела глубину песчано-глинистую, война бесформенную – из горластых орудий, искорёженной техники, винтовки-снайперки, мушка которой словно слилась с правым зрачком и сидит там до сих пор.

Послевоенная эпоха представляла горушку мытарств по разным конторам. Водочного зашибалу долго не держали в организациях, вежливо избавлялись от услуг. Сторожил пивные ларьки, бегал по мелким поручениям хозяев жизни. Сам себя хозяином жизни не чувствовал. Сваленная с плеч война сулила в будущем многообещающие льготы, но Родина открещивалась от наплывшей массы ратников. Подсовывала им страшненькие машины-инвалидки, гоняла на частые подтверждения полученных на войне ранений, будто нога или рука вновь успели вырасти в чудодейственном мире сплошного социализма.

Наведывались из органов, сватали в осведомители. После такого наглого, оскорбительного предложения месяца на три протрезвел, устроился дворником в военкомат, но за отдание чести потрёпанной метлой капитан обиделся и повёл наступление на обладателя уличной должности.

– Катитесь вы все, тыловые крысы, на ху...тор бабочек ловить!.. Меня сам маршал Жуков в Берлине по плечу похлопал, за мастерство снайперское похвалил...

До мельчайших подробностей помнит ту встречу. От Георгия-Победоносца коньячком дорогим попахивало, на нижней губе волдырёк красный угнезвился... Свита

хмурится, охрана волнуется, а он такой красноморденький – душа нараспашку. Улыбка на всю Победу. Мужик и мужик простой...

Далеко во времени отодвинулся тот приятный эпизод. Так далеко, что на последней встрече со школьниками рассказать о нём забыл.

Вся жизнь сжалась в ком и катится к закату...

Под вечер сморил сон. Из глубин зазеркалья полезли серые рожи привидений. Бесплотные, они просачивались сквозь потное тело фронтовика, окуривали едким вонючим дымом. Не удалось оборвать сновидение, изгнать от изголовья всю нечисть...

Возникла огромная морда стукача Горбоноса – вьедливого однозвонника. Весёлый палач хохотал полешачьи и вертел у виска синим пальцем.

Опущенные жалюзи выстукивали мелодию ветра.

Белый теплоход упирался на обских водах во всю дизельную пруть.

В двухместной каюте штрафбатовца Горелова оживление. Суетилась красивая раскосенькая дама, расставляя на столике бутылочное пиво, портвейн. Появилась связочка жирных ельцов, баночка чёрной икры, запечённая в фольге курица.

– Лучше ресторана!

– Подтверждаю! – улыбнулся Сергей Иванович и, подойдя сзади, нежно втиснул в ладони не засупоненные в лифчик ещё тугие груди.

Полина замерла в стойке приятного ожидания. Повернув голову, подставила некрашенные губы для поцелуя.

– Хорошо побыть чужой женой хотя бы на одну командировку... так что выкладывайся на полную катушку,

кандидат исторических наук, оправдывай святое звание любовника.

– Ох, Полька, без прибауточек не можешь.

– Ночи не дождусь... С кем это ты по палубе вышагивал?

– Сослуживец далёкий...

– Чего не пригласил?

– А он нам нужен?!

– И то верно...

Дама польско-украинских путаных кровей Полина Юрьевна недавно перешагнула за пятидесятую параллель жизни. «Вот и шестой десяток распочала, – рассуждала она, – а радости секса стороной обходят... постытина в постели... привычный надоедливый ритуал сношения... фи, словечко какое придумали...»

Учёному Горелову отдалась со всей отвагой пыла и страсти. В годах мужичок, а что вытворял на интимных простынях съемной квартиры! Точно не было никогда нудистики семейной жизни с помощником районного прокурора.

Она имела красоту не броскую, но притягательную и многообещающую наедине. Зажигательным взглядом бросала мужчинам дерзкий вызов пыла. Горелов однажды заметил:

– Поля, твоим взором можно копну сена поджечь.

– Зачем постель сжигать – копна для утех пригодится.

Похотливость Полины часто пресекал лысеющий муж, ругал в спальне матерными словами, окончательно убивая в тугом теле женщины зов интима. Её нельзя было отнести к разряду блудливых особ, она отличалась серьёзным выбором объекта предназначения: так выражалась сметливая полячка-гордячка.

– Расскажи ещё раз, Серёженька, как тебя крысы от расстрела спасли.

– Крысы от крыс спасли меня. Один госбезопасник Пиоттух стоил всего крысиного расплода. Ему комендант предлагал сменить фамилию на Петухова, он Орловым стал... Крысам я, действительно, благодарен. Пиоттух-Орлов пока искал пластинку с маршем «Прощание славянки» – меня не расстреливали... И вот патефон приготовили, марш появился, а крысы ночью пластинку сгрызли... Пока новую искали – следственная комиссия нагрянула... высшую меру на десяточку заменили...

– Судьба забавляется человеком по усмотрению времени и обстоятельств.

– Ворошить, Полечка, моё бывшее тяжело... Ты когда-нибудь нюхала аромат вскрытой силосной траншеи?

– Не доводилось.

– Парфюм на всю деревню.

4

Нотка мучения дребезжала в душе Горелова. Зачем так неожиданно оборвал встречу. «Выходит – на бабу променял давнего сослуживца... плохо подумал о фронтовике. Какой он стукач?!»

Май окрашивался не только в красные цвета. Вместительная душа примешала и тёмный колер неожиданной встречи.

Запах вяленой рыбы перешибал в каюте струи французских духов.

Блаженная Полина, рассыпав по подушке белокурые пышных волос, улыбалась во сне.

Лёгкое запоздалое раскаяние выпало в осадок дум. Хотелось плыть одному, но у этой похотливой бестии неожиданно выгорела недельная командировка в Колпашино. Будет инспектировать какую-то контору. Она стояла на грани развода, заранее забрасывала удочку в залив

его одиночества. Даже под страхом смертной казни он не пойдёт на сближение душ... на тесное сближение тел подтолкнул ехидный бес – они наловчились подстраивать разные фокусы, проникая не только в слабое ребро.

За жизнь Сергей Иванович успел перемотаться эпидемией ревности, теперь не хотел повторения пройденных исторических ошибок.

Ему попадались на тропах любви женщины р а з н ы х п о р о д. Одних недооценивал, других наделял массой несуществующих достоинств, пока не обжигался от какой-нибудь вместительной сковородки.

Попадались такие откровенные дамочки, словно считали Сергея верной подружкой, которой можно выбалтывать всё подряд.

Разбитная Полина несколько раз внушала:

– Ты, Серж, в предыдущей жизни был женщиной голубых кровей... из знатного рода...

– Кто же кровь поменял?

– Никто. Она такой же осталась... С тобой приятно говорить о сексе – высшем проявлении постельной мудрости... Ты готов жертвовать ради женщины своими чувствами пыла... это мы ценим...

– Кем же ты была до реинкарнации?

– Обыкновенной шлюхой. Я перешла вверх на три ступени развития. Этим закончилось моё космическое преобразование...

«Последняя встреча с ней... последняя... вампирша... всё высасывает... даже душа мелеть стала...»

Попугчица открыла для разведки правый с чернинкой глаз, оценивающе посмотрела на любовника:

– Иди, иди ко мне!

Собирался тихонько выйти из каюты, бегство не удалось.

– Голова разболелась... пойду прогуляюсь, освежусь...

– Устал, рысак?! Подниму пары, взвеселю без кнута.

Не отвечая на издёвку, Горелов распахнул дверь.

– Не долго броди... ты мне нужен...

«Последняя встреча... не ласки стали – сплошная каторга... вот ненасытная особа...»

Огни на Оби весело перемигивались.

Осколочные, пулевые ранения отозвались на холод по всему радиусу разброса. Фронтовик ощущал, что шрамы реагировали и на болезненное состояние души.

Сказать в Томске решительное **н е т** постеснялся и вот за эту слабость расплачивался гнетущими мыслями. Заканчивалась эйфория постельного сближения, начинался анализ рассудка. Всё дальнейшее казалось мелочным, ненужным, лишним. Слишком дорогая расплата за дешёвое увеселение. Вспомнил слова какого-то классика: «Секс без любви – проституция.» Какая может быть любовь пусть и к смазливой, стукнутой ненормальной страстью женщине запущенной молодости?! Блуд по разновидностям можно делить на много категорий. Не знал, под какую статью можно подвести вот это воровское путешествие на Север... Тут еще **ч и к и с т** подвернулся – свидетель зверств Ярзоны...

В эту тревожную ночь кошмары мучили Воробьёва беспрестанно. Вздрагивая, просыпался в поту, но неумолимый распорядитель сна тащил его в пучину, где мерзостные существа вытворяли что хотели, злодействовали во всю шабашную прыть. Винные пары в голове являлись для них самой подходящей средой обитания. Натан Натаныч, как на мутном экране, видел резвую нечисть, не в силах изгнать её из потустороннего мирка прилипчивого сновидения.

На трезвую голову ему часто удавалось пресекать бесчинства бесплотных тварей, но теперь они дорвались в отведённой нише мозга до полной, безнаказанной вакханалии.

Хрип и стон человека озвучивали немые бесчинства бесов. Несколько раз сильно стучали в тонкую перегородку, тишины не прибавлялось: истязатели не хотели отступать от завоёванной вольницы.

Теплоход брал широкие воды сильным дизельным измором.

Ночь тянулась беззвёздной. Небо куталось в тучи. Огни бакенов и створных знаков словно посылали сигналы бедствия...

В Колпашино у Варвары жила двоюродная сестра. Предупреждённая по телефону, Октябрина ждала гостя. Улица Железного Феликса отиралась неподалёку от изгибистого яра, угрожающего строениям и огородам ненадёжностью грунта. Обь ежегодно шла в надвиг, отваливая пласт за пластом от крутого берега.

Несколько лет подряд Октябрина выставляла брусовой домишко на продажу, но ушлые земляки не покупали его даже за малую цену. «Яр даром возьмёт, – говорили горожане, – сочувственно поглядывая на растерянную женщину, – дом проще разобрать да перевезти от греха подальше...»

Кому разбирать? Кому перевозить? Семь годков как мужа похоронила. Деточки по Северам разбежались, чёрное золото лопатой гребут.

Варвара зовёт, говорит: сольём две старости в одну – веселье будет.

Навязала вот своего постояльца... приюти денька на три... фронтовичок телом и душой не крепок, обиходи его, покорми хорошенько.

С порога не понравился гость. Октябрина научилась распознавать местных виношников с первого зырка. Этот под первую статью алкашей подходит. Морда красно-бурая, взгляд просящий, болезненный, в глазах зов: дай опохмелиться...

Поборов в себе первую брезгливость, залепетала:

– Проходи, гостенёк, проходи... вот сюда сумку поставь... вот тапочки...

– Как вас по отчеству – Октябрина чеевна?

– Да я, милоч, уже и забыла чеевна я... кажется, Петровна.

– Приютите, дорогая Октябрина Петровна, бравого солдата войны... не стесню, не обижу, не объем...

«Обходительный, однако, фронтовик, вежливый...»

– Вы в Колпашине перед войной не жили?..

От Варвары узнала о страничке биографии постояльца, но решила блеснуть проницательностью, сильной памятью.

– Был и жил.

– То-то смотрю черты лица знакомы... Не сотрудником НКВД служили?

– А вы, Октябрина... свет Петровна, наверно, в береговой агентуре были? Такую осведомлённость только от Варвары можно получить.

Разоблачённая хозяйка не сдавалась:

– Истинно говорю – лицо ваше на яру видела много раз... кожанка на вас ладно сидела... В комендатуре полы мыла несколько раз, так ваши охальники под юбку лапищи запускали...

После кошмарной ночи фронтового снайпера мутило. Головная боль не отступилась, будто шла подвижка мозговых тектонических плит.

– Можно, хозяйюшка, крепкого чая?

– Водочки не желаете?

– В моей сумке такого добра полно. Не позволю вам тратиться на моё главное лекарство.

После третьего стакана крепчайшего чая высокая боль отступила, но дала о себе знать низкая – сердце обмолачивали усердными цепями. Обиженное, оно рвалось наружу.

– Приму валидол и в постель...

– Видок у вас – краше в гроб кладут.

– Ночь была гнетущая. К грозе, что ли, погоду тянет...

– Раны на непогоду отзывчивы... чай, и контузии случались?

– Всего хватало...

Пошатываясь, держась за грудь обеими руками, гость побрёл к широкой кровати.

– Может, скорую вызвать?

– Не надо... «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым...»

Последние слова Октябрина приняла за бредовые и покачала седой головушкой.

Спал без сновидений в провальном пуху большой подушки.

Не мешал шум дизеля, успокаивающая тишина просторной горницы действовала расслабляюще, как в незапамятные времена истлевшего детства.

Спал на спине с похрапыванием и короткими всхлипами.

Крупный дымчатый кот ходил около кровати, верхним чутьём проверял воздух. Винный дух, исходящий от спящего, настораживал пушистого сибиряка. Прыжок вверх дался легко. Долго обнюхивал грудь, пока не улёгся над больным сердцем фронтовика. Во весь кошачий талант замурлыкал не сразу, раскладывая приятный голос по знакомым нотам. Когда запел – горница наполнилась сказочными волновыми мелодиями.

– Умница! – похвалила от стола хозяйка, – лечи, лечи, добрая душа.

Добродушный намурлыкивал лечебную песню мастерски, даже спящий стал придерживать дыхание, вслушиваясь в потустороннее исполнение певца.

Часа три безмятежного сна вернули силы, наполнили энергией жизни. Давно Натан Натаныч не испытывал подобного ощущения бытия.

Кот глядел на него дружелюбно, тёрся об ноги, выписывая восьмёрки.

– Какой красавец! – восхитился гость и взял на руки тёплое мохнатое существо.

Существо не сопротивлялось, оно ждало благодарности от мягкого голоса и широких ладоней.

Довольная Октябрина видела семейную идиллию, улыбалась.

– Дымок – идеальный кот... часть моей души... угорела однажды сильно, чуть Богу душеньку не отдала, так он будил меня, будил, руки исцарапал, но всё же на улицу – на свежий воздух вывел. Спас меня, Дымок, спас. Памятник надо таким рыцарям ставить... Ваше сердце перестало болеть?

– Облегчение полное.

– Лекаря благодарите. Долго на вашей груди боль в себя перекачивал... Мой котик – доктор участковый: с соседних улиц на сеансы лечебные берут. Кто сердцем, кто печенью, кто радикулитом мается... выручает... Вы ему колбаски докторской купите... любит шельмец подношение...

В хорошем расположении духа вышел на крыльцо пациент Дымка. Доктор не отставал, вышагивая рядом, задевая правую ногу пушистым хвостом.

– До магазина будет преследовать, вымогатель. Он слышал мои слова о колбасе... не отстанет...

– Дымок золотой, будет тебе угощение. Докторскую, если хочешь полтавскую колбасу получишь. А сейчас, мой спаситель, на яр сходим. С таким настроением покаяние вымолить легко. Ты – мудрый, учёный кот. Продала бы тебя хозяйка, да где там. Легче с домишком расстанется, чем с тобой.

За сорок лет Обь изрядно сократила территорию бывшей Ярзоны. Воробьёв не узнавал обрисовку пространства, заставленного добротными домами. Высокие крашенные заборы мешали ориентироваться.

Дымок жалобно мяукал, хватал за шганину острыми когтями. Ему не нравилось левое направление, ведущее к яру. Вправо знакомая улица вела к центру, к магазинам, к желанному угощению.

– Да что с тобой, доктор?!

Дымок указывал головой курс от яра. В мяуканье слышались нотки кошачьего недовольства.

– Убиваешься, сердечный, из-за простой колбасы. В Томске она стоит два двадцать, здесь подороже. Ну и что?! Куплю кило, наедемся от пуза.

Завиднелась Обь во всей шири плёса и затопленного заречья.

Подступила горечь содеянного на этом пятачке вздыбленной суши.

«Где же вышки сторожевые стояли?.. Боже, время не отдалило коварные годы... так и выпирает отовсюду позорное правдоподобие...»

Яр сильнее выгнулся вовнутрь: время, напористая вода сгорбатели его, проточили овраги.

Было страшно подходить близко к кромке: земля под ногами плющилась, пружинила мшистой подушкой.

Дымок отстал. Он не переставал жалобно, назойливо мяукать. На спине взъерошилась шерсть. Кот передними лапами рыл песок, по-собачьи разбрасывая его по сторонам.

Что-то непривычное, странное было в поведении дымчатого существа, недавно спасшего ветерана от сердечного приступа. Видно, не одна докторская колбаса отпечаталась в голове участкового лекаря.

Дикое мяуканье мешало настроиться на «Отче наш», на исповедальные слова.

Вспомнил вышку Ярлага, резкую встряску земли под скрипучими сосновыми столбами. «Не кровь тогда взбунтовалась... не мертвецы расшатывали твердь... это яр проявлял слабинку, шевелил спёкшиеся за века глыбы песка и глины...»

Кот принялся выпускать урчащие рулады. Отступая от яра, он звал за собой бестолкового человека, который так долго не может понять кошачий язык. И всё же пришло запоздалое озарение. Метровым прыжком Натан Натаныч покинул опасную зону, оттолкнул от себя большой пласт яра. Земля просела, серая глыба медленно поползла к воде.

Дымок встал на задние лапы, оборвал нудный крик.

– Ах, я старый дурак! Не мог сразу догадаться о причине кошачьего беспокойства... не о колбасе – о жизни шла речь...

Глыба уходила в распростёртые объятия воды. За спиной образовалась новая трещина... ещё одна. Кто-то начал распарывать яр на песчаные лоскутья...

Обиженный Дымок короткими перебежками направился домой. Его перестали интересовать колбаса, знакомец, чудом не ушедший под яр.

Переживший на войне всякие потрясения, Воробьёв пребывал сейчас в странном ощущении нереальности. Добрые ангелы поднимали над злосчастным местом его плоть или оболочку? Может, душа по забывчивости, с некоторым опозданием покидала бранные пределы и влекла за собой в путь своего обладателя.

Прихлынувшая к лицу кровь собиралась прорваться жаром плазмы.

«Что происходит?! Везде срыв перед покаянием, после произнесённых слов «Отче наш» возникают сомнения, как на заброшенном кладбище под Томском, или опасность, как вот здесь – на берегу Оби... Неужели Господу Богу и земле не нужны мои пустые слова позднего раскаянья?.. Они отвергают молитвы...»

Ощущение лёгкого надземного полёта прошло, тело налилось свинцовой тяжестью. Брёл наугад. Его сторонились прохожие. Дворняга, поджав хвост, прижалась к забору, понарошку тявкнула и жалобно заскулила.

Какие волны страха могли идти от человека, не успевшего покаяться на отвесном яру? Он знал: под толщей спрессованного песка лежат вповалку мертвецы, кого ч и к и с т ы из расстрельного взвода отправили из социалистического мира в мир иной – глухой и вечный.

«Зачем вышагнул из опасности? Скатился бы с глыбой до воды, песок утопил бы в Оби, как самую распоследнюю паршивую суку... Не могу больше носить в себе тяжкую мерзость...»

Подошла стайка пионеров, конопатенькая девочка отдала салют, протянула разрисованную в классе открытку:

– Вы воевали? С днём Победы, дорогой товарищ!

Взял машинально, без слов благодарности продолжил путь.

Из центральной части городка доносилась музыка, слышалась барабанная дробь. Ребяшня салютовала из поджигов – хлёсткие выстрелы вынудили вспомнить о наградном оружии, о ярких штыковых атаках, о фронтовой, почти всегда пригорелой каше.

Мужики у продмага соображали на троих. Кадыкастый воевода в замызганной шляпе обрадовался появлению недостающего собутыльника:

– Кадра, третьим будешь?
Ветеран молча протянул червонец.
– Гляди-ка – какой фарт! Упитья можно... Я мигом...
– Колбасы докторской кило возьми, – напутствовал ветеран.

– Может – «собачьей радости», она дешевле.
– Какую сказал – такую бери.
– Понял!.. Всё понял, командир!

Пили неподалёку от речного вокзала. Ветерану нужна была хоть какая кампания. Надо было облечь одиночество не в траур – в красный цвет праздника.

Три бутылки кислого вермута, колбаса, купленная для кота, исчезли с поразительным ускорением.

Кадыкастый икал, хлопал по плечу фронтовика:

– Батя, я тебя сразу раскусил – боевых кровей мужик.

Верно?

– Почти.

Вино не разожгло душу пламенем даже небольшой радости.

Случайные сотоварищи ждали финансового вспоможения. Дал им пятёрку и стал подниматься по взвозу в пределы городка.

5

Долго искал улицу Железного Феликса, домишко Октябрины. Если бы не Дымок у калитки – прошёл мимо давно крашенного зелёного забора.

Принёс полную сетку продуктов, бутылку шампанского для хозяйки.

Позабыв старую обиду, Дымок опять исполнял у ног извечный кошачий танец. Он чуял докторскую колбасу, наверно, за версту.

– Ох, бесстыдник ты этакий!.. Будет тебе мясоед – вон какая бомбочка в целлофановой обёртке...

Хозяйка радовалась богатому гостинцу, возвращению гостя.

– А я, Петровна, чуть под яр не свалился.

– Как так? – всплеснула руками Октябрина.

– А вот так – подошёл близко к обрыву, земля и потекла из-под ног.

– Там не только земля исчезает – трупы ныряют... Изверги! Нашли место, где бесправных зарывать... не хоронить по-христиански, а именно зарывать. Городок наш опозорили поганцы из НКВД...

– Меня снова Дымок спас – так мяукал, так отзывал от крутяра! В последние доли секунды сообразил – бежать надо.

– Он мудрец! – похвалила любимца хозяйка, нарезая ломтиками фирменную колбасу. – На, спаситель, на... заслужил...

– Трупы перехоранивают?

– О, родненький! Кому до них есть дело... Вода спадёт, иногда черепа на песке валяются. Ребятня гоняет костяной футбол, и что им школьные уроки о патриотизме, о героическом прошлом страны.

– И не героического прошлого хватало.

– О нём умалчивать любят... как будто массовых расстрелов не было, баржи с обречёнными в Оби не топили.

– Разве было такое?

– Всякое говорят, – испуганно ответила хозяйка, мысленно поругав себя за излишнюю болтливость. – Переключив внимание на пушистого любимца, разулыбалась:

– А Васька наш слушает да ест... видно, к празднику свежую колбасу завезли...

От пережитого на яру волнения сердце фронтовика перекачивало кровь сбойно: грудь то ощущала толчки, то замирала в тревожном ожидании.

«Вот и победный день наступил, а в душе полное поражение... Время не лечит, оно маскирует боль под толщей пережитого... детушки черепами играют на песке... всплывают в памяти народной затопленные баржи с заключёнными... трудно верится в домыслы... про Назинский остров смерти страшные легенды ходят... Господи, да что это за власть на Русь навалилась... её Есенин воспевал, боготворил, а главари мифического коммунизма кровушкой заливают...»

– Ветеран, чего грусть по лицу разлил? Али не светлый праздник сегодня?!

– Октябринушка, муторно на душе – спасу нет. Лучше бы не ходил на мёртвый яр, не ворошил былое...

– Не убивайся, соколик. К жизни и к смерти надо относиться спокойно, как к делу, не нами решённому. Вот через три двора живёт алкаш по прозвищу Губошлёп. Этому гаврику всё трын-трава. Отобрал на берегу Оби у ребят череп, дымокур в нём развёл. Начнёт жар загасать, он прочистит палочкой дырку от карательной пули, раскачает череп на проволоке, как кадило церковное, ждёт появления дыма... Сорок один годок пробежал с тридцать восьмого лихолетья – былём-будыльём всё проросло... Не казись, что в палаческой организации службу нёс... Вы все слепые котята были... вас НКВД ослепило...

– Говори, говори...облегчи душу...

– У меня девять классов образования да три академии народных, но в делах житейских и политических кое-что смыслю. Люди в стране – тьфу! Ничего не значат, ничего не стоят. Новые берии не каждый год вызревают. А вылупится вдруг какой из дикого яйца – чины-прихлебатели вознесут

его до небес, на пустую демократию не посмотрят... Вот тебе и вся политграмота жизни...

– Наливай, мудрый политик!

– Шампанское открывать не умею: вдруг пробка контузию сделает.

Сидели, застольничали два ветерана – войны и труда. Дымок объелся лакомого кушанья, с лентой отвалил от личного блюда.

Гирька стареньких ходиков вытягивала из времени чёткие секунды.

В разгар пира появился мужичок в камуфляжном костюме, принёс крупных, ещё живых карасей.

Протянув Воробьёву широкую ладонь с пятнышками чешуи, весело представился:

– Васька – сосед... Он же Губошлёп... он же алкаш высшей категории.

Бесцеремонно налив рюмку водки, выдохнув старый перегар, пояснил:

– Мы с Красным Октябрём на правах родни... За Победу, кума! За Победу, гость...

Ветерану понравился разбитной земляк. Было в нём много бесшабашности, задора, житейской отваги.

Вскоре водочка развязала последний узелок на языке. Вася пролистал целую энциклопедию про рыбалку, охоту и непутёвых баб-с. Вдруг вспомнив важное, пробасил:

– Чё на Оби деется – ужась! Обрушился яр с мертвецами... трупы, как после бомбёжки плывут... военных нагнали, территорию оцепили... Я раньше корешам говорил: добром дело не кончится, вода доберётся до правды...

– Васюта, расскажи всё по порядку.

Обеспокоенная Красный Октябрь сама налила повествователю полстакана «столичной».

– То и говорю: все проделки НКВД разом высветились... Подъезжаю на мотолодке к яру, смотрю – какая-то палка торчит из песка... разглядел ближе, а это рука с зажатым кулаком мне грозит... сухенькая такая, но ощеренная... Вдруг как отпадет от крути тонн двести грунта, а там, а там мертвецы вперемешку... не совсем до воды сползли, а как бы в нерешительности остановились... кому охота тонуть даже мёртвым...

– Дальше что? – торопила Октябрина.

– Дай, кума, водке по глотке разлиться – словами закусывать не привык... ты карасей в воду холодную опусти, дня два живые будут...

– Вот, непутёвый! Тут трагедия людская, он про рыбу талдычит.

– Трагедь не сегодня произошла... Её НКВД сочинили и на яру поставили.

– Это мы знаем.

– Ну, сегодня я первым зрителем был... Нарезаю круги у берега. Дюралька аж дрожит от негодования... На высоте откуда-то военные появились, мне машут, мол, проваливай отсюда... вижу – автоматы в руках... наверно, с парада всем гамузом сюда припёрлись... какой-то старшой целит в меня... думаю – полоснёт сейчас, первого очевидца уничтожит... помчался к своему причалу... и вот я здесь... Пойду карасей водой залью...

Не проронив ни слова за время пересказа события, Натан Натаныч встал и пошёл за повеселевшим рыбаком.

– Василий, неужели ты кулак разглядел?

– Вроде внушительный был... успел отсыреть в подземелье...

Губы у Василия просились навыворот, глаза слезились.

Рассказ о воскресшем кулаке подействовал на фронтовика панически. Не находил себе места, суетился около рыбака, выпытывал подробности:

– Разбух, говоришь, отсырел кулачище?

– Может и мезью налился... разберись сейчас... сорок лет на волю рвался... Обь задаст жару мертвецам. Раньше по одному-два трупа с яра скидывала, нынче, по всему виду, до главной ямы добралась. – Иди, наливай по полному стакану, останки помянем.

– Людей помянем, – осердилась на Губошлёпа Октябрина.

– Были люди, а сейчас – кости на блюде.

– Эх, сосед ты мой ненаглядный, разве так о земляках-страдальцах рассуждают?

– Красный Октябрь, слезливую философию разводить не надо... Конечно, рабу под мечом гладиатора погибнуть приятнее, чем от пули НКВД... Кому какой фарт выпадет...

Издав музыкальным наплывом цедились победные марши.

В дверь громко постучали.

– Вваливайся! – гаркнул Василий.

– Не командуй! – приструнила хозяйка.

Появился щупленький мужик в добротном шевиотовом костюме, поздоровался.

– Привет, Ефим! – ответил за всех рыбаков в камуфляже. – Садись, гостем будешь.

– Вась, я к тебе. Некоторых владельцев дюралек в спешном порядке приглашают на пристань. Ты в их числе.

– Зачем понадобился?

– Я к тебе на квартиру, сказали, у Октябрины, – замяная конкретный ответ, схитрил Ефим.

– Не юли, конторская душа!

– ЧП на Оби... обрушение яра...

– Нуу?

– ...Вроде как трупы до воды сползли...

– А мы, значит, их на лодки будем собирать, свозить на берег для перезахоронения?

– Наверно, – соврал конторщик, – поглядывая на водку.

Мудрая Октябрина перехватила взгляд, пригласила к столу.

– Спасибо, спешу. Мне ещё адресов восемь оббегать надо. – Артистично опрокинул поданную хозяйкой рюмаху. – Так ты, Вася, без опоздания. По ящику водки на рыло обещают...

Такой калым устраивал владельца дюралевой лодки.

– Слава Богу, – перекрестилась Октябрина после ухода деловых мужиков, – хоть по-христиански, с почестями захоронят.

Беседа с гостем разладилась. Сидел насупленный, отрешённый от праздника и застолья. События дня толклись мошкаррой, кусали, зудили душу.

– Вы прилягте, отдохните. – Хозяйка взбила подушку, погладила наволочку. – Дымок дожидается... он успокоит, сон намурлычит...

«Какое роковое совпадение...»

Кулак, торчащий из яра, лишал покоя и сна. Натан Натаныч глазел в потолок, отлавливая разрозненные мысли, пуская их по руслу недавнего события... Вся жизнь представилась никчемной, пустой и в этом бытейском вакууме скапливалась гарь сплошных огорчений, обид и тревог. Никогда не понимал – кто вёл ч и к и с т а и фронтowego снайпера по стезе судьбы. Годы обрушились, как Обской яр. Чей-то пропитанный хлорной известью кулачище опять пригрозил с густо побелённого потолка. Полетел над кроватью лепесток отшелушенной извёстки, будто кулак сбил её и нацелил на давнего служку расстрельного взвода.

Сытый Дымок опять лежал над сердцем. Мурлыка успокаивал, лечил, услаждал слух, но теперь его лекарские способности улетучились, напев потерял магизм. Боли не проходили, настырными буравами ввинчивались в плоть.

Праздник выливался в панихиду.

«И почему э т о случилось в мой приезд?.. Мне не нравится такая разновидность мести... Выходит – дуэль с жизнью заканчивается не моей победой... Дуэль с судьбой тоже... Есенин, помоги... где твои пластыри для души, микстуры для сердца?»

Стал придрёмывать... над постелью закачался череп с дымокуром... скалил зубы Васька и по-лешачьи хохотал на всю горницу...

Трупы покоились на песке, на самой вершине песчаного скола. Обь пребывала в раздумье: поглотить их или оставить людям для окончательного мудрого решения.

М у д р е ц ы из обкома партии, слегка напуганные праздничным выкрутасом великой реки, обзванивали просторные кабинеты столицы. Они ждали ЦУ от главного партийного руководства, от КГБ, запамятавав второпях, что дни впереди праздничные и мягкие кресла пустуют. Пришлось прибегнуть к а в а р и й н о й – прямой дачной, квартирной связи.

А груз ответственности был не велик. П е р в ы й из гуманного соображения мог дать распоряжение о перезахоронении останков. Никто бы не посмел снести голову, поднятую во имя добра и справедливости.

К скверному замыслу пришла трусливая верхушечная рать.

Выпадал удобный случай покаяться за бесчинства сорокалетней давности, за подлые делишки убийственного наркомата.

Главная партия страны не нашла в себе духа чести и совести. Комитет государственной безопасности услужливо обезопасил её от непозорного поступка покаяния... Вот бы когда заговорить во весь голос о бесчинствах наднародной структуры, укрытой под грифами с о в е р ш е н н о с е к р е т н о , д л я с л у ж е б н о г о п о л ь з о в а н и я .

Никто не задумывался – почему народ выламывается из-под пригляда власти, почему ежовщина, бериевщина, науськанная партийным кланом ЦК, бесчинствует на просторах Великой Руси.

Заокеанскому оевропеенному меньшинству было на руку палачество, кипевшее в застенках НКВД. Агентурные данные из страны Советов были самые утешительные: дух нации сломлен, народ отброшен в эпоху крепостного права.

Проявить бы местное геройство партийному лидеру Фигачёву, послать на Север успокоительную депешу: «Останки перезахоронить в братской могиле.» Так нет. Заручившись поддержкой Москвы, отдал категоричный приказ сокрыть останки в глубинах Оби...

На пристани галдела группа лодочников. Почти все навеселе. Градусы сделали земляков хайластыми, жуткое событие на Оби – возбуждёнными.

Чиновник, сколачивающий артель, подстраивался под общий развязный тон:

– Земляки! С праздником всех! Правда, праздничек сегодня омрачён. Обь вывела на свет божий давних врагов народа... тут и колчаковцы, и дезертиры, и предатели Родины... Поступил приказ: кости утопить... И то, что им лежать в земле. Только наш яр позорят... Сейчас подъедет «Беларусь» с тракторной тележкой. Разберёте груз – траки, цепи, арматуру, другое железное ломьё и по моторам... Будет, будет водка, – глядя в сторону Губошлёпа, –

подтвердил распорядитель, – за такую непыльную работёнку – по ящику водки...каждому.

– Можно и по два, – увеличил запрос Васька, одёргивая на себе мятый камуфляж, – дело-то опасное... вдруг сам с грузом за мертвецом нырнёшь.

– Тебе ли о технике безопасности говорить, – перебил организатор необычной артели, – самолёвы ставишь – перетяги с грузом, как орешки, из дюралки мечешь.

– То искусство особое – рыбацкое...

– Не хочешь – в сторону.

– Сразу в сторону... торопыга какой...

Считая вопрос о вознаграждении законченным, чиновник городского масштаба сообщил:

– На помощь несколько катеров связи подойдут с таким же заданием.

– Заданьеце больно щекотливое, – не унимался хмельной Васька. – Какие тут в яру враги народа?! Наше общее быдло... раскулаченные, краснолампасники из казаков...

– Всё, философ! – озлился партиец. – От выполнения важного задания отстранён.

– Он прав!..

– Наш брат – народ униженный...

– Кошунство – топить земляков после первой несправедливой кары...

Галдёж нарастал. Плевались. Размахивали руками.

Общее возмущение грозило перейти в полный отказ.

Срыв партийного задания мог обернуться для розовощекого малого строгим выговором.

– Мужики! Верьте на слово – ваши враги лежат сейчас под яром. Не расстреляй их в конце тридцатых годов, может быть, и вас на белом свете не было. Шла великая драчка за страну, за свободу народа...

– Хватит агитки разводить! – резко оборвал словесную нудистику неуёмный Губошлёп. – Последнее слово артельной братвы: по два ящика водки за почти военную операцию...

– По полтора ящика!

– Торг неуместен... По два! И чтоб «особая московская» была. Заданьце-то из столицы поступило... крепкое, почти стоградусное...

– Хорошо, – сдался руковод артели, – по два, так по два.

– Расписку пиши... партийное слово хлипкое...

– Ох, Васька, Васька! Рано тебя по досрочному пункту из тюрьмы выпустили.

– Ничего не рано. В самый раз. Иначе меня в этой ватаге не было бы.

Получив письменное подтверждение о двух ящиках «особой московской», Губошлёп крикнул:

– По моторам!

– Погоди, лётчик! Вон трактор бежит. В каждую лодку по багру, по мотку проволоки...

– Всё предусмотрело начальство! – похвалил х и м и к прораба затопления трупов. – А фронтные сто грамм будут перед операцией?

– После окилограммишься...

Объ внимательно прислушивалась к болтовне, но ничегошеньки не понимала...

Обновлённые воды медлили, не торопились пустить серую глыбину грунта с трупами в свободное плавание. Объ ждала от людей божественных действий, проявляла глубокое сочувствие к горошке обнажённых костей.

В отдалении от яра металась старушка в серой жакетке, причитала:

– Там... под яром мой муж Каллистрат... по носкам шерстяным узнала... люди добрые, помогите извлечь... он в кладбищенском покое нуждается... носки-то не сопрели... вязала – по верху пустила восемь рядочков крашеной шерсти...

– Нюра, перестань убиваться, – успокаивали земляки.

Подвыпивший верзила громко отсморкался в кулак:

– Чего реветь?! Столько лет носки мужика в земле грели...

– ...Тянуло меня ко кромочке яра, – не услышав кощунственных слов, продолжала голосить сибирячка, – подползла на коленках, глянула – обмерла... глядит на меня Каллистратушка пустыми глазами... узнаёт...

– Рехнулась баба!..

– Извлекут – похоронишь по-людски...

– ... Печником работал, – вела воспоминания Нюра, – отказался бесплатно очаг рыжему комендатурщику мастерить...

– За такую провинку не наградят пулей...

– Контрой, поди, был, – язвил верзилистый.

– Сам ты бандюга! – пошла в наступление Нюра, – зенки залил и ржешь. Чужое горе – не твоё... Помогли достать убиенного – пенсии не пожалею...

Г л а в а ш е с т а я

1

Городок бурлил.

Куда-то неслась пожарная машина с включённой басистой сиреной, хотя вокруг ни дыма, ни огня.

Прогрохотал «Беларусь» с прицепной тракторной тележкой. Железяки подпрыгивали на ухабистых местах, рождая совсем не праздничные звуки.

Важно вышагивал пионер-горнист, посверкивая начищенной музыкой.

Изредка он проигрывал весёлый марш, синие глазёнки наливались радостью и маем.

Молодые горланили песни. У дворов перебрёхивались дворняги.

Отстучала колёсами телега, загруженная баграми.

На пристани – столпотворение.

Военные отгесняли зевак, но их не уменьшалось.

– Товарищи, расходитесь! Не театр тут...

– Конечно не театр – цирк!..

– Что с трупами будет?..

– Прошёл слух – угопят...

– Столица, Томск решат... Оттуда виднее...

– Нет, виднее отсюда, – резко перебил служивого

Горелов.

– Кто таков?!

– Историк... кандидат наук...

– Плохо историю знаешь... С предателями не цацкаются... В яру была зарыта всякая сибирская сволочь.

– Враньё!

– Документы предъявите... Вот – серьёзный человек, учёный... ветеран... Ведёте себя по-школярски... против власти народной агитируете... ступайте в горком партии, там правоту доказывайте... мы при исполнении...

Розовощёкая любовница стояла рядом, теребила Сержа за рукав. Полину раздражала перепалка на берегу.

– Тебе что – больше всех надо? Офицер-то не виновен... – Чуть не выпалила: «Кто на службе в НКВД был в период массовых расстрелов?»

– Дама дело говорит, – похвалил капитан. Ему показалось: смазливая грудастая особа подмигнула тем многообещающим сигналом, который успели выработать за жизнь похотливые самки.

Подогретая вином и недогретая за постельную встречу с Сержем, Полина бесстыдно таращилась на капитана, посверкивающего погонями с двумя одинаковыми созвездиями. Аккуратная скобочка чёрных усов, взгляд бурной молодости, словно отполированные щёки, широкие разлётные плечи влекли умудрённую женщину в глубокий омут вожделений. Она не пыталась скрыть засвеченных чувств. Серж не видел её развязной манеры поведения, раскрытой тайны.

– Горелов, пойдём в гостиницу... ведь праздник... что нам какая-то трупная чехарда...

Они устроились по брони в одноместных номерах городской гостиницы.

Тяготила кандидата наук весьма пылкая особа. Был не рад её постельной ненасытности, частым грубым замечаниям. Вот и недавно вклинилась в серьёзный разговор с исполнителем чужой злой воли.

– Кто тебя просил, Поля, встречать в нашу перепалку?

– Подумаешь... скажи спасибо – от яра увела. Забрали бы тебя до выяснения... Ты сейчас для них – никто... могли помешать нашей поездке...

– Успели помешать... нарушили движение мыслей, ход истории.

– Почему гвардейским званием не козырнул?

– И штрафблатом тоже... напомнить, что до войны по глупому приговору т р о й к и на Соловках лямку тюремную тянул... не биография – идиллия.

– Серж, ты же все грехи подчистую списал...

– Не было на мне грехов. Какое прегрешение, если за рабский народ заступился? Вот оно доказательство – под яром Обским.

– «А по краям-то всё косточки русские», – блеснула литературными познаниями Полина.

– Не знаю, что предпринять. Если Москва, КГБ распорядились устроить вторую казнь – трупы затопят... будут защищать честь окровавленных мундиров.

– Дорогой, дались тебе эти кости...

– Это люди... память...

– У нас после войны останков в землях и водах – за три века не сыскать.

– Тоже наплевательское отношение к воинам...

– Тоошно!

Учёный испытующе посмотрел на обуюнную похоть чиновницу и впервые склонился к мысли, что пустое и вульгарное в ней перебивает достоинства. Она зазывала его в номер требовательно, рассчитывая на полную безотказность. Даже горничная с приготовленным для уборки пылесосом насторожилась, укоризненно посмотрела на телесатую даму.

Любовник бунтовал. Праздник и трагедия слились сегодня в пёстрый ком. Плоть не отзывалась даже мизерным чувством на порывистость Поля.

Оползень с трупами заслонил не только белый свет, но даже кровавый цвет Победы.

«Слишком громко, необдуманно заявил недавно не было на мне грехов... Комендатура, Ярзона, сотрудники, надзиратели, вышкари, стрелки – все не безгрешны, на всех лежит многослойная вина... Приказы можно исполнять слепо, но искусственная слепота не спасает от наказания... Интересно – где отирается расстрельник Воробьёв?»

Захотелось увидеть обиженного ветерана, поговорить по старым душам. Что обиделся на теплоходе снайпер – Горелов не сомневался.

Забыв о Полине, вышел на гостиничное крыльцо, огляделся.

Суеты не ощущалось. Празднично одетые горожане вышагивали по улицам без привычной деловитости. Весёлая мальчугня, настроив хлопушки, салютовала маю и Победе.

Не чувствовал за собой историк телепатических способностей, но неожиданная встреча с фронтовиком, о котором недавно вспоминал, заставила поверить в особое течение мыслей.

К гостинице бравой солдатской походкой шёл снайпер-гвардеец.

Молча поздоровались. Немо, крепко обнялись во весь запах рук и фронтовых душ.

Несколько секунд изучающе смотрели друг на друга, прощая все обиды и недоразумения.

Фронтовое братство сибиряков перечёркивало фальшивое, наносное. Пустозвонство и раньше не было присуще людям искренним, но ранимым временем и обстоятельствами.

Сразу перешли на ты. Сразу зарделись улыбки.

– С нашей Победой, Сергей!

– С общей Победой, Натан!.. Минут пять назад вспоминал о тебе... хотел встречи...

– А я-то как хотел! На теплоходе собирался отыскать, солдатскую обиду высказать... сейчас расцеловать готов... Слышал, что на яру творится?

– Даже видел со стороны... Разубеждал капитана, просил отказаться от коварного замысла. Неужели и впрямь в Обь сплавят?!

– Совесть не дрогнет... Вот если бы сами жители города бунт подняли, взяли перезахоронение в свои мозолистые руки... Повозмущается народец, поматерится да и махнёт рукой: «Пусть власти разбираются!»

– У партии убойная сила... Вроде за годы преступной власти килу успели набить, всё не унимаются цэкашники.

Насторожился Горелов, словно мыслями поперхнулся. Опять засверлило:

«Кто передо мной? Боевой товарищ? Стукач? Раньше я от него таких откровений не слышал...»

– Пойдём-ка, Натан, наши фронтовые выпьем.

– И я припас. Карасей с лапоть прихватил – ох и брюхатые икрой.

Постучали, вошли в номер Полины.

– Вот мой фронтовичок, о котором говорил тебе.

– Очень, очень приятно... варёной рыбой запахло!

Три разложенные на фольге карася подтвердили крупное звание.

По номеру разлился аромат искусно приготовленной карасятины. Где-то под потолком теснились волнышки французских духов, но струи, исходящие от икряного чуда, подпирали их к самой потолочной голубоватой краске. Наконец, вытеснили совсем, владычествуя полностью над пространством уютной комнаты.

– Ну, герои, с полем!

Она умела править любой кампанией и законно наслаждалась покорённой волей участников пиров.

– Вы что – однополчане? – повела наступление на память Полина.

Штрафбатовец подмигнул снайперу: мол, не выдавай тайну.

– Да, в одном гвардейском полку служили, – провёл Горелов первую стёжку вранья.

– Чудеса! Штрафники и гвардейцы!

– Мы и первой, и пятой кровью смывали несуществующий позор, – помогал наводить историческую справку Натан.

– Страшно было? – Женщина усердно выковыривала вилкой икру из карася.

– Первые три года, – улыбнулся Сергей.

– А потом? – не задумываясь над абсурдностью вопроса, серьёзно спросила дама.

– Потом, как по маслу пошло, – улыбнулся Натан, – до Берлина не ползком добирались.

Фронтовики держали на приколе думки о яре. Знала бы любопытница, какими фронтовыми товарищами были застольники перед большой войной на войне малой – внутренней.

Там, на Оби – жертвы, павшие не за Отечество. Они падалью свалены в яр по прихоти отъявленных врагов трудового народа.

Трактат о его вековой жертвенности перерабатывался историком по ходу следования безостановочных лет. Факты давили почти неподъемным грузом. В другой стране человек с аналитическим мышлением мог свободно пробить брешь в бастионе событий. Не страшась наказания, преследования и даже репрессий, провёл бы по истории социализма не красную – чёрную линию неприятия российской действительности...

Учёный отрешенно смотрел куда-то в жуткую даль отмерших событий. Что-то спрашивала Полина, что-то отвечал ч и к и с т – снайпер.

– Серж, что с тобой? Переходишь в параллельный мир?

– Жуй, жуй икру... разговор во время еды – удар по пищеварению.

С улицы доносилась бравурная музыка, её прорывал девичий визг, приглушал рассыпчатый смех парней.

– Гвардейцы, не унывать! Или не ваш день сегодня?

– Наш, наш! – Натан встал размять раненую ногу. Прошёлся до двери, обратно.

– На танцы тянет? – донимала Полина.- Кавалер, приглашай даму.

Поднялась, встала в позу ожидающей невесты.

– Извините... не могу... нога от ранения подсекается...

– Серж, замени однополчанина.

– В другой раз. Исторический момент не подходящий.

– Мне что – со стороны искать танцора?

– Иди, ищи! – разозлился учёный.

Его раздражала напускная весёлость, назойливость женщины, так скоро забывшей о бесчеловечности властей, готовых подвергнуть трупы второму насильственному уничтожению.

– Фи! Какая скука!

Снайпер предложил пройти по городку. Он чувствовал себя виновным, третьим лишним.

Фронтовики дружно направились к двери.

– Мужики! Вы чё?! Ну, ладно – фронтовое братство святое, но разве можно меня бросать?

Ноги невольно шагали к пристани, к яру.

Военных и шустряков в штатском заметно прибавилось.

Оцепление начиналось на верхней точке спуска к речному вокзалу.

Троицу не пропустили, потребовав специальные пропуска.

– Вы что из трагедии военную тайну делаете? – геройски спросила Полина. Она сейчас отважилась сверкнуть доблестью. Пусть знают однополчане, что не они одни Победу делали.

– Нельзя... говорят нельзя...

Сержант грубовато отстранил воительницу.

– Позови капитана!

– Вы его знаете? – сбив спесь, поинтересовался розовощёкий юнец.

– Я и генералов знаю, – врала напропалую подогретая вином чиновница.

– Не велено... не положено... мы при исполнении...

Фронтовики знали о силе приказа, поэтому молча повернули в сторону омытого первым дождём городка.

– Вы что меня не поддержали? – напустилась на молчаливых бойцов героиня недавней схватки с безусым сержантом.

– Мы подумали, – усмехнулся Сергей, – что ты с генералами и... маршалами знаешься... куда нам, рядовым, соваться в цепь охраны.

– Втроём мы бы пробрили брешь.

– Зачем? – спросил равнодушно Натан Натаныч. – Мы плывущих трупов на войне насмотрелись... здесь их аккуратненько, со всеми водными почестями приберут... на каждый скелет груз и путешествуй мешок с костями в придонных водах до Обской Губы, может, и до Северного Ледовитого...

– Варвары! Вот варвары! – кипела неуёмная дама.

– Вот теперь ты мне нравишься, – обнимая за плечи, похвалил учёный. – Когда выплёскивается непритворное негодование, человек молодеет. Кровь особую очистку проходит.

– Тогда она успела очиститься за годы правления крикливой показушной власти...

Нравилось Горелову вот такое уд а р н о е восприятие почти коммунистической действительности. Полина черпала энергию историка. Была очарована смелостью идей учёного, его упорством в отстаивании неколебимых позиций. Его затаскивали в партию на крепком аркане убеждений. Стоило аналитику истории вспомнить грехи малые и великие р у л е в о г о, его к у р с ы, протащившие

страну по рифам – отпадала всякая охота даже говорить на упёртую тему. По его прямой наводке не вступила в ряды и Поля.

Оглянувшись на растянутую цепь солдат, Горелов увидел парня, защищающего свой фотоаппарат. Сержант его вырывал, а плечистый малый в фетровой шляпе тянул к себе.

Подбежал на выручку ефрейтор, завёл фотографу руки за спину.

Вытащив и засветив плёнку, служивый с широкими лычками на погонах вернул фотоаппарат владельцу.

– Беззаконие! – негодовал парень.

– Снимать запрещено...

– Концлагерь что ли на плёнку попал?

Чертыхаясь, юноша нехотя потащился по широкому взвозу.

– Опуцели вояки! – Полина развела безнадёжно руки.

– Ни посмотри. Ни пофотографируй.

Вдруг из охранной цепи, сильно жестикулируя, вышел знакомый снайпера Натана. Васька был без меры возбуждён, выдыхал тягучее ээxxx! Увидев квартиранта Октябрины, обрадовался. Ускорив шаги, подошёл, точно к родственнику.

– Рассказать всё начистоту?.. Значит так... Пригласили нас, лодочников, трупы... топить... По два ящика водяры – цена расплаты... Согласился по-глупу... Как увидел оскаленных мертвецов,дохнул хлорки – блевотина полилась... Старшой орёт: «Стаскивайте из-под яра, вяжите, цепляйте груз».

Отблевался, говорю: «Братцы, вы как хотите, а я на эту военную операцию не пойду...» И дёрю! Пропади она пропадом, водочка трупная! Думали, что потомственный алкаш Васька Глухарь без их паршивой водки не

обойдётся... Дюральку черти конфисковали временно: горючки сожгут много. Там место водобойное...

Выслушали откровение Васи молча.

С любопытством и почтением посмотрел Горелов на потомственного водкаря. Понравился мужичок в камуфляже. Чистотой, верой в дух русский веяло от него.

Штрафбатовец задумал подкузьмить:

– Два ящика водки – не шутка. Сорок бутылок всё же. Двадцать литров. Не жалко?

Не отвечая на такой пустой вопрос, Губошлёп с возгласом: «Вот им!» согнул в локте правую руку и показал жест, известный на всех широтах мира. Натан крикнул. Полина стыдливо отвела взгляд от грубого, но выразительного рукоположения.

– Мужики, вижу, что вы фронтовых кровей – сотворите на бутылочку... Карасями рассчитаюсь...

Порывшись в сумочке, Полина извлекла драгоценную бумажку. Женщина поняла, кто изливает перед ними душу.

– Будете поставлять к столу императрицы Полины таких же икрных карасей.

Васька галантно поклонился:

– Царица небесная! Я вам таких пузанов наловлю – сковородки оконфузятся от малого размера.

Токуя слова счастья, Глухарь заспешил в магазин.

– Вот я о чём подумал сейчас, – начал, словно лекцию, учёный. – Оказывается, люд наш русский не только по капле умеет выдавливать из себя раба, а целыми литрами. Вот вам живой пример противления злу. Молодец, рыбак! Наш, нарымский мужик!

– Мой сосед! – с чувством гордости дополнил снайпер. – Снимаю комнату у одной замечательной горожанки.

– Перебирайся в гостиницу, – предложил Горелов.

– Там у меня личный доктор Дымок.

– Интересная фамилия...

– Императрица Полина, умный дымчатый кот меня от сердечного приступа спас. Хозяйку от угара...

О походе на яр, о внезапном обрушении земли промолчал. Не та ли огромная глыба расшевелила мертвецов, обнажила поленницу костей? Натан Натаныч не раз задавал себе жёсткий вопрос. Вот во что вылилось неосуществлённое покаяние...

По взвозу поднимался сутулый, будто невменяемый мужичок. Отплёвываясь, бормотал что-то и качал головой из стороны в сторону.

– Товарищ, вам плохо? – царица небесная сочувственно посмотрела на прохожего.

– Мне-то не так плохо, землячка, а вот у них – махнул рукой прохожий в сторону яра – ни стыда, ни совести, ни чести... КГБ все паскудные замашки у НКВД перенял. И то: ворон ворону глаз не выклюет...

– Вы что – т а м побывали? У трупов?

– Побывал, дамочка, побывал... Тут Васька Глухарь не проходил?.. В форме зелёной – под чёрта таёжного. Молодец! Первый дёру дал.

– Вы от яра как ошпаренные несётесь... За водкой кореш побежал... хочет принять для очищения души, – прояснил береговую ситуацию Горелов. – Трупы топят?

– Стали топить, когда по третьему ящику водки пообещали... Страх божий! Никогда бы не подумал, что у мертвецов самый пристальный взгляд... Стали мы баграми кости с яра сдёргивать – гул по земле пошёл... недовольство... Меня кто-то невидимый по руке долбанул, прошипел над ухом: кощщщщунство!

Страх нагнал на горожанина волну словесную. Забыл о Глухаре, о тридцати литрах напрочь потерянной сорокаградусной жидкости. Ему хотелось выговориться, излить тряские впечатления:

– Сцапал я багром одного горемыку...рубаху на нём истлела...какая-то наколка – синюшная рожа сверкнула...

Подёрнул плечами шпрафбатовец, икнул. «Не надзиратель Кувалда под крюк багра угодил? Только у Тюремной Хари в Ярзоне была наколка в полный размер головы вождя...»

– Оплетаю проволокой труп, груз прилаживаю... старшой орёт: «По два, по три предателя в сцепку берите, а то траков не хватит...» Действую машинально... чую: сон дурной, но не прогонишь... утопил пару, базлаю бригадиру: «хочу в туалет... по густому... мочи нет...» Ну и освободился от каторги...

– Неужели так страшны кости?

– Кости, дамочка, не страшны, когда они кучкой... вот трупы с руками, ногами, черепами – другое дело... казалось тот, что с рожей синей, сейчас тебя за горло схватит и закричит: «Кто тебе, подлец, разрешил руки распускать?»

Словоохотливый потоптался на склоне и, махнув отрешённо рукой, лунатично побрёл от удивлённой троицы.

По взвозу металась раскосмаченная старушка. Подковыляла к приезжим из Томска:

– Милаи... вижу вы – не нашенские... приезжие... видать, начальники... помогите мово Каллистратушку из-под яра извлечь... узнала его... в носках моих вязаных лежит... всех прошу – никто горюшку не поможет...

Снайпер-гвардеец скрежетнул зубами. Горелов отвёл от старушки рассеянный взгляд. Полина нежно положила руки на плечи Нюры. Да, это была она, потерявшая мужа в тридцать восьмом и нашедшая в семьдесят девятом...

Растерянные томичи никогда не испытывали такого беспомощного состояния. Всё свершалось по чужой дикой воле, и они в три умных головы не могли ничего придумать, чтобы облегчить участь обеспокоенной христианки.

Историку Горелову лезли в голову старые мысли об опричнине, о временах инквизиции, о разгуле ощерившихся на Русь татарах, монголах, псов-рыцарей и прочей нечисти, охочей до великих границ.

– Что же это такое? – вопрошал Натан Натаныч и тонул в тине вопроса.

2

Вечерело. В преддверии белых ночей природа готовилась положиться на долгий спасительный свет. За Обью гуртились тучи. Взволнованный закат не предвещал тихой ночи.

Проводив парочку до гостиницы, снайпер побрёл к уютному пристанищу. Он выцеливал взором названия береговых улиц, отыскивая пространство Железного Феликса... Давно сгинул ярый страж революции, а дело его живёт и даже процветает не только по городам и весям Сибири... улицы свои заимел, колхозы... одной бронзы на памятники Ильичу и Эдмундовичу ушли несчитанные тонны.

Идёт, размышляет ветеран о превратностях судеб... клоочет душа... сердце захлёбывается жаркой кровью... Вот сегодня всех ткнули носами в дерьмо, указали на дверь новейшей истории... Интересно, какое негодование кипит в жилах учёного, которого прогнали сквозь штрафбатовский строй с социалистической направленностью... Приехал собирать материал для докторской диссертации... Хочет тот зонный клин выбить новым, более весомым... сюрпризец подоспел аховый: обрушение яра...

Заждалась Октябрина гостя. Несколько раз выходила с Дымком за ворота.

Заявился пьяный Губошлёп, надерзил соседке. Швырял щепки несвязных слов, тыкал в небо согнутой рукой: «Вот вам, гады! Хотели на Ваське Глухаре прокатиться!.. Я вам не шакал – столяр пятого разряда...»

Дипломатия у Октябрины отточенная – долбанула по затылку, домой отправила. Сегодня потомственный алкаш показался женщине агрессивным, невменяемым. После подзатыльника, не сказав ни слова, отправился до припасённой браги. Затрещина даже понравилась Ваське, точно соседка разом сняла с него лодочный грех.

– Вон гулеван наш. Видишь, Дымок?

Степенный сибиряк на правах старого друга оказался у ног гостя, принялся накручивать кошачьи восьмёрки.

– Задержался вот... давнего товарища встретил. – В голосе гостя прозвучали нотки раскаяния.

Снова цепко, оценивающе Октябрина обозрела квартиранта, не обнаружив глубоких следов опьянения.

– Варвара звонила из Томска – кучу поздравлений насыпала.

– Вы обе – добрые, сердечные...

– На кого и за что злиться? Человек, что дерево, если гниль в себе завёл – дело пропащее.

Глубоко задумался фронтовик над этим житейским выводом. Кодовое слово г н и л ь задело за живое, проникло в самую сердцевину плоти. Вон она откуда трухлявина – из юности, из волчьей должности... А кто тебя гнал в ч и к и с т ы? Спросил двойника, а пальцем в лоб ткнул себя, да так сильно, что ноготь зарубку оставил.

В церковь для полного раскаяния его не тянуло. Он не верил попам с их заученной обрядностью, обильным молитвословием. Рясники представляли особую культовую касту, которая занимается чужими оробелыми душами по

совместительству. Он рифмовал приход и доход, находя в слиянии совсем не тайный смысл.

Выйти на площадь, бухнуться в ноги толпе? Да лучше исповедаться Дымку, чем отдавать людскому скопищу душу на растерзание. Не поймёт. Не простит. Растерзать может. Толпа всегда ждёт жертвоприношение... малой кровью не обходится...

Перед Есениным винился, и не раз. Падал перед портретом на колени, как на духу выкладывал сомнения и тревоги. Во свидетели мук призывал и Господа, но его вечное тягостное молчание всегда обескураживало. Певец земли Рязанской говорил с Натаном стихами, пропитывал образами, освещал раскидистой лучевой аурой. Осуждал. Корил. Выравнивал курс. Наставлял. Поддерживал... Наука поэта не имела озлобления. Её волновая сила распространялась на все закоулки души. Помогала на войне. Вселяла уверенность в буднях. Она отвела от второй попытки покончить счёты с жизнью...

Перед трупами тоже не оправдаешься.

«Не душа ли самостоятельно должна совершить внутренний обряд покаяния? Перед лицом сердца. Перед всеми прожитыми годами?.. Душе одной блуждать по мирам...она будет твоим посланцем после тленья... Очисти душу от скверны, которая наслоилась по роковой случайности...»

Внушал себе Натан Натаныч мысли, выверенные добрыми чувствами, не надеясь на их исполнение. Кто-то перехватывал благие порывы, разносил их в клочья. Слишком коварен и мстителен был двойник-подселенец. Обличьем – полное зеркальное отражение, но поступки перенял от стаи бесов. Каким пламенем выжечь расквартированную в тебе нечисть? Помогала мудрая Варвара, но и её опыта, подручных средств не хватило для

изгнания замаскированной сущности. Вот ведь тварь – тонюсенькая оболочка, а силу какую набрала!

Они стояли у калитки, не решаясь покидать мир северного вечера.

Глядели в сторону яра, где целый день разворачивалась многоактная драма.

Ветер-свежак гнал по улице Железного Феликса скомканную газету. Мелькали две крупные буквы ПР. Фронтоник догадался, что бумажное перекаати-поле – «Правда».

Кот мяукал не просяще. Он, наверно, осилил не всю докторскую колбасу.

– Что в городе о мертвецах говорят?

– Много говорят, хозяюшка, и всё хорошее. В отличие от живых.

– Неужто топят? Приходила поплакаться Нюра. Мужа по носкам нашла. Я её Калистрата знала. Тихой был мужичок... в каком-то заговоре обвинили... Кто в Ярзону попадал – тот оттуда не возвращался.

– Василий, ваш сосед, плюнул на обещанную водку, не стал кости тревожить.

– Вот так Губошлёп! А я ему недавно оплеуху дала. Извинюсь. За такой подвиг бутылочку выставлю.

– Он вернулся?

– Прошёл пьяной, бормочет что-то несурзное.

– От волнения пережитого.

– Да и как, гостенёк дорогой, не печалиться – этакое позорище устроили. Васёк наш – рыбак со стажем. Рассказывал: несколько раз кости человечьи на самолёв попадали. Тянешь, говорит, перетягу в надежде стерлядку, осетрёнка вытащить, а на крючке... нога в ботинке стоптанном... Значит и раньше Обь под мертвецов подкапывалась. Не хочется нашей реченьке такой берег

униженный иметь... Ты голодный? Пойдём, ухой накормлю, пирогами с осердием.

– Ничто в горло не полезет. Разве водочки.

– Вот под ущицу и налью.

Ушли в избу.

Вскоре вернулся молчаливый Василий с черепом под мышкой. Октябрина удивилась быстрому протрезвлению соседа.

Кот издал злобное мяуканье.

Фронтовик-снайпер схватился за сердце.

Хозяйка пробку от шампанского швырнула в Губошлёпа:

– Изыди, нечистая сила!.. Свят-свят-свят...

– Чего трухнула, старая? Кость ведь.

Щелкнув для пущей убедительности по черепу, вышел во двор, водрузил на штакетину.

Вернулся с довольной рожей, хотел подсесть к столу.

– Уходи, Васька, от греха подальше!

Негодующая Октябрина не находила себе места.

– Чего я такого сделал?! – Потомственный алкаш тарачился на испуганную знакомку, на опешившего гостя.
– Хошь знать – я покаялся перед черепом...простил он меня... да, дурак был, кощунствовал, дымокурил в нём... раза два всего... он даже прогореть не успел...

– Уходи, говорю, уходи! – не унималась старушка. – Уноси ноги и череп...

– Хозяюшка, может, простим грешника, – заступился Натан Натаныч. – Трупы топить не стал. Раскаялся.

Вспомнив о благородном поступке Васьки, о напрасной затрещине, Октябрина задумалась, не проронив ни слова.

Священное молчание было истолковано соседом знаком прощения.

Дымок, запрыгнув на колени фронтовика, стал тереться головой о руку, приложенную к сердцу. Догадался убраться. Обрадованный кот замурлыкал, более энергично заутюжил мордочкой болезненное место. Высунув от усердия язычок, облизывал тёплую клетчатую рубашку: огонёк языка постепенно испепелял боль.

Наблюдая за священнодействием своего любимца, Октябрина укорила шалопаю:

– Чуть до инфаркта человека не довёл...

– Да человек войну прошёл, крови и трупов повидал – на сто яров хватит. Сейчас по фронтовой дозе примем – нервные клетки реставрируем. Сегодня я, Красный Октябрь, человеком стал... точно всю накопленную дурь выжгло. Отвесила мне оплеуху у ворот – благодарствую. Отказался во имя чести от халявной водяры – тоже пойдёт в зачёт непугёвой судьбы...

– Заговорил красно, – удивлённо качнула головой хозяйка. – К чему бы?

– Жизнь наша – копейка, с каким рублём её слить – нам решать.

– Ты, артист, зубы не заговаривай... Зачем череп приволок?

– Хочу с умным человеком, – посмотрел на Воробьёва, – идейку важную обговорить.

– Какую? – Фронтовика всё больше интересовал чудаковатый типик нарымского производства.

– Вот сейчас перетопят всех расстрелянных и сброшенных в яр энкавэдэшниками. А мы череп с дыркой от пули захороним прилюдно и объявим: м о г и л а н е и з в е с т н о г о з э к а... Поклонение будет, память сохраним...

– Баламут ты районного масштаба! – Октябрина сдёрнула цветастый платок, отмахнулась от соседа, как от шершня. – Да кто тебе позволит изгаляться над черепом?

Закоптил его, опозорил дымокуром и собираешься на посмешище выставить.

– Ты не права, Красный Октябрь. В м о г и л е неизвестного с о л д а т а тоже косточки безымянные, а Вечный Огонь горит. На поклон даже нынешние царедворцы приходят...

– Сравнил тоже.

– Идея твоя, Василий, заслуживает внимания, – поддержал фронтовой снайпер...

– Ну вот! – не дав договорить, возликовал сосед.

– ... Задумка хорошая, только если перезахоронить те обвальные трупы. Но власти не позволят. Им надо вышвырнуть из истории позорные страницы, чёрную память.

– Вот мы и напомним...

– Поздно, друг... Паровоз революции промчался мимо всеобщей правды, окутал просторы дымом лжи.

– Ну, вот что, умники! Без вашей фронтовой водочки не обойтись. И мои мысли наперекосяк пошли.

Кот не спрыгивал с колен сердечника, тёрся и тёрся о ноющую грудь.

Губошлёп к столу подлетел мигом. Фронтовик от выпивки отказался.

– Давай, Красный Октябрь, выпьем за помин душ... они сейчас, бедные, над яром вьются, оплакивают горемык.

– Думаешь, прилетят?

– У них транзит вечный...

Глубинная боль отлегла от сердца. Воробьёву не верилось в её дальний уход: где-нибудь да притаилась, выжидает удобный момент.

Захмелевший философ ушёл. Когда вышагивал за порог, Октябрина перекрестила его с глубоким вздохом.

Через минуту, когда остыл след, заметила:

– Земляк честный, добросовестный. И в огороде поможет. И рыбой пойманной поделится... Беда – сезон трезвый недолго длится.

– На какие шиши пьёт?

– Самой дивно: заработки – шиш, а рублишки водятся... Воровать?! Ни-ни... Он скорее портки на чепушку обменяет... по кражам не мастак. Такой грех за Васькой не водится. Выклянчить у имущих на опохмел может – тут он политик партийный.

От забавного словосочетания гость улыбнулся.

Ходики били по мозгам размеренными ударами.

Часы усердно отчитывались за сумбур сегодняшнего дня.

Катилось бестолковое время, которое для дальнейшей судьбы фронтовика Воробьёва было лишним, незачётным сроком. Волны меланхолии вздымались выше, дыбились до пика отчаянья.

«Почему не свалился под яр вместе с трупами, припудренными хлоркой? Потом в Обь? Один конец, но не беспамятный расчёт самоубийцы, а естественный, подстроенный мудрой природой... Стихийное бедствие... наказание звёзд...»

Пробьёт сердце искра неложной тревоги, опомнится.

«Чего казнишься, солдат? Кто постоянно мутит твою вроде отстоявшуюся совесть? В чём вина твоя, стрелок?.. Да, дырявил головы по приказам НКВД... воля стреноженной была... Знаю: память не примет оправдания. Она полна жути Ярзоны, гильз, из которых вылетала смерть... всплывают потушенные взгляды обречённых, смирение и непогасшая злоба... Не казни меня, мозг, приютивший невзрачную память... Каждая буква из спайки НКВД хлещет по совести, стреляет в сердце... Снайпер, тебя оправдала война, победа...»

Грудь налилась жёсткой болью. Мозг испытывал напряжение.

Отгонял прочь неласковые воспоминания, они с прежней настырностью взламывали запоры воли.

Темь давно подобралась к окнам, тихо владычила не только на улице Железного Феликса.

Хозяйка тихонько пошевеливала в картонной коробке картошку для посадки. Зеленоватые ростки давно проклюнулись, радовали огородницу нарымской настырностью.

Самодовольный котяра уплетал колбасу, урча от усердия и благодати.

– Приятного аппетита, Дымок!

– Ммрр...

Вразумительный толковый ответ понравился фронтовику. Он нежно погладил дорогого врачевателя, пообещал купить завтра свежей докторской. Побрызгав семенную картошку рассеянным изо рта дождиком, Октябрина предостерегла:

– Не перекармите пузана – от мышей отречётся.

– Профессию не забывает?

– Ооо! Когда в настроении и охоте – добычу на крыльце рядком кладёт. У него азарт на мышей спортивный.

От пышной перины тянуло пуховой духотой. Струила стойкое тепло протопленная печь. Поддавала жару топка ходиков.

Гость снова уместился на спине. Тут же Дымок занял привычную оборону над сердцем. По всему выходило – его лечение было рассчитано не на один сеанс. Натан Натаныч полностью уверовал в лекарские способности заядлого мышелова.

Пожелав спокойной ночи, потушив свет, хозяйка ушла в смежную комнату.

Уснул под струйное мурлыканье кота.

Тьма часто предьявляла фронтовику неоспоримый чёрный счёт. Засыпал он, просыпался несговорчивый двойник-подселенец, выводил на подмогу мерзкие сущности: они обливали густой мутью сновидений. Тело невольно вздрагивало... просыпался, включая гремучий счётчик памяти. Подселенец передавал гнусные полномочия нечисти. Они тешились вволюшку.

Пациент не уследил – когда Дымок закончил врачебную вахту. В области сердца – затишье боли. Грудь не подвергалась прострелам.

Откуда выплыл коварный надмогильный кулачище – проследить не удалось. Он вроде просочился со стороны Оби через закрытую форточку. Медленно надвигался к широкой деревянной кровати, осыпая комнату бледным фосфорическим светом.

Гвардеец был тёртым атеистом, не верил подстроенной чертовщине. Даже не удосужился произнести заклинание. Было любопытно видеть сжатый в кулак светящийся сгусток.

Не впервой длилась молчаливая дуэль с упёртым лунным пугалом... Вот оно изготовило из указательного пальца револьверный ствол, целилось довольно метко... ждал появления пули... Вдруг кулак смастерил крупную фигу. Кукиш настырно ввинчивался в пространство комнаты, приближался к изголовью.

«Даже креститься не буду... взглядом убью...»

Кулак не тускнел, не уменьшался. Мертвенный свет окутывал в тайну нереальности.

«Пльви, пльви, гад, – встречу... в окопах, госпиталях не такую нечисть видел...»

Лунная полуплоть разжала пальцы, немного поразминала их, слила в кулак и гневно погрозила.

Угасала с лёгким потрескиванием. Очевидец мог поклясться: ощутил запах грозового электричества.

Случалось и раньше: в мозгу вспыхивали плазмойды с горошину, пытались покинуть теснину черепа. Может, этой ночью им удалось вылететь, слиться в кулак и устроить представление?

«Дался тебе, Натан, этот чёртов сгусток в форме сжатых пальцев... Ты его с молодости залучил в мозг... он пророс светом, выскакивает когда хочет... Шалишь! Не из трусливых!»

Выбрался из омута перины. Пошатываясь, подошёл к окну. Новое наваждение: в стороне обрушенного яра выбивались фосфорические лучи, слегка подсвечивали низкие тучи. Приходилось раньше видеть радостный свет северного сияния – радужный, переливчатый, с энергетикой счастья. Эти переливчатые потоки сочили скорбь, земля неохотно расставалась с унылыми крестообразными лучами.

« Не оттуда ли прилетел кулак?»

Мысли расклинивали воспалённую голову. Казалось – виски трещат и скоро не выдержат чугунного натиска.

Догадывался Воробьёв: подступает его закоренелая редкая болезнь, название которой не придумали доктора.

«Редкое психическое расстройство, – уклончиво объясняли они, – мозг нежданно-негаданно устраивает самосуд над памятью и духом... Мозг ведь – космос: не знаешь, какие метеориты налетят на тебя...»

Такое исчерпывающее объяснение злило ветерана войны. Выходит, его лечили, не зная истории болезни. Халатными белохалатниками называл их больной, смахивая в палате с тумбочки всё таблеточное разноцветье.

Пуганое объяснение приобретённого за жизнь душевного расстройства не устраивало пациента. Врачи подумывали положить пожилого человека на обследование в психбольницу. От одной мысли их покачивало в ординаторской. Гвардеец от такого известия мог прикончить у т к о й любого психопровидца.

Однажды простая медсестра объяснила доходчиво:

– Вычитала в медицинском журнале: от подобной болезни можно вылечиться в Англии, Израиле... дорогостоящие лекарства... специальная разработанная методика... галлюцинации можно приглушить, но полностью из подсознания не прогнать...

– Чего ни хвати, всё в зарубежье кати, – спокойно ответил больной на сочувствие медсестрички. – Когда нашенькие доктора инвалидами займутся...

Завороженный могильным светом, переливал снайпер недавние события, путался в логике происходящего. Житейский мир дал новую трещину – сваркой не скрепить. Пустым и затратным показался приезд в Колпашино. Чего он хотел здесь увидеть, чего бы не видело раньше прозорливое сердце?

У кого отмаливать прощение и за что?

Напустил на себя вселенскую скорбь... собираешься жить по заповедям неразумного сердца...

В годы роковой молодости вырубал Есенин... не библейские заповеди – надъярный завораживающий свет притягивал, вводил в транс. Всё слилось: раздумья, боль, непугёвость существования. Засветились в мозгу строки:

Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг...

Пой, мой друг. Навей мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другого,
Молодая красивая дрянь...

«Вот оно что: сначала просверкала в мозгу Прасковья Саиспаева – «молодая красивая дрянь», потом полыхнули есенинские строки... Сознайся: ведь из-за неё, любимой, потащился в северный городишко... Охота ступить на заросшую тропу любви... увидеть... обнять... простить горькую измену... Что спросится с женщины, повенчанной с блудом?.. Да и что значит постельная драма на фоне панорамы жизни?!»

Недальний свет мертвецов нисколько не пугал. Он даже перестал путать мысли в лёгкий клубок.

Неожиданно свечение стало угасать. Последний робкий лучик втянулся в яр.

Захотелось выйти по малой нужде.

Темнота в комнате могильная. Ходики забивали в виртуальный гроб самоковочные гвозди.

Прежнему снайперу-разведчику ничего не стоило бесшумно пересечь комнату, где спала хозяйка. Однако скрипучая дверь разбудила Октябрину.

– На столике фонарик...

– Обойдусь без него. У меня рысьи глаза.

Ночной холодок остудил не только тело. Мысли и нервы приходили в устойчивое равновесие.

В редкие проёмы туч торопились пробиться звёзды.

В большой глыбе тьмы обладатель рысьих глаз словно высек себе удобный световой проход, выбрал направление к туалету.

Невысокий штакетник отгораживал полоску огорода с кустами малины.

Фронтной мастер ночных вылазок заметил округлый предмет на штакетине. Он не походил на кринку или стеклянную банку. Не глобус же?

Подойдя вплотную, ощутив, не оробел. Снайперская выучка научила мгновенному осмыслению обстановки.

Под пальцами был череп, принесённый Губошлёпом и забытый на изгороди. Кость охолодела, от неё тянуло дымком.

И сквозь тьму разглядел совсем не страшные дупла глазниц.

В разведроту удивлялись волчье-рысьему природному чутью различать в темноте предметы, скрытые для других не натренированных глаз. Воробьёв напрягал для такого искусства глаза с далёких постов вышкаря. Въедался зорким взглядом в неосвещённое пространство Ярзоны, будто ждал оттуда внезапного нашествия узкоглазой орды.

Повернув череп левой височной частью, без содрогания увидел пулевое отверстие. Тьма была не совсем чернильной, дырка прорисовывалась ломаным кружком. Палец прошел свободно, ощутив заострённые края.

«Огонь дымокура расширил брешь... Ну, Васька! Ну, дуролом!»

Боясь, что утром хозяйка обомлеет от вида черепа, Натан Натаныч спрятал его за поленницу: придёт сосед, заберёт.

Глава седьмая

1

Блудница не спала.

Гостиничный номер ей не нравился: казалось, ушастые стены всё слышат, запоминают, осуждают.

Под грузом тела поскрипывала расшатанная кровать.

Запах варёных карасей не успел выветриться. Надо было привести обоняние в нежное равновесие: несколько капель дорогих духов на ватку и в комнате запахло весной, садом, любовью.

Росла Полина в профессорской семье. Отвоевав волю с десятого класса, в избалованных не значилась, но доставляла родителям массу беспокойства, житейских треволнений.

Матушка природа при участии отца и матери наделила деву опасной красотой. Не зов, а громкий крик плоти доходил особенно до кобелистых особей.

Смазливые подруги-студентки льнули к Полине, часто давая волюшку медовым губам.

От поцелуев заразительно хохотала. Иногда ей хотелось продолжения начатых ласк, но плутовки сворачивали представление на интересном акте.

Со смелым историком жила давно, считая семейный мир нереальным, уходящим в загадочную параллельщину. Ей нравилось вести любовные игры без правил. Доверялась запросам плоти безоговорочно.

Учёный Горелов не раз подумывал, что Полечку ломает болезнь с грубым названием – бешенство матки. Он шастал по нивам истории, читал разные труды о любвеобильной царице немецких кровей Екатерине II... легендарная была потаскуха. Приписывали ей ту редкую болезнь вечной неудовлетворённости...

Не такова ли полячка-хохлушка? Намешали кровушек... глаза вечно искрятся...

Часто посреди тайны ночи её одолевала тайна плоти.

Подкатывалось на вороних дикое желание мужика – пусть с грубыми ласками, с безумными матерками в период экстаза, оргазма... Отведывала и лесбиянок, но та была любовь недоношенная, недозавершённая... Взаимные

поцелуи дарили нежность, не проникая в необузданные глубины страсти.

Когда утонула в ароматах – похвалила французскую парфюмерию. Духи в жизни Полины значили много. Однажды при свидании с прыщавым аспирантом от него полыхнул запах шипра. Отвернула нос от одеколонного удущья. Не могла слушать умные речи о династии фараонов. Сославшись на головную боль, покинула взволнованного поклонника.

Лежала, словно осыпанная лепестками роз.

Вела тихий монолог:

– Зачем так рано ушёл Серж?.. Стал пугливый, мнительный... и усердие не проявляет в постели... всё самой надо змеить, вертеться... Менять его надо – в борозду не идёт, глубоко не пашет... Польшка-Польшка, какая ты стала циничная, грубая... Пойти разбудить? Мимо дежурной не пройдёшь... может, спит?.. Наводят свои двустволки, словно готовятся к залповому огню...

В дверь осторожный стук.

Подошла, спросила шёпотом:

– Кто?

– Я.

Впустила, страстно обняла, словно в райские кущи угодила.

– Серж, не знала, что Эрот – наш сводник... Мечтала о тебе, идти хотела... закрой дверь на ключ.

– Ты ничего в окне не заметила?

– Нет.

– Над яром поднималось могильное свечение.

– Не диво. Над могилами выбивается фосфор: его диким светом называют... Мучаются трупы... Фи! Новость принёс...

В обтянутой ночнушке Полина сияла желанием. Груды без лифчика не утратили заманных черт. Под розовым

шёлком кругая всхолмленность. Крепкие соски оттиснулись картечинами, убивающими наповал.

Она ярко светилась любовью.

Неплохому знатоку самок без труда удалось определить пик вожделения.

Лихорадочно постелила на полу покрывало, одеяло... Ночной гость не позволил распахнуть оранжевый халат, перехватил на поясе дрожащие пальцы.

– Не понимаю тебя... вот нисколько не понимаю.

Запальчивый шёпот походил на мольбу.

– Извини... не могу. События вчерашнего дня притупили чувства... трупный свет подлил огня...

Раздосадованная дама не принимала никаких отнекиваний. С нахальством и опытом привередливой куртизанки принялась ловко орудовать пятернёй в возбуждающем ритме. Пальцам-пронырам удалось проникнуть под халат. Второй рукой срывала ненавистную одежду цвета залежалого апельсина.

Фрукт сопротивлялся.

– Какая ты ненасытная и грубая.

– Ты... меня... осуждаешь за страсть...

Шипение скатывалось с губ, не приводя упряма к знаменателю её искреннего порыва.

– Извини... не расположен...

– Пошёл вон! Трус! Нашкодил в НКВД, теперь огоньками фосфорными обеспокоен... Иди, ложись с трупами... пусть тебя баграми в Обь стаскивают.

– Тише, дурёха...

– Не затыкай рот, святоша!.. Так оскорбить любовь!..

– Не убивайся. Наверстаем.

– Вёрсты нашей привязанности оборвались...

Через стену постучали.

– Дрыхайте! – рьяно огрызнулась разгневанная чиновница.

В какой-то миг бывший особист Горелов почувствовал себя на плахе.

Скоро скатится позорная головушка... уйдут в небытие, в вечную тьму звёзды, цветы, рестораны, женщины... Осталась последняя минута жизни.

В ы с ш а я м е р а висит на паутинке, как и само существование – высшее проявление мудрости природы и веков... Подступило ожесточение плоти, которая во все времена привыкла царить над духом, унижая его при всяком удобном случае.

Сняв халат, трогательно укутал Полину с головой. Под оранжевым мирком плотной материи осыпал глупышку и капризулю мокрыми поцелуями. Обильные слёзы жаждущей женщины пахли духами. Солоноватый вкус пощипывал язык.

Благородный гнев распалил желания.

Обольстительница бесстыдно вторгалась в кущи личного пыла и счастья.

Так быстро одержанная победа придавала силы, безудержность.

Вседозволенность умелых рук, горячих губ распалила недавнего упрянца.

Опытные любовники прекрасно знали, как переходить плохо охраняемые границы высокого возбуждения...

– Ты знаешь, Серж, где зарыт клад любви? – нежно ворковала голубка после необузданного жара объятий.

– Где?

– Не вздумай, грубиян, подбирать знаковую рифму. – Любовь покоится на небесах. Слетает к безумным кладоискателям... Прости меня, дуру, за недавнее безумство... ждала тебя... призывала... страсть ослепила рассудок...

– Поводырь нужен?

– Не смейся. Я – твоя жуткая пожирательница эликсира... полная бесстыдница... только так нисходит ко мне бабье благополучие. Не говорю: счастье... Миги быстротечны, но они где-то незаметно сливаются в энергию звёздного родника...

Её уверенные пальцы бурно плавали по потному телу недавнего ослушника.

– Я пойду.

– Полежи немного, налим, от шуки быстро не уйдёшь. От зубастой тем более.

– Не даёт покоя дикий свет фосфора...

– Забудь и прости: недавно упрекнула за службу твою р а т н у ю. Зачем так подробно рассказывал о тех гнусных годах?

– Родному человеку душу изливал...

Пенсионер союзного значения Горелов догадывался: в партийных верхах у него есть смелый покровитель. На каком этаже власти поселился неизвестно, но заступническая волна лилась из Серого дома на Томи – знал точно.

Кандидатская диссертация о вековых муках народа, о пагубности культа властных фигурантов истории тащилась со скрипом, с интригами и кознями коллег, но всё же одолела перевал высшей аттестационной комиссии.

Находились сослуживцы, сочувствующие ломаной судьбе диссертанта: был жертвенной пешкой на широкой игровой доске истории.

В Колпашино прибыл для пополнения багажа фактов чудовищных репрессий тридцатых годов.

– Угомонись, правдоискатель, – внушала любвеобильная Полина, – дался тебе глупый зачуханный народишко. Его протащили по всем каторжным этапам, тюрьмам и ссылкам... протащат ещё, когда вызреет вождь

сталинско-гитлеровской формации... В «Тихом Доне» наткнулась на убийственное высказывание неуравновешенного героя: н а р о д – с у к а...

– Замолчи! – перебил пустые рассусолы кандидат исторических наук. – Я тоже наткнулся на этот книжный бред. Шолохов находился под пятой партийной верхушки... Творцы, ослеплённые барабанной идеологией, не могли восстать... против ветра. Разве обласканный ЦК писатель мог написать истинное: в л а с т ь – с у к а, притом паршивая. Народ стерпит – его можно кобелём окрестить. Не смог проучить в веках аристократическую сучку.

– Не об этом парадоксе будет твоя докторская?

– Коснусь глобальной беды страны – рабского соглашения нации. Её запугивали со времён насильственного принятия христианства. Церковь отделена от государства, её и от народа надо отделить.

– Кто о душе побеспокоится? Кто дух укрепит?

– Религия запугивает душу, расхолаживает дух... Можно обойтись без этой пристяжной кобылы. Крещение, другие религиозные культы – пустая обрядность, попизм. Не Бог, Солнце – глашатай мира и жизни. Мы утратили связи с природой. По горло в политической тине.

– Смотри, Серж, второго ГУЛАГа и штрафбата не миновать.

– Терять нечего. К дюжине ран ещё дюжина присоединится... Эх, полячка моя ненаглядная, если бы к твоему постельному академизму прибавить аналитическое мышление, искусство предвидения...

– Не оскорбляй, великий провидец...

Тягостным оказалось возвращение на крутой берег, где его по счастливой случайности не поставили под пулю. Да тот же ч и к и с т Наган Наганыч продырявил бы череп.

Чтобы скрасить унылое одиночество, взял бесстыдную полячку с примесью южнорусской крови. Часто раздражала, проявляла плотскую ненасытность – прощал. Терпел задышливость, переносил обвальное напряжение плоти. Смирился с цинизмом, безалаберностью рук и губ. Упрекал себя:

«Отгусарил, дружок, не тот наездник. Не та скаковая прыть... Сердце готово испытать себя на разрыв... Задумайся о ненужном постельном героизме... Вынуждает чертовка: весь женский арсенал в бой пускает...»

Ругал себя за послабление духа, за нерешительность отказать от лакомого кусочка.

Злило полное бессилие что-то предпринять по т р у п н о м у д е л у.

Предполагал, что ответит горкомовская знать на его упрёки и обвинения. Скажут: мы – солдаты партии, приказы не обсуждаем...

Бесправие выходило на новый виток истории.

Вспомнились годы заточения в комендатуре... они тоже давно трупы, но трупы неприкосновенные, захороненные в плотных пластах памяти.

Возникла безжалостная Ярзона... Прорисовалась физиономия особиста Пиоттуха... Подойдёт, бывало, дохнёт чесночно-табачным перегаром и заговорщески прошипит: «Хочешь, игрушку покажу?» Вытащит из кармана деревянный, отлакированный под цвет тела фаллос и зальётся ехидным смехом... Ах, как эта гнида мучила на допросах, подгасовывала факты под статью расстрела...

Всё в памяти... Всё в прошлом...

Свидетель горькой истории рассчитывал посетить колпашинских старожиллов самого преклонного возраста, кого судьба провела через раскулачку, Гулаги, войну.

По сроку бытия Киприану Сухушину было за девяносто. Старичина грудастый, жилистый, с неистраченной до измора силой рук. С порога встретил вопросом:

– Бражку хошь?

Пожал Горелов медвежью лапу, разулыбался.

– Листья табачные под бочонок не подкладывал?

– Ни боже мой! Меня однажды угостили такой крепухой – башка по швам разошлась.

Штрафбатовцу сразу понравился бойкий нарымец. Жизнь не вытравила из старика ни азарта юмора, ни энергии духа.

– Не зыркай по углам – нет хозяйки... давно похоронил... Старух – рухляди кругом – пруд пруди... Душа – не член, со всякой чужачкой не сольёшь... Воевал?.. Сразу видно – наш кашеед... Не удивляйся моему прозору... чутьё солдатское опытнее собачьего...

В квартирке уютно, прибрано. Гость предположил: похаживают чужачки в берложье царство.

Радовался встрече с хлебосольным стариком уцелевший от пуль гвардеец. Надоедливая Полина ушла проводить какие-то ревизии, проверки. День полной свободы обещал быть насыщенным.

Коснулись в разговоре обрушения яра.

– Злыдни! – возмутился Киприан. – Для них закон не писан, а если писан, то под себя.

– На яр ходил? – Фронтовики успели перейти на «ты».

– После демонстрации двинулся... думал: безумцев вразумят мои ордена, медали, возраст почтенный, борода не беднее Маркса... Не подпустили к позору... Оцепление... автоматчики... При жизни страдальцам концлагерь был, после смерти и сорокалетней отлёжки в яру снова концлагерь... Так хотелось перетянуть тростью тыловую крысу с крупными звёздами на погонах... еле сдержался...

Застолье длилось до вечера.

Вот что узнал историк о бытие нарымского бородача.

Крестили младенца в Томской церкви. Над купелью цепко ухватился за пухлый палец священника. Хмыкнув, дородный, щекастый поп изрёк:

«Будет раб божий Киприан пахарем. Вцепился в палец, аки в ручку плуга».

Вышло по предсказанию. Куда крестьянскому сыну деться от поля, от луга, от мозолей? Силён и властен вечный клич земли.

Деревня, где жила пахарская семья Сухушиных, тянулась по обеим сторонам Шегарского тракта. Стояло много кражистых изб с высокими массивными воротами. В палисадниках благоухала сирень, по осени черёмухи и рябины клонили ветки под тяжестью обильных гроздей. За избами просторные огороды, жердяные прясла. Поодаль овины, поля, перелески.

По чернопутью, по долгим калёным зимам спешили в губернский Томск телеги, сани. Мчались тройки с царскими исполнительными сановниками. С Севера тянулись тяжело гружённые обозы с обской стерлядью, нельмой, двухаршинными осетрами, с клюквой, мёдом, кедровыми орехами.

Из притрактовых сельбищ доставляли на городские базары муку, туши мяса, домашние колбасы, масло. Везли продавать сено повозно и дрова посаженно. В обозах – льняная кудель, берестяные туеса, древесный уголь для кузниц, разный щепной товар.

Пахарь и сеятель Киприан никогда не зарился на чужое добро – своего хватало. Семейка большая. На полатах да на русской печке не любила залеживаться. Не пугалась никакого чернопелья. Тятя ни разу не устыдил лентяем, бездельником. Не укорил куском хлеба.

В трудоливой семье быстрее достаток спеет. Излишек доставляли на торги крестьянские: мелкомолотую мучицу, яйца, сливки, сало, окорока медвежьи.

Уходил Киприан на действительную службу – горевал по оставленному хозяйству. Разлучили с землёй-кормилицей. Повенчали с винтовкой-молчальницей. Трёхлинейка есть-пить не просит, но всё равно для солдата невыносима. Каждый день муштра, зубрёжка устава. Плац стонет от множества ног, от назойливого «ать-два».

Выпала на долю солдата зловредная карта – первая мировая война. Строевик-окопник славно бился за царя и Отечество. Храбрецом прослыл. После осколочного ранения в грудь свобода замаячила. В лазарете извлекли сплюсненный металл, рана зарубцевалась. Почти над самой вмятиной повис литой Георгиевский крест.

Немолодого кавалера встретили в деревне самогоном и граммофонной музыкой. Хмельной солдат снимал с груди крест, давал дружкам подержать на ладони. На оборотной стороне награды чётко выбит порядковый номер. Мужики понимали: за пустяки «Геоργия» не дают. Достали аптекарские весы, вознамерились узнать, сколько слито звонкого серебра. Герой кощунства не допустил:

«Мой крест на весах войны взвешен».

Праведно, безгрешно, в ладах с совестью и с законами жила семья. Наследственный труд был для неё необходим и привычен. Устойчивый, проверенный временем порядок жизни разнесло вдребезги ошеломляющее известие: свергли царя. В деревне долго не верили, что разом пала незыблемая трёхвековая династия Романовых и какие-то ордынцы смогут управлять великой осиротелой империей. Страшились боль-шевиков – новоявленных правителей Руси.

Наступили свинцовые времена. Редко теперь ползли по тракту обозы. Крестьяне припрятавали зерно, солонину,

масло, кожи. Слух о беспощадной красной обираловке облетал деревни быстрее ветра.

Объявился новый правитель Сибири. Нагрянули колчаковцы. Они хвастливо обещали повсеместно ликвидировать красную чуму. Просили подсобы зерном и мясом, деньгами и сукном. Перешёптывалось раздумистое мужичьё:

«Чёрт их разберёт – красных, белых...»

«Две власти – две пагубы...»

«Колчак – не правитель, душегубец...»

«Вчерась пьяные беляки в бане Анфису изнасиловали... да хором...»

Начались расстрелы, грабежи. Коров, свиней, овец свежевали на том месте, где уложили их пули.

Белая власть заявила о себе грозно.

Прижимистых мужиков привязывали к воротным столбам, распластывали на телегах: гуляли по спинам нагайки – молнии. В поисках продовольствия для армии колчаковцы бесцеремонно шарились в подпольях, протыкали штыками перины, сбивали прикладами замки с сундуков и ларей.

Красноармейцы пересилили. С исчезновением из деревни белых не явился обещанный покой. Голодная страна вырывала у деревни последнее. Власти приступили к новому этапу повального разорения крестьян.

По деревням шныряли ушлые продагенты, по низким ценам закупали на корню лён, свёклу, рожь, картошку.

Мужики долго обкатывали на зубах ядрёное словцо – прод-раз-вёрстка. По всем житейским статьям выходило: красные не отступятся от деревни, пока не выгребут из закромов всё зерно, не заберут шерсть, молоко, мясо, овощи.

Впервые Киприан Сухушин стал ощущать апатию к земледельческому труду. Саднило душу, раненую грудь.

Громко поговаривали о колхозах, об общих скотных, машинных дворах. Опускались руки.

Изредка наезжая в Томск за скобяным товаром, одеждой, обувью, глазел на вывески многочисленных учреждений с длинными замысловатыми названиями. Язык сломаешь, пока осилишь непонятные словосочетания.

Торопились куда-то напыщенные персоны с портфелями. По булыжнику мимо старых купеческих хором неслись пролётки. Поблескивали витрины магазинов. Город имел напускную важность: её влила революция.

Отправляясь в губернскую столицу, Киприан надевал чёрный суконный костюм. Поскрипывали смазные сапоги, будто проявляли недовольство от великого деревенского передела.

На пиджаке красовался Георгиевский крест.

На улице Миллионной к кавалеру подкатился юркий человек в сером френче. Больно сдавив локоть, отвёл в сторону.

«С царским крестом разгуливаешь?»

«С крестом войны и Отечества».

«За мной».

Контора, куда завёл незнакомец, помещалась неподалёку. За первым от входа двухтумбовым столом сидел скучающий лохматый юноша, похожий на семинариста. Катая по бледно-зелёному сукну крутое брюшко пресс-папье, мечтательно глядел в запylённое окно. Заметив вошедших, деловито крикнул, отшатнулся к спинке стула. Поправив просторную полинялую гимнастёрку, бойко пробасил:

«Браво, Пиоттух! Ещё один крестonosец!»

«Свеженький, шельмец! Разгуливает вальжно по городу. Знай: мы беляков давно вышибли отсюда... Душок царский не выветрился? Продуем на одесский манер...»

«У Колчака служил? Фамилия? Место жительства? – стрелял вопросами желтозубый конторщик. – Сдёрни, сдёрни крест! Тут тебе не штаб белой армии – солидное учреждение...»

Поняв, что его не разыгрывают, Киприан возмутился:

«По какому праву задержан? Где у вас гербовая бумага, по которой русскую награду нельзя носить?»

«Молчи и кажи вид... паспорт е?»

Распахнув пиджак, задрав рубаху до подбородка, бывалый солдат обнажил широкую волосатую грудь: сверкнул красно-бурый щрам.

«Вот мой вид... Крест за Родину получен, за народ...»

«Ты тут ранами не тычь, – сбавив начальственный тон, пробубнил рябой учрежденец. – У нас своих хватает... Навозом пахнешь. Возвращайся в деревню... Запрячь крест подальше в старинный сундук... царской старине – каюк! Нынче царицей – пятиконечная звезда... Пиоттух, спасибо за верную службу. Отпусти крестоносца восвоеси...»

«Может, ему проверочку в... санатории устроить? Там по таким кадрам соскучились».

«Пусть убирается... кабинет обнавозил...»

«Ну, время! Ну, жизнь! – плевался дорогой оскорблённый Киприан. – Неужели теперь каждый встречный сопляк может тащить к подозрительным дельцам?... Так и в каталажку загремишь...»

Журчала бражка... журчала чистая стариковская речь.

Историк вслушивался в неторопливый рассказ, радовался мозаике русских отшлифованных веками слов.

Перебил крестоносца однажды, когда полыхнула фамилия П и о т т у х.

– Не сомневайся, Сергей, я эту жидовскую сволочь ни с какой другой не спутаю... возвращался на попутной

телеге, колёса гремят... под их шумок вытверживаю:
«Пиотух давно протух...

– Неужели с той поры зол на него?

– Если бы только с той... Он же меня ещё раз с «Георгием» в городе прихватил... Доставил прямым ходом в загородный санаторий: тюрьма пересыльная, люду – спички в коробке... Авель Пиотух – главный надзиратель... Поташили нас в барже на Север... Чай, слышал про Назинский остров смерти?

Так что я тебе, Серёжа, верный собрат – тоже в штрафном коллективе побывал... Не делай глаза баранками – удалось сбежать на Васюган... бороду отрастил староверскую, примкнул к артели остяцкой: по дальним озёрам и речушкам рыбу промышляли...

– Как выглядел Пиотух?

– Плюгавенький... среднего росточка... Шибко психованный... Его приклад по моему телу часто разгуливал. Нальётся злобой – зрачки белеют, как у рыбы разваренной... Собирался я его перед побегом придушить – душа отказ сделала...

– Вот так история!

– Э, дорогой гостенёк, всю мою историю в один том не втолкаешь... Душа почему непобедима? Потому что после смерти в отлёт уходит... в свободное плавание...

– В загробный мир веришь?

Осушив гранёный стакан браги, крякнув, богатырь почти рывкнул:

– Верю!.. Что я видал в сраной предгробной жизни?! Голимый труд... унижения... грабёж... войны... Думаешь – мы с тобой народ? Чернь...скот...

– Сброд... быдло... – подсказал историк.

– ...Верняком сказанул, – обрадовался поддержке Киприан. – Вот и тешим душеньку о рае загробном...

Может, там не встретишь Пиоттуха, не услышишь его ора: «Я тебе продую мозги на одесский манер...»

– Давно сделал вывод: империи погибают от рабства... оно укорачивает сроки существования людских сообществ... Понятен тебе ход моих мыслей?

– Верняком!.. Рабами жили, барскую породу защищали... Вот мы бражничаем, а на Оби партийные прохиндеи концы в воду прячут...

– Что для них благословенный народ Отечества – пыль, песок, бурьян, – подливал масла в стариковский огонь шпграфатовец. – Ему удалось вывести крестовца на стрежь истории, всколыхнуть память.

– Меня, Серёга, вот какая загадка мутит: как, допустим, я, в гроб упакованный, бездыханный – в загробье окажусь?.. Ангелы перенесут? Так у них крылышки слабые, мою тушу в центнер весом им не перенести... Если душа выпорхнет – дело другое... душу и ветерок к краю поддует...

2

Неотвратимый сердечный приступ свалил разведчика и снайпера Воробьёва на крыльце избы Октябрины. Встревоженный кот учёный, громко мяукая, с минуту ходил торопливо вокруг присевшего на ступеньку больного.

После ухода гостя на улицу хозяйка ждала его возвращения.

Дымок звал на помощь.

Валокордин не влил в сердце энергию защиты.

«Скорая» прилетела не скоро.

Отнялись ноги. По слабым рукам пробежала частая дрожь.

Санитары с трудом переложили с крыльца на носилки обмякшее тело.

В больницу Октябрина не поехала, решив навестить сердечника утром.

После обезболивающих уколов ветеран обрёл мутное сознание.

– Меня зовут Наган Наганыч... Натан Натаныч Воробьёв... отдельная рота снайперов...

– Лежи, лежи, фронтовичок, потом честь отдашь.

– Сестричка, как я сюда попал?

– С улицы Железного Феликса привезли... На я ходил, что ли? Сердце не выдержало?..

Смутно прорисовывались Обь, обрыв, кот, череп на шпакетине.

– Сердце – моё слабое место... Отговорила роца золотая...

– Пока шумит... пить не бросишь – точно отговорит.

– Сестричка... я немного... Победный день...

– Вот и полёживай, победитель, набирайся сил.

Соображение очищалось.

«Разговаривает со мной деваха как с последним алкашом... так с Васькой Губошлёпом можно болтать... Дурак! Оставил череп на заборе... Ты зачем его в руки брал, пулевую смертельную дырку ощупывал?..»

К полудню навестила Октябрина, принесла свежий творог, пару яблок, картофельные шаньги.

– Дымок привет передаёт.

У больного вид виноватый, с налётом суровости.

Старушка успокоила:

– С кем, милоч, беды не бывает... поправляйся...

Утром сосед прибежал, про оставленный череп талдычил. Боялся нас напугать... Говорю: «Запился ты, Васька!»

– Был дымокурный череп... я его за поленицу дров положил.

– Вот леший! Губошлёпина нарымская!

Увидев медсестру, показывающую пальцем на циферблат наручных часов, Октябрина кивнула и заторопилась. Она поняла сигнал «свидание закончено».

– Что вкусненькое принести?

– Беленькую, – прошептал Наган Наганыч.

«Слава Всевышнему – без инфаркта обошлось... водочки запросил – значит, осилит недуг... Надо Варваре в Томск позвонить, обсказать всё... навязала мне гостенька...»

Придя домой, Октябрина осмотрела дровяник, за каждую поленницу заглянула – череп исчез.

– Ах ты, губошлёпина!

– Вот и я! – точно из-под земли появился Василий. – Звала, Красный Октябрь?

– Я сейчас тебе устрою революцию! Из-за твоего костяного дымокура гость в больницу угодил – сердце не выдержало.

– Разведчик черепов не боится...

– Голову ломаю: как он твоего негритосика ночью увидел... Приходил? Нашёл его?

– Нашёл. Песочком почистил... покался перед ним... Красный Октябрь, я ведь дурак не круглый – квадратный... тащит меня по жизни – углами упираюсь... налей стопарь...

– Свалился на мою головушку, лешаина!..

В городской гостинице Полина заждалась штрафбатовца.

– Распутник, где шляешься?

– Старика встретил – золото!

– А я тебе что – чугунина?!

В номере коробки, пакеты, свёртки.

– Откуда дровишки?

– Из склада, вестимо... Набросали подарков... теперь ревизии, проверки стыдно проводить... Вот клялась не брать ничего, но так шельмы торгашеские подъедут на тройках расписных – поневоле возьмёшь... У них не убудет... Мы раболепствуем перед Москвой. Они перед Томском... Лесть по ступенькам шагает... Без блата, Серж, не проживёшь. Ты думаешь: реклама – двигатель торговли? Нет и ещё раз нет! Блат, взятки, подношения – хоть «Волгой», хоть борзыми щенками, хоть устройством оболтуса в престижный ВУЗ... Не имей ста рублей, а женись, как Аджубей... Политика, друг, как и Восток – дело тонкое... Пили коньяк армянский. Чем тебя золотой старикан потчевал?

– Брагой...

– Фи, гадость какая! До чего докатился, кандидат исторических наук...

Каким-то глубоким, отточенным чутьём Горелов догадался: полячка побывала в чьих-то крепких объятиях. Когда разглядел на шее возле ключицы засос – захотелось наотмашь ударить стерву томского разлива.

Сдержался. Скрежетнул зубами и покинул номер.

Удары судьбы даже на уровне любовных отношений историк привык встречать стоически. На стук в дверь не отвечал: пусть чиновница подумает – ушёл в город.

Раскрыл дневник, долго сидел задумавшись над снежной страницей. Пока не знал – какие семена мыслей лягут на ждущее поле.

Историка давно терзал вопрос: где же разминулись цивилизации на путаном пути эпохального развития. Почему тропы войн уводили их всё дальше от солнечного предназначения. Религии только усугубили положение людских сообществ. Они загоняли гурты двуногих в

безвыходные лабиринты страха, толкали их в грехи и сами же замаливали, прощали прегрешения.

Душа – вечный символ свободы – досталась церковникам, как экспериментальная площадка для усложнённых опытов.

Хотелось проникнуть в далёкое прошлое взором генетической памяти. Виделось только Солнце – главнейшее животворное Существо, которое изначально призывало к миру и любви. Не существовало богов, идолов. Не бродил неприкаянно з о л о т о й т е л е ц. Мир Природы переживал мучительную стадию становления. Свет явился первоосновой радости.

Враждующие дикие племена кочевали в поисках пригодных мест. Солнце не повинно в том, что не могло образумить воинствующие орды. Оно продвигало по земле н а у к у с в е т а, подписывало лучами не приговоры – дарило свободу.

«Мы все вылупились из света, – легли в дневник первые слова. – Мы предали Солнце, Землю, Природу, Вселенную – праматерь всего сущего в обозримых галактиках...»

Требовательный стук в дверь.

– Откройте! Это администратор.

Повернув ключ влево, Горелов приоткрыл дверь.

– Извините... Ваша сотрудница беспокоится, не случилось ли что с вами.

Из-за спины администратора сверкнули хитрые глаза.

– Всё в порядке... работаю...

– Ещё раз извините...

В комнату Полина вломилась на правах ревнивой жены.

– Что за фокусы?! Прятаться от друга!

– Друзья не предают... Засос успела запудрить?

– Ты вот из-за какого пустяка убежал... какая-то молодая дурында – видно местная лесбияночка – от души приложила губами к шее... торгашка – что с неё возьмёшь?

– Уходи... хочу поработать...

– Говорю тебе: не предавала...

– Брысь!

Разоблачённая бестия знала: сейчас надо быть сдержанной, хитрой.

– Серёженька, на меня бабёнки летят, как мухи на мёд... ну что во мне от лесбиянки?! Я полная натуралка – балдею только от мужиков... Давай сегодня в твоём номере... глупенький, ну иди же...

Чувство брезгливости, отвращения не впервые нападало на опытного любовника.

«Самка... такая изошрённая самка... Ни стыда. Ни раскаянья...»

Она попыталась избитым путём бесцеремонности овладеть своей собственностью. Знала этакий развязный приёмчик, высекающий искру возбуждения... Номер не прошёл. Уходя, пробубнила:

– Знала бы – в коллективе осталась... зубы почисти – брагой воняешь...

Удаляясь, мурлыкала песенку.

Зайдя в свой номер, расхохоталась.

– Дурак! «Засос успела запудрить»... запудрить можно мозги, засосы припудриваются...

Достала стеклянную фляжку армянского коньяка – тоже из подаренных дровишек – отвинтила пробку. Стояла в раздумье – наливать в стакан, не наливать. Когда темноватая жидкость забулькала – ощутила прилив энергии...

Жизнь Полины Лавинской складывалась сказочно. Со студенческих лет потускнел романтизм любви, но в остальном всё крутилось по орбите привычек, интриг, зависти, вожделений.

На третьем курсе университета с ней переспал сотрудник особого комитета, предложил одно пустяшное дельце – пофлиртовать с директором крупного завода. Флирт закончился банкетом в ресторане, баней... добытыми в постели сведениями, необходимыми комитетчику. Она вошла во вкус промышленно-куночного шпионажа. Давали задания идеологической направленности. И с ними смазливая постелюха охотно справлялась за приличную плату.

Примитивная психология самцов временами давала сбой, наступало прозрение. Её уличали, разоблачали, давали пощёчины. Однако заказы от комитетчика и гонорары поступали регулярно.

Учёному Горелову внушали не раз: держись подальше от Лавинской, про которую в областном центре гуляет такая слава: «Зовут в кругах особых леди, в кругах постельных просто бледи».

Была тревожная настороженность, как перед штыковой атакой. Знал: при наступлении опять будут глазеть в затылок погонялы из СМЕРШа, чтобы ни один штрафбатовец не выломился из оцепления, не дрогнул в бою, не перебежал на сторону врага.

После ухода л е д и крепко призадумался: «Вдруг лебёдушка окажется обыкновенной подсадной уткой... Костерил при ней власть, называл сукой паршивой... Чем может обернуться откровение? Увольнением из института, помехами при защите докторской...»

Перебирал варианты минусов, и плюсы путешествия растворялись в черноте сомнений.

Новый стук в дверь вынудил вздрогнуть.

Виноватым голосом леди сообщила:

– Забыла тебе сказать: твой однополчанин в больнице... как узнала?... по городскому сарафанному радио... сердце...

– Зайди, Поля.

– Принесу коньяк.

– Не надо... Хочется с тобой поговорить по душам...

– До сей поры на каком языке говорили?

– На плотском.

– Новенькое что-то...

– Завтра с утра навестим гвардейца...

– Не смогу – важная проверка.

– Полина Лавинская, скажи откровенно: ты мне не целишься в затылок?

– Целюсь и давно... даже мушка стёрлась от времени... Эх ты, курица мокрая... нет никакого желания тебя с потрохами сдавать... ты мне наговорил наяду и в постели – на три статьи хватит. Не уголовного – морального кодекса...

– Юлишь...

– Да, я агент особого назначения... моя клиентура не пистолеты – презервативы в карманах носит...

Часто шокирующие подробности из жития святой леди обезоруживали клиента Сержа. Он утонул в густой смеси лжи и правды, остались наружу рот и нос.

– Стерва же ты, полячка!

– Не отказываюсь от столь громкого титула.

Она приблизила губы к его посинелым губам: бражный дух убила импортная зубная паста. Леди по достоинству оценила быструю исполнительность штрафника...

Утром их пути разошлись.

Разведчик и снайпер больше удивился, чем обрадовался появлению в палате давнего сослуживца по комендатуре.

– Узнал вчера вечером о победителе с большим сердцем.

Горелов долго жал руку больному. Выложил на тумбочку яблоки, печенье. К стоящей на полу бутылке крем-сода, от которой несло спиртным, поставил литровую банку виноградного сока.

– Вот угодил на больничную койку, – с напускной бравадой подтвердил Натан Натаныч.

– Конспиратор, крем-водка не противопоказана?

– Давно, – не растерялся сердечник. – Приходил Васька-дружок... выручил... Тоска смертная хуже смертельной водки... Что на берегу? Говорят, многосильные теплоходы подогнали, развернули их сраками к яру и размывают берег...»

– Не слышал. Вчера весь день с лихим стариком про жизнь говорили.

– В Томск хочется... Колпашинская земля выдавливает отсюда. «Ты лишний здесь, лишний!» – кричит она.

– Мы оба здесь отвергнутые...

– Что делать будем? – снайперские глаза выцелили крем-соду.

– Жить будем...

– И пить... Не хотите, особист, крем-водочки? Помогает разметать чёрные тучи над душой...

В палату по-хозяйски вошла пожилая женщина с пластмассовым ведёрком и «ленивкой». Тёмно-синий халат висел мешковато. Из-под косынки – серебряный свет. От обилия глубоких морщин смуглое лицо сморщилось.

Началась уборка палаты. Горелов нашёл удобный повод уйти.

– Поправляйся скорее...

Даже намётанный снайперский обзор не вдруг позволил определить в техничке незабвенную полуостячку Прасковью.

– Ты ли?!

– Полужену давнишнюю не узнал... хорош воробей.

– Узнал, но с трудом...

– Хорошо забывать не знавши... мы-то постель мяли не один годок.

В трёхместной палате ветеран остался один, никто не мешал откровенному разговору.

Швабра-ленивка искусно елозила по густо накрашенному полу. Возле бутылки крем-соды замедлила движение. Техничка нижним чутьём обнюхала пробку.

– От сердца лечение? От водочки?

– Налить? – не растерялся разведчик. – Выпьем за любовь и за память.

Оглянулась на дверь.

– Наливай!

– Узнаю смелую Праску...

Крем-водку запили виноградным соком.

Усердная швабра не мешала беседе.

– Сколько воды утеклооо...

– Много, Натан, много... Обь даже яр успела подмыть, обнажила невинных... Через сорок один год на солнышко захотели посмотреть, водицы свеженькой попить...

– Как тебе пожилось со свеженьким чекистом? Измена пошла на пользу?

Техничка бесцеремонно отхлебнула из горлышка три крупных глотка.

– Все вы энкавэдэшники – дрянь! Лучше моего первого мужа Тимура не знала никого...

Пожалев сердечника, добавила:

– Тебя зря бросила. Свеженький меня часто под дулом держал, избивал... раннюю седину нагнал. Ревнивая сучка Сонька – учётица с засольни – слух про меня распускала: остячка гулящая, с любым членом в обнимку спит... – Оглянулась на дверь:

– Главврача боюсь.

Ещё приложила к горлышку.

– Строгий?

– Ууу! Прихватил меня за приёмом медицинского спирта – уволить хотел... По такой статье судить – медперсонала не останется...

– Да ты не стесняйся – допивай крем-соду.

– Не указывай... сама знаю.

– Всё такая же, Прасковья, всё такая же.

– Тебя-то каким ветром сюда надуло?... По Ярзоне соскучился? Всех зонников теперь в Обь пихают.

– Неужели специально берег винтами размывают?

– А что палачам остаётся делать... надо все косточки утопить... будут земляки дважды убиенными...

– Прасковья, оставь глоток.

Вороватый взгляд на белую дверь палаты. Правая рука привычно нырнула в потайной карман халата. Протянула плоскую никелированную фляжечку.

– Глотни – чистый медицинский. От твоей разбавленной крем-соды изжога приключится.

Домыла пол. Взялась за удаление пыли.

Время вело прицельный огонь по судьбам. Не увернуться. Не спрятаться. Не отвести кучное пламя.

Под яром гремели водяные залпы. Мощные струи из-под винтов теплоходов-толкачей превращали глину, песок, прибрежный ил в тёмное месиво.

За десятки лет под натиском хлорной извести истлело не всё тряпьё на трупах. Мёртвые будто обносились, и теперь лохмотья на задубелой коже мертвецов болтались в водяном напоре сломанными крыльями воронья.

Теплоходы толкали обскую водицу на новое нежелательное вероломство, она испытывала принуждение, но, обречённая, летела в наступательном рывке на оробелый яр.

Сползали новые пласты береговой крути, докатывались до изрыгающей лавы винтов. Мелькали черепа, руки, ноги... иногда выпрыгивали из воды трупы, отдельные кости... вот показались будто воздетые в мольбе руки, сам скелет, но небеса, Всевышний не успели расслышать последнюю молитву. Расстрелянный в тридцать восьмом, мученик станет утопленником в семьдесят девятом.

Даже Небеса, Солнце не проявляли равнодушие. Плакала синева. Плакал свет...

По благу Полину допустили к представлению ужаса.

Обходительный капитан с катера связи подробно рассказывал о стратегии силового обрушения яра.

– Под берегом идёт сплав трупов: не соваться же лодочникам под винты... Вчера буровая установка решила проверить – на каком расстоянии от берега зловонная ямина, сколько ещё придётся работать белым речниковским силачам.

– Ну и что? – кокетливо поинтересовалась обольстительница, прижимаясь разгорячённым боком к черноусому военному.

– А то: бур подцепил кишку – кобра стала подниматься... Машу буровику, кричу: «Майна!» Выскочил из кабины, орёт: «У меня буровая установка на воду – не на черепа и кишки! Ищите другую машину...» Пришлось

припугнуть, про дело государственной важности напомнить.

В каюте были вдвоём.

Шум дизеля почтового катера мешал капитану сосредоточиться на главном. Он наклонился к уху дамы, поцеловал тёплую пухлую мочку.

– Губы на что?

Но когда обрадованный вояка, погладив в обе стороны усы, наклонился для страстного поцелуя, баловница шаловливо погрозила пальцем:

– Спрашивать, однако, надо...

– Красавица, отрада, любовь... можно?

– Сдурел что ли?! Часу бабы не знаешь, а тычешься слюнявыми губами.

– Полечка, когда увидел вас у оцепления – обомлел...

Кстати, кто тот старикашка... вместе были... муж?

– Любовник... и не плохой.

– Не разжигайте кровь.

– Прогораешь быстро? Смотри: вон новая глыба сползла... матушки! И там трупы...

– В конце тридцатых тут многих почикали... бандиты, контрики, недобитки...

– Увози меня отсюда... не могу...

С Оби хорошо просматривалась панорама унылого яра.

Гвалт дизелей дробил не только тишину – время.

Великая река не видела такого кошунства.

Было видно буровую установку на берегу, прощупывающую толщу грунта. Неужели мёртвые кобры всё еще поднимали головы и крошево черепов налипало на бур?

От выпитого после внезапной ревизии коньяка Полину поташнивало.

– Зачем ты меня вывез на мерзкое обозрение?

– Прости, золотко, вину принимаю.

Служивый боялся упустить столь удобный для победы случай. Потянулся за поцелуем. Полина оттолкнула.

– Дурак! Нашёл место и время!

– Не обижаюсь на грубость. Не случайно мы встретились... всё predetermined... не встречал подобных зажигательных особ...

Ей льстило запальчивое враньё, нравился пыл, раскошегаренный похотью. Она царила над мужланами и наслаждалась неограниченной властью.

Сегодня нагрянула с проверкой в жирную торговую точку. Главные недостатки всплывают после праздничных дней. На это и рассчитывала хитрая ревизорша.

Со школьной скамьи запомнились некрасовские бессмертные слова:

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть.
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть...

Главная формула торговли действовала на все века.

На мелкие и крупные недостатки, махинации закрывала глаза... Знала, когда открыть свой карман для пополнения семейного бюджета.

Выходит из подсобки с подношениями – у прилавка капитан с бутылкой коньяка... Ключула на приглашение...

Самочка в годах смотрела на молодых жорким взглядом. Давно познала их необузданную, нерастратченную постельную силушку. Бросится в омут интриг сломя голову, одумается – насторожится. Вот и на катере... заранее знала:

капитанишко её... пугала скорость желания, неразборчивость... и всё это на фоне береговой трагедии.

Вымолив на прощание поцелуй, распалённый рыцарь неохотно свёл на берег пухлощёкую интриганку.

Обвязка трупов грузом шла споро, но помощнику руководителя операцией процесс казался затянутым. Он накричал на рябоватого обвязчика, который на легковесный, почти детский скелет выбрал крупный трак.

– Соображение есть?! Такой груз труп сразу на дно уложит... надо, чтобы его на глубине к Обской Губе тащило. Там Северный Ледовитый океан эстафету примет... Рассчитывай вес на глазок... За плохую работу буду штрафовать водкой. Вместо трёх ящиков – по два получите.

Никто не огрызался. Обещанный тридцатилитровый расчёт не должен оказаться просчётом.

Обвязчики прищуривали глаза, страшась запускать в себя видения нового судного дня.

«Скорее бы заканчивалась скелетная канитель, – торопил события офицер с восьмью звёздочками на погонах, – вышел в отпуск – отозвали, на м о к р о е дело кинули... Яр недоволен. Обь недовольна. Мне что радоваться? Вот и рыбка с крючка сорвалась... Наверно, аппетитна смазливая самочка...»

Трупы норовили прибиться к правому берегу, не желая покидать обетованную землю. Их баграми выводили на стрежь. Кто-то догадался укутывать кости в сетку-рабицу – груз дополнительный и все сочленения в сборе.

За линией оцепления скапливались горожане. Некоторые вооружились биноклями, приближали мерзостное сокрытие потревоженных зонников.

В толпе навзрыд голосила Нюра, убиваясь о мужа:

– Кал-листра-тушка... за что они тебя, изверги, земле не поручили... на могилку не походить, горе не выплакать... носки тебе вязала тёплые...

– Нехристи! – возмущались в толпе.

– В тридцать восьмом невинно расстреляли, в семьдесят девятом топят...

– Да кто на эту власть поганую управу найдёт!..

– Рабы и те не в гробы... падалью зарыты, падалью топят...

– Жил разбойник Кудеяр. Он не прятал трупы в яр. Что-то наши Кудеяры На расправу очень яры...

В толпе сочувствующего люда находился штрафбатовец Горелов. Он пришёл с Киприаном Сухушиным. От него исходил стойкий сибирский бражный дух.

Спетая кем-то частушка принудила вспомнить избу-пытальню, разгневанного Пиоттуха, который под шумок неудачного допроса валил частушки против НКВД на приговорённого к расстрелу Горелова.

Не отыскав в толпе исполнителя давно забытой песенки, историк обратился к Сухушину:

– Ты слышал когда-нибудь эту частушку?

– И не раз.

– Кто автор?

– Народная... Поют в застольях. Общий роток и шалью не закроешь...

3

Повеселевшая от выпитой к р е м-в о д к и Прасковья озорно подмигнула сердечнику Натану:

– Помнишь квартиру Фунтихи в Заполье?

– Три века не забудешь.

– Помнишь, как я распахнула ромашковый халат, а там – диво...

– Бесстыдница!

– За Тимура на всё была готова.

– Не мог его вызволить из Ярзоны.

– Ты пешка...

– Не знаешь, какова судьба беглецов?

– Никодима Савельевича – царство ему небесное – медведь у берлоги одолел. Повалил рогатиной да оступился... Сын в медведя целил, да в отца попал. Рассказывал про смертельную оплошку – слезами заливался...

– Тимур в Заполье приходил?

– С месяц ночами крадучись объявлялся... Тимурёнка обнимал до синячков. Боялась – задушит в объятьях... Выдала его паскуда ревнивая – Сонечка с засольни... моя вина – пьяная проболталась... задумала убить тварь – ревнивица в ноги: «Хочешь подробности о Тимуре узнать?» – «Хочу». – «Не тронешь?» – «Живи и мучайся, предательница...»

– Не тяни, рассказывай.

– Авеля Пиоттуха знал, небось?

– Как не знать.

– Придумал изуверство... ой, не могу...

Сделав глоток медицинского спирта, поведала жуткий рассказ из жития Тимура, в кого в молодости по вине Натана вонзилась отравленная стрела.

Ярзона бурлила от известия: одного из убийц председателя колхоза и двух надзирателей поймали.

Старший лейтенант госбезопасности Пиоттух ходил гордым. Вдалбливал в головы зонников твёрдую истину: «От кары чекистов не уйдёт никто!»

Устроили показательное судилище.

Смертники окружили дощатый эшафот. Массивные слесарные тиски на нём не предвещали рая.

Кисть правой руки Тимура зажали в стальной пасти: пальцы сплющились, на доски струйками потекла кровь.

Шестиколенный Авель Пиоттух демонстративно повертел в воздухе ножовкой с ржавым полотном. Передал инструмент убийце.

– Именем НКВД к особой казни приговаривается Тимур Селивёрстов... Нет никакой пощады тем, кто поднимает руку на верных дзержинцев, позорит несокрушимую Советскую власть... Сейчас разбойник отпилит себе правую кисть руки... если хватит духу... потом продолжит каникулы в зоне. Убийца, тебе предоставлено перед казнью слово...

«Бутылку спирта и ножовку по металлу... Мои кости – не стволовая гниль...»

Принесли слесарную ножовку.

На помост поставили бутылку денатурата.

«Жри химию!» – рявкнул Пиоттух.

«Спирт и неразбавленный».

Условия убийцы привели офицера в негодование:

«Ты что... твою мать... обезьяна облезлая, корчишь из себя... геройчик поганый... натворили с отцом... вашу мать, кучу убийств...»

«Спирт! Полную бутылку...» – перебил Тимур гневного оратора.

Особисту не хотелось, чтобы представление казни обернулось провалом.

Ярзонники, придерживая дыхание, наблюдали за бородачом, удивляясь его хладнокровию и твёрдости духа.

Жизнь на заимке староверов отложила отпечаток на характер и на лицо молодого беглеца. Борода вызрела мировецкая. Расчёсанная самодельным гребнем, она большим клочком лунной ночи свисала на широкую грудь

силача. За годы отцовская сила незаметно перетекла в сына – столяра, кузнеца, гармониста, неслуха и умеренного выпивоху.

Все ждали развязки.

До последнего момента шестиколенный Авель не был уверен в успехе своей иезуитской задумки.

И вот началось.

Хладнокровный Тимур сорвал зубами колпачок с бутылки спирта, прицельно послал его губами и языком в оробелого палача.

«Ну, ты, деревенщина!..»

Медленно, со сладострастием отпил треть содержимого бутылки. Обмыл лезвие ножовки. Смочил спиртом место, куда вскоре должны вонзиться зубчики полотна.

Замерли приговорённые... сжали зубы... напряжили челюсти... кто-то высморкался и высыпал полгорсти матерков...

От скрежета кости и слесарной ножовки у Пиоттуха стали подбеливаться крупные зрачки.

На стальное полотно, на сосновую плаху брызнула яркая кровь.

Тимур отпиливал кисть не с гримасой боли – с натянутой театральной улыбкой. Он чуял: улыбки свободы не будет, так пусть перед смертью земляки-сибиряки увидят не труса, не сломленного казнью бородача.

Многие смертники отводили взор от самоистязания. Некоторые гипнотически вперились в смельчака, не затыкали уши.

Правая рука без кисти оказалась на свободе.

Смочив струйкой спирта срез, допив остаток, Тимур шархнул бутылку о равнодушные тиски.

«Первый акт пьесы закончен. Второй будет?»

Захлебнулся несвязной речью Авель, знавший всё о своём роде до шестого колена. Надеялся на трусость молодого кузнеца. Не удалось переломить через колено волну к свободе.

Конвоирам и надзирателям с трудом удалось усмирить гвалт зонников. Резиновые дубинки гуляли даже по головам. Пиоттух опасался бунта.

Восторженно смотрели на Тимура. Кто-то проорал «урра!» В толпе плескались аплодисменты...

Снайпер и разведчик Воробьёв усомнился:

– Может быть, это выдумка ревнивой бабёнки?

– Слухи до меня и раньше доходили... с другими подробностями... будто озверелый Пиоттух столкнул моего Тимура с настила со словами: «Контры, посыте на рану!» Герой ответил: «Постой! Кисть заберу... моя всё же...»

Закончив уборку палаты, техничка сунула под подушку ополовиненную фляжку с крепачом.

– Допьёшь... Тимура помянешь... В память о нём пью спирт из горлышка... он нас роднит.

– Его расстреляли?

– Господь ведаёт. Раз до сих пор не объявился – значит, был в яме... сейчас в Оби... Натан, выпишут – заходи... родня ведь – дальняя...

В приоткрытую дверь палаты прошмыгнул кот, огляделся и в три прыжка очутился на постели больного.

– Дымок! Родной!

Сердечник старался не дышать перегаром на мяукающего умника.

Вошла озабоченная Октябрина.

– Вот ты где, шельмец! Ищу по всей больнице, а он – разведчик сам палату нашёл... Ну, здравствуй, ветеран!

– Привет тебе, Красный Октябрь, – подделываясь под тон Васьки-Губошлёпа, ответил больной.

– Сегодня тебя выпишут. Градусные лекарства можно и дома принимать.

– Рад-радёшенек от такого известия.

– Сосед Васька ждёт не дожждётся – такого собутыльника лишился.

...Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда...

– Стишки тут сочиняешь – значит, здоров.

Не хотелось объяснять хозяйке с улицы Железного Феликса, чьи это строки. Сегодня после общения с Прасковьей на него накатилось тёплой волной ребячество... Захотелось любви, озорства. Вымываемые из яра кости гремели под струями в другой эпохе, не в нашем существовании. После войны в земной толще разлагаются миллионы трупов... лежит для острастки всеобщей совести н е и з в е с т н ы й с о л д а т... молчит он... молчит Кремлёвская стена... только Вечный Огонь ропщет за всех убиенных...

Историк попросил у мужчины в чёрном короткополом плаще бинокль, навёл на катер связи. В окуляре мелькнул офицер... рядом вертелась женщина, похожая на Полину... Не может быть – она... копёшка волос... просторный голубоватый жакет.

Когда поднималась от речного вокзала по некрутому взвозу, подошёл учёный.

– С приездом!

– Серж! Да ты шпионишь за мной.

– Нет. Вместе со всем честным народом наблюдал сплав трупов...

– Поехала, чтобы узнать подробности, тебе передать.

– Какая трогательная забота.

– Не ревнуй меня. Чиста...

– Ты знаешь аббревиатуру СМЕРШ?

– Смерть шпионам – чекисты хреновину придумали.

– Сейчас СМЕРШ расшифровывается так: смерть шлюхам.

– Фи! Грубиян с учёной степенью... Убей меня, Отелло, задуши свою Дездемону.

– Полина-Полина!..

– Не суди, да не судим будешь... Что я попёрлась с тобой на Север? – повела наступление пышноволосяя леди.

– Ты впадаешь в старческий маразм, к чужим штанам ревнуешь... По природе я обыкновенная курица, а петухи пошли квёлые...

Упрёки в постельной слабости были высоким коньком неудовлетворённой дамы. Она не признавалась себе даже мысленно, что поезд её страсти давно пронёсся мимо главной станции жизни. Не те годы. Не та плоть. Не те зарничные чувства, пылающие в молодости восходящими в небеса огнями.

Злые, насупленные вернулись в гостиницу.

Оскорбляло, унижало историка открытое предательство человека, к которому он питал когда-то искренние, объёмные чувства. Пробивался пусть не яркий, но солнечный свет любви... Наплывали тучи окончательного разрыва. Не было очистительного ветра разогнать их.

– Полина Лавинская, какими увиденными деталями можете поделиться с историком Гореловым?

– Фи! Какая официальщина... Зря поехала. Такого кошмара насмотрелась... Приставал... домогался

офицеришка...– Давно прожжённая страстью женщина привыкла обезоруживать любовника едкой правдой. Она не впервой применяла беспроегрышную оборону. – «Но я другому отдана. И буду век ему верна...»

Классическое враньё немного успокоило учёного.

– Детали, только детали интересуют. Хорошо разглядела с катера место размыва яра?

– Следы преступления видны, как на ладони... Жуткая картина! Такого кошунства матушка природа не видела... да и земляне тоже... Струи из-под винтов месили кости с землёй... поодаль от берега бугрилась желтоватая пена... Трупы отлавливали баграми. Флотилия лодок растянулась на версту. Одному трупу удалось отбиться от стада, он подплывал к нашему катеру... борода сохранила черноту, волосы на голове полуоблезли... мертвец плыл на спине... на шее болтался клочок косоворотки... бросился в глаза крестик... лучи солнца высветили его и... задумчивый лик христианина... не ошиблась – именно задумчивый... Ой, не могу... труп подплыл к катеру связи, струи перевернули его, притопили слегка. На поверхности показались руки... одна была без кисти... Ни рулевой, ни офицер не видели мольбы мертвеца: он будто просился на катер, умолял нас полной и укороченной рукой... Зажала зубы... промолчала... проводила взглядом... подумала: пусть хоть этот не будет утоплен, поплывёт свободно по Оби...

Молчали долго, напряжённо.

– За такую улику массового затопления можно простить тебе часть грехов.

– Чиста – стёклышко... Серж, пойдём, помянем души расстрелянных и утопленных...

На крыльце Васька-Губошлёп чистил наждачной шкуркой дымокурный череп. Сошла не вся чернота: вместе с нагаром сыпалась мелкая костная мука.

- Дурак! Спрячь скорее – больной возвращается.
- Красный Октябрь, удержи его на минутку на улице.
- Уматывай огородом... и дух свой винный уноси...

Не ожидала Октябрина встретить на своём крыльце вездесущего соседа. Сдула со ступеньки тёмную пыльцу. Подошёл Дымок, принялся к воздуху и чихнул.

Гвардеец шагнул за ворота, развёл руками.

- Куда меня привели?
- Гостенёк, моя изба, мой двор.
- Чья изба? Варвары?
- Октябрины... Красного Октября...

От больницы шли молча. Долгое молчание сердечника настораживало старушку. На вопросы он не отвечал. Тупо уставясь на дорогу, еле волочил ногами.

– Вот те раз! Вылечили, называется. В палате стихи шпарил. Сейчас памяти лишился. Ветеран, имя-то своё помнишь?

– Наган... Наганыч...

– Правильно – Натан Натаныч, – не расслышав оговорку, подтвердила хозяйка.

У ног сердечника Дымок выплясывал восьмёрки. Тревожное мяуканье насторожило старушку.

– Всё-то ты чуешь... всё-то ты знаешь... Даже временный провал памяти у фронтовика определил твой кошачий мозг... Пройдёт, Дымушка, пройдёт...

Сев на крыльцо, снайпер пристально всмотрелся в сучок на плахе. Что-то напомнило это округлое, гладкое пятно. Попытался пропустить палец сквозь смолёвую преграду – ноготь царапнул поверхность и соскользнул. Он с ожесточением тыкал пальцем, как стволом пистолета, в почти костяной кружок и завыл от бессилия и неудачи.

– Череп! Непростреленный череп... не моя вина... мои пули достигали цели.

– Успокойся, родной... пойдём до кровати...

«Скорую» Октябрина не стала вызывать. Надеялась: пройдёт беспамятство, наваждение.

По улице Железного Феликса шёл вразвалку Губошлёп, базлал:

Зачем кулачить мужика?
Пашет, сеет хлебушко.
Раскулачить бы ЦК –
Посветлеет небушко...

Звучно высморкался, плюнул в сторону обрушенного яра:

– ...Отольются волку овечьи слёзы... Чё вы, окна, вылупились? Слушайте, слушайте Васькину правду-матку...

За ворота выскочила Октябрина, крикнула:

– Вася, сюда!

– Завсегда готов, Красный Октябрь, выполнить твои поручения.

– Ты чё горланишь против власти?!

– Частушки... народные... не бойсь – мы их давно поём.

– Сейчас чинов разных понаехало – заберут.

– Пусть забирают. Ваське тюряга не приелась... там – зона, тут зона...

– У меня, Васенька, беда – вояку-то нашего привела из больницы – он памяти лишился. Избу не узнаёт, меня Варварой называет...

– Дело поправимое, – заверил Губошлёп, – вылечу.

– Каким способом?

– Вот таким.

Подойдя к воротному столбу, жваркнул по нему ладошкой.

– С ума сошёл...

– Зато воин в ум войдёт... У меня кореш был: записался, ум набекрень... ерша от карася перестал отличать. Звезданул ему по затылку – извилины кое-какие выправил и порядок... Красный Октябрь, у нас телевизоры, холодильники от встряски оживают. Мозги тем более... Как войдём – ты сразу время останови: хайластые у тебя ходики. Операцию буду проводить в полной тишине. Налъёшь потом?

– Не вопрос...

– Тогда пойдём хирургией заниматься.

– Ой, соседушка, боязно мне.

– Не бзди, кума – лечение проверенное.

Заговорщиков Натан Натаныч встретил чистым, осмысленным взглядом.

Узнал Василия, Октябрину, прыгнувшего на постель Дымка.

– Словно очнулся... недавно была палата, сейчас знакомая комната. Ходики в чувство привели.

Васька ослабился:

– Фронтвичок, я тебя телепатически вылечил: испугался, небось, подзатыльника?

– Не понимаю.

– И не поймёшь... надо закончить академию народного хозяйства или на зоне попотеть. – Доставай заначку, Красный Октябрь! Будем выздоровление праздновать.

Напуганная хозяйка глядела подозрительно на гостя: сердце находилось в объятиях житейской тревоги.

Снайпер уловил чувство растерянности.

– Не беспокойтесь обо мне. На меня иногда что-то находит... лунатиком не был, но испытываю чувство полуотрешения, замутнённости сознания. Реальный мир перестаёт существовать... кто-то тянет в прошлое.

– Меня в него двумя арканами не затащишь, – Василий, словно заправский массажист, сильными пальцами разминал ветерану шейные хрящи. – Прошное – злое существо... молодыми да сопливыми мы творим в нём невесть что...

– Философ, шею не сломай больному.

– Он здоровее нас. На такую бычью шею не вдруг ярмо подберёшь.

– У меня, Василий, душа обессиленная...

– Знамо: настрадался на войне, повидал такого ада.

– На войне и на миру опоганенном...

Хозяйка сомневалась: выставить-нет значку... Оба во хмелю... Васька частушки непотребные горланит.

Телепат местного значения прочитал мысли Красного Октября:

– Ставь, ставь крем-соду.

– Частушки про власть орать не будешь?

– Про какую власть – на которую хочется кучу накласть? Такую ошпарю частушками.

Льётся кровь народная –
Наверно, беспородная.
Самодуры красные
Для страны опасные.

... Культ морды давно осудили...

Плачет русская земля –
Все злодеяния из Кремля.
Знаем мы врагов народа.
И в Кремле не без уroda.

Ветеран Великой Бойни вслушивался в песенный настрой. Сливались на лбу морщины... отблески далёкой

муки проблескивали в прищуренных глазах. Разряд памяти не пробивался сквозь толщу годин.

Где-то в лабиринтах извилин отложился запретный текст частушек, но Воробьёв, угмлённый грузным временем жития, не мог припомнить точки отсчёта дней услышанного фольклора. Из мучительного состояния погружения в прошлое вывел Губошлёп:

– Их давно поют в Колпашино... не косись, Красный Октябрь, не пугайся красных... сейчас правят серо-буромалиновые... Устроили гады вторую смерть землякам через утопление...

От самогонки сердечник отказался. Не хотелось ни водки, ни коньяка... опустил парной туман прозрения, окутал существо. То, что сулило гибель, было неприемлемо для снайпера и разведчика. Брать на мушку свою жизнь? Нет! Придётся выдержать последний бой за себя, за отпущенное время, оставленное Всевышним. Отдалить роковую черту... засеять душу новыми всхожими семенами...

На больничной койке гвардеец продолжал казнить себя: зачем потащился в Колпашино, где взбудоражил память, стал свидетелем нового падения власти: мир её изощрённой лжи ширился, калечил души. Правителям не помогут молитвы, О т ч е н а ш не воскресит испоганенной правды. «Не воскресит и мою душу, которую сатана покрыл несмываемым позором...»

Осматривая простое убранство почти деревенской избы, Натан Натаныч перевёл взгляд на разговорчивого Василия, пожирающего самогон. В этом шустряке бурлила энергия жизни... над башкой словно сиял нимб свободы.

– Болезный, чё приуныл? Подсаживайся. Опрокинем тоску... Если судьбу не смачивать водкой, напитками народными – до петли подумаешься. А так шархнешь

стаканеус – и всё чин чинарём... Давно говорю корешам: наша страна – стартовая площадка для алкашей...

– Для ракет тоже, – добавила Октябрина.

– Эээ, Красный Октябрь, на хрена нам светлый космос, если в головах тьма. Надо не Всевышнего в небесах вышаривать, а на земле бога искать. А божество земное – народ. Его нашла вульгарная партия да просмотрела за всей своей трепотнёй... Рабами были, рабами подохнем... Я в армии на политзанятиях мозги офицерам вправлял. Они страшатся солдатеусам матушку-правду представлять, а я ложь крушу ломиком... Посмотри, Красный Октябрь, какая ситуация с утопленниками. Они лежали в яру нашем под охраной двух улиц – Железного Феликса и Ульянова. Яр – на крови.... Подсунули нарымчанам подарочек... Ох, не подарок нам власть, ох, не подарок...

– Сосед, я на тебя самогонки не напасусь.

– Красный Октябрь с улицы Железного Феликса, я тебе мешок сахара привезу, дрожжей куплю.

– Гони её, проклятую, сам.

– Терпежу нет. Начнёт змеевичок яд целебный сбрасывать – дегустацию устраиваю... После третьей пробы хорошее словечко дегустация уже не произнесу.

– Всё, Василий, заканчивай фестиваль.

– Не гони, кума. На хозработках пригожусь.

– Человеку отдохнуть надо...

– Отдохнём в тюрьме...

Глава восьмая

1

Невинная Обь несла великие воды в бескрайние дали.

В сети рыбаков, на перетяги с самоловными крючками попадались трупы с пригрузом. Нарымчане их не выпутывали.

Кто с оторопью, кто со страхом осматривали диковинный улов, обрезали сети, лишались многих остро отточенных крючков.

Труп на плаву занесло в густые тальники. Шапка пены прикрыла остаток косоворотки, бессмертный крестик на прочной шёлковой нитке.

Бурение на кости прекратилось: бур перестал наткаться на останки.

Винты поработали основательно, остолбенелый яр затих в скорбном уединении.

Время в Колпашино расколосось на две глубины. Одна, опозоренная чекистами в конце тридцатых, была притоплена по макушку, другая, тоже опозоренная органами новой формации, вздыбилась яром, продавленным вглубь городской территории.

Приречные улицы Железного Феликса и Ульянова перекрещивались, будто неумолимый век поставил жирный крест на кровавом событии эпохи.

Без гадалок горожане знали: неподкупная Обь доберётся до имён ярых хозяев красной истории. Дело оставалось за временем и недюжинной силой воды.

В секретные папки легли отчёты об успешно проведённой операции по сокрытию следов давнего преступления.

Новые органы считали: недавнее преступление забудется, зарастёт травой забвения... Поболтает годик-другой беспамятный народишко, заботы о молоке и хлебе насущном вытеснят рассусолы о скопище трупов, спрятанных воровски в матёрый Колпашинский яр.

С мнением народа давно перестали считаться. На фоне грандиозных дел, космических запусков, вскрытия целины,

покорения рек невесомые мнения не представляли реальных угроз Отечеству. И Обь покорила: приняла эстафету яра с молчаливой покорностью.

Раздумывал историк об этой вакханалии в тишине гостиничного номера, даже не удивляясь предприимчивости твердолобых генсеков. Пропаганда отбивала морзянку героическим ключом.

Учёный успел разувериться в кривой линии партии, в театре абсурда, где народу отводилась зачуханная галёрка.

Знал Горелов: неугодных запихивают в психушки, почти на каждого интеллигента в недрах КГБ хранятся тайнички дел – со всеми проколами, прегрешениями, выпадами против правящего сообщества партийцев.

Не однажды фронтовик-штрафбатовец пытался добиться, чтобы его допустили до архивов НКВД, но гриф секретности охранялся будто крылатым хищным падальщиком с одноимённым названием.

Было что подводить под статью с е к р е т н о с т и.

«Но память мою не засекретить... Все ужасы Ярзоны уложены, как на полки истории... Сплав трупов – продолжение кошмаров...»

Изредка брало сомнение: по той ли стезе направил усилия историка. Сколько можно шляться по смрадным помойкам веков. Возможно, народ и не нуждается в заступничестве, его устраивает положение смиренного раба. Спивается нация, да и чёрт с ней, дураковатой массой, которую ничему не научил сложный исторический путь. Ключули на обе наживки большевиков – на белую и красную. Рубились друг против друга заклятыми врагами. Ненависть разгоралась сухим хворостом. И разве догадывались – кто поднёс спичку раздора, кто с демоническим хохотом, ядовитым злорадством потирал руки, набивал местечковые сундуки награбленным добром.

Из треклятой жизни перекочевал в сказки спокойный Иванушка-дурачок. Отвели ему роль полоротого победителя, сдобрили легендами – у него от радости рот до ушей. Усыпили твою бдительность, Иванушка, царевну выторговали у истории...

Какие истинные демократические силы были брошены в предыдущих веках на спасение духа народа. Какие яркие имена просверкали в высотах художественной литературы. Художники-обличители на своих полотнах выражали неподдельную любовь к простолюдью. Неужели мимо сердец проплыли не утлые чёлны культуры? Неужели века унижения вживили в сознание рабов истины: из нужды не выломиться... плетью обуха не перешибёшь?..

В продолжении трактата о ж е р т в е н н о м народе историк непременно вставит некрасовское умозаключение:

...Люди холопского звания –
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание –
Тем им милей господа...

Вот где таится кручёная плеть для холопа, его житейское понимание о беспорной мордобойной силе барина.

Стон – не вечная народная песня. Бывший лейтенант государственной безопасности верил в коренной разум нации. В ней на генетическом уровне сияла свобода, с лёгкостью облаков проносились мечты о будущем счастье.

Грозы сеет жадная власть, громы и молнии пожирают холопы.

В гостиничном номере работалось не так продуктивно, как в относительной тишине домашнего кабинета. Там мысли группировались в атакующий строй,

не прятались по окопам. Мешала сосредоточиться мадам Лавинская: спусковой крючок её непредвиденности мог опуститься в любую минуту.

Вспомнилась частушка, услышанная на берегу, допрос Авеля Пиоттуха в пыталъне. Перед расстрелом на Горелова вешали рифмованную правду о злодеяниях Ярзоны. Р а з б о й н и к К у д е я р – именно он вклинился в память с тех роковых дней допроса.

Условный стук в дверь вынудил вздрогнуть.

Ухмылка Полины часто выводила из равновесия.

– Не помешала Ломоносову?

– Помешала!

– Фи! Какой неучливый! Долго будешь держать на пороге?

С ответом медлил. Сглатывая слюну, смачивал словесный гнев.

В номере полячка предприняла попытку обнять своего неласкового Сержа, он сбросил с плеч неуверенные руки.

– Ты чего?

– Надо уезжать отсюда... немедленно...

– Катись колбаской по малой Спасской... У меня ещё дел под завязку.

– Не все склады обобрала?

– Не все... Серёженька, да что сегодня с тобой?

– А то: раздражаешь меня своей бесцеремонностью...

Ей не раз удавалось сломить сопротивление учёного бесстыдным напором чересчур вольных рук. Она не любила проигрыша на поле наигранной страсти и заученной наглости. Обезоруженный противник вскоре тискал доверчивые груди шантажистки, и захваченные врасплох губы втягивали её преданный язык... Теперь она могла отсечь всякое неповиновение. Власть похоти смяла власть сердечных чувств...

Закончилось кипение недавней злости: не оставалось и пузырька на поверхности их сумбурных отношений.

Некогда было разбираться штрафбатовцу в скорой ломке мужской воли. Из него свили пеньковую верёвку и завязали морской узел...

Частушка о разбойнике Кудеяре заставила Горелова предпринять поиски остальных стихообвинений. Если сорок лет едкая сатира жива, разгуливает по городку – значит, будет легче дойти до её истоков.

Могутный старичина Киприан Сухушин подсказал:

– Толкнись к Анне Колотовкиной – она в годы расстрельщины в газетке местной служила.

Былая красота семидесятилетней северянки лежала на поверхности её миловидного лица, не совсем порабощённого старческими морщинами.

Отложив вязание носка, поднялась с дивана. Встретив гостя роскошной улыбкой, пригасила её, узнав о цели посещения. Насторожилась.

– Вы не из органов?.. Ну, слава Богу... Эти частушки энкавэдэшники искали. Позже кагэбэшники наведывались. Вот до сей поры не знаю, кто сочинитель. По тем временам это был смелый вызов блюстителям порядка... точнее беспорядка. Нам так хотелось их в газете пропечатать, чтобы знали земляки всю правдушку о судьбе обречённых, о том позоре, который пережил Колпашинский яр... Видели, что на берегу творилось в эти дни?

– Анна Сергеевна, может, у вас сохранился текст частушек?

– Что вы! Столько лет кануло.

Подозрительность Колотовкиной усилилась.

– Со сцены пелись они?

– Не слышала. Народ-то страху натерпелся... запуган... в открытую на власть не пойдёт даже с рогатиной.

– На яру, когда трупы топили, кто-то пропел частушку про разбойника Кудеяра...

– Немало лихих разбойников по Сибири прошлось, – уклончиво ответила Анна Сергеевна. – Сейчас я чаем вас напою... варенье малиновое ещё живо в подполе.

– Спасибо. Пойду дальше поиск вести.

Поймав во взгляде старушки с блёклой красотой лучи недоверия, историк отказался от продолжения беседы и покинул избу.

Май набирал силу Солнца, радовался его благодати.

Из всех ликований птиц выделялись звонкие трели наших аборигенок – синиц. Горелов любил их пташью вольницу, весёлый неугомон.

Возле продуктового магазина встретил снайпера.

– Натан, ты ли это?!

– Всей армейской мордой.

– В больницу заглядывал, говорят – выписался...

– Мало сладости на больничной койке.

– Сердце укрепил?

– На двух скрепках держится.

– Рад встрече... сослуживец... Мы с тобой одно жестокое время нюхали...

– И сами занюханнми стали... Не обижайся, офицер госбезопасности. Когда в Томск?

– Да хоть завтра... Дельце одно появилось: хочу частушки собрать о ратных делах НКВД.

– В моей памяти осталась какая-то закваска... силюсь вспомнить – не могу продраться сквозь толщу лет... точно муха села на мушку нагана и мешает прицелиться. Сегодня за столом кореш Васька какие-то частушки горланил.

– Не помнишь какие?

– Нет. На мой рассудок затмение находило... Ты знаешь, фронтовичок, у меня такое ощущение, точно я по тому свету начинаю бродить. Этот уже не мой, и т у д а с опаской запускают, чтобы ничего плохого не натворил.

– Не грусти, Натан. Жизнь продолжается... время течёт реальное. В потустороннем мире побывать успеем.

– А пустят туда?

– Без пропуска.

К продмагу матросской походочкой плыл Василий. Завидев знаконца, сбавил качку.

– Натанушка, выручай – душа воспламенилась... даже четушка устроит...

– Вот, Серёжа, мой верный кореш...– Посмотрел в сторону Губошлёпа. – Только тебя вспомнил – нарисовался.

– Мой пейзаж, – обвёл пальцем невинную рожицу, – часто у магазина возникает... цыганю у кого могу, у кого не могу – тоже цыганю.

Понравился Горелову городской тип честного свойства. Сергей Иванович смотрел на него с надеждой: вдруг всплывут частушки, так необходимые для продолжения трактата.

Встречу закрепили силовым рукопожатием. Лапа у Васи была мускулистая, твёрдая.

– Его карасей в гостинице ели, – уточнил Натан Натаныч.

– Крепкие лапти, – похвалил Горелов рыбака.

– Нашенские озёра и не такие плетут, – подстраиваясь под тон шутки, подбодрил разговор измученный винной жаждой нарымчанин. – Один красавец забрёл в сети – ловушку на дно озера осадил... выпутал, положил на лопасть весла – хвостике не уместился...

– Василёк, не сверли меня очами жгучими, – улыбнулся снайпер-разведчик, – будет тебе, телепат,

угощение... Он хотел вылечить меня подзатыльником – собирался перевести в голове стрелку в нужном направлении.

В магазинную дверь Губошлёп юркнул с ловкостью опытной лисицы.

– О частушках надо заговорить, – торопил штрафбатовец.

– Не спугнуть бы, – проявил осторожность Воробьёв.
– Нарымчане – нация ущемлённая, но хитрая.

Срывая зубами колпачок с «особой Московской», рыбак раскровянил нижнюю губу. Душе было невтерпёж – в магазине успел приложиться. Не навлекая взоры покупателей, сделал глотков пять без бульканья. Он умел шифровать мокрые звуки.

– Натанушка, болезный ты мой, не уезжай... Айда, мужики, на яр – помянем убиенных-утопленных... Я две бутыленции взял. Каюсь – без спроса кредитора... ну и закуси кое-какой...

Униженный Колпашинский яр поугрюмел. Огромная вымоина, похожая на овраг, безнаказанно напоззла на материковый берег. На кромках скола свешивались пласты дёрна, плети оборванных корней.

Над поруганным яром кружилось вороньё, заглушая гвалтом шум дизеля теплохода-толкача, везущего в низовье на двух осевших баржах гравий.

– Кыш, падальщики! – шумнул на галдёжниц Василий, размахивая энцефалитной курткой.

Расстелил полинявшую одежку на робкой травке, по-хозяйски сервировал «стол».

Здесь была граница земли не надмогильной – свободной, не опозоренной органами трусливой власти.

Подойдя решительными шагами к самой кромке яра, Воробьёв заглянул туда, где недавно была преисподняя. Обь привычно плескалась у подножия песчано-глинистой крути. Она завела свои мутноватые воды в проран: там шевелилась пена, похожая на мозги всех невинно убиенных в безумные годы. Извилины шевелились, сматывались в живые клубки. Всё, что когда-то было сгустками памяти, нервов, живительных импульсов созидания, будто стекло сюда из позорной ямины и пребывало в нерешительности.

Ч и к и с т далёкой позорной поры принялся приплясывать у самой обрывистой границы. Твердь не поддавалась обрушению.

– Снайпер, не испытывай судьбу! – крикнул Горелов.

– Серёжа, на хрена мне такая судьба... с мерцающей памятью... Помнишь классика: «Есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю...»

– Фаталист, не нырни вослед за трупами.

– А, может, это мой шграфбат... игра в рулетку...

Обь видела человека на границе опасности и... поощряла его.

Ветеран-гвардеец стал подпрыгивать ещё выше под громкие строки:

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь...
Избы забоченились,
А и всех-то пять...

– Натан, не дури!

– Тёзка Есенина, не бойся... не здесь моя гибель...

– Болезный, иди к нам. Помянем христианские души.

С походным стаканчиком водки Василий направился к фаталисту.

– Не подходи – опасно... сейчас приду...

– Боишься прыгнуть? Помочь? Сейчас столкну...

– Дураком! Как со старшими разговариваешь? – напустился Горелов.

– Чё он дровичся? Водка простаивает...

– Подзатыльниками да страхом человека не вылечить...

– Вот и я говорю, Сергей Иванович, особый случай: «особая Московская» в уважении нуждается, а он время в тянучку превратил.

Штрафбатовец недоумевал: почему Губошлёп так развязно ведёт себя.

– Василий, ты чего грубишь ветерану?

– За защитника Отечества выпью, за Нагана Наганыча – нет... В магазине сейчас ткнули носом: «Земляк, ты чё с энкавэдэшниками дружбу водишь?.. Один из них фамилию Воробьёв носит...– Губошлёп нагло уставился в растерянное лицо снайпера. – Ведь Воробьёв ты?.. В НКВД служил?.. Слушай частушку про себя:

Воробьёв – палач плечист.

У него наган речист.

Только речь произнесёт –

Тачка к яме труп везёт.

Насторожился Горелов: частушка из той Ярзоновской эпохи. Спросил:

– Всегда за правду горой?

– Не горой – Колпашинским яром... – хмель высекал искры честного гнева. – Сознавайся, Наган Наганыч, в грехах – может, спишем тебе старый должок.

Снайпер и разведчик давно ждал очистительной клизмы правды. Он не обижался на рыбака... Вот когда припомнилась встреча с комендантом, поручение Перхоти найти сочинителя частушек... Не покаяние – смелый глас народа в лице отъявленного выпивохи поможет очищению заскорузлой души... Напряжённо ждал от Василия продолжения атаки. И она наступила.

– Как ты мог, Наган Наганыч, своих – по черепам? Гестаповец хренов!

– Шерсти его, шерсти!..

– И ты хорош, Сергей Иваныч! В НКВД служил?

– Служил.

– Яр трупами заполнял?

– Нет. Как мог, защищал невинных.

– Другой табак... Думали – ссудили на водку, так Васька Глухарь будет вас нежно по волчьей шерсти гладить... Прощу вас за давностью лет – фронтовики всё же... Помянем уплывших на Север... пусть им обская вода пухом будет...

Словесная пощёчина благотворно подействовала на снайпера военных лет. Он сидел и наблюдал за разомлевшей от тепла божьей коровкой. Травинка, на которой сидело существо с точками, была пока слабенькой, прогнулась под легковесным тельцем. И вновь благословенный мир природы предстал перед человеком во всём распахе космического величия. Дела земные, ничтожные, греховодные не уплыли облаками, не растворились в прохладной синеве. Травинки, божья коровка, обвальный небесный свет полонили свой безгрешный мир существования.

Безмятежная Обь задумалась о далёком холодном океане. Её не смущали ни дали, ни тягость преодоления трактового пути.

Реке поручили перехоронить останки, и она в глубинных потоках пронесёт их в низовье без особого желания, но с усердием течения.

Глухарь перестал токовать, виновато глазел на снайпера.

Новых частушек от Губошлёпа ждал штрафбатовец. Чтобы не спугнуть птицу, не напоминал о них.

Водка расходилась вяло, безвкусно. Даже виночерпий потомственной выучки перестал сокращать объём коварной жидкости. Молча подошёл к Нагану Наганычу, осторожно приступил к массажу шейных мышц.

– Не серчай на меня, стрелок! Нашла дерзость – еле остановился.

– Зря остановился... Век ждал осуждения... Я, землячок, не по своей воле пошёл во чикисты... Комендатура принудила...

– Плохо, когда волю гнут в три колена. Меня в тюряге сломить хотели – не поддался. Зэковский главарюга сунул заточку в руки, приказал: пришей вот ту падлу в тельняшке. – «За что?» – «Не твоё дело собачье...» Согнул заточку из гвоздя полукругом, швырнул под ноги пахану... Перед сном избили до полусмерти... подлечился... снова тварь зонная отточенный гвоздище суёт... две секунды на раздумье и острая самоделка в ляжку принудили вошла... удивился: как в маргарин влетела... В шестёрках в зоне не ходил. Дашь послабление – затюкают... На птицефабриках есть процент списания цыплят по статье р а с к л ё в. И людей заклёвывают не хуже, чем в птичнике.

По мере напряжённости повествования пальцы Глухаря перешли почти на садистский массаж. Ветеран терпел, считая физические нагрузки рук дополнением к словам недавнего обличения.

– За что сидел, гусар? – Штрафбатовец тоже перешёл на полугрубый тон.

– За групповое убийство врага народа... Когда вскрыли язву культа личности, мы в городке вычислили орла с когтями мокрой курицы: О р л о в. Докопались до настоящей фамилии: П и о т т у х... В НКВД зверствовал Авель – смерть – Борисович... Прихватили на рыбалке, ерша в задний проход запустили: хлебнул сибирской коренной казни... После такой рыбной операции не выживают...

– Столяр пятого разряда, а ты, оказывается, герой! – восхитился Горелов. – Выходит, и за меня отомстил... Пиоттух на допросах статью под моё дело подобрал... страшная статья – высшая мера... так вот вышло – не расстреляли, десятью годами тюрьмы заменили...

– Дорогуша, Сергей свет Иваныч, да мы, оказывается, одного поля колоски.

– Одного поля... оба у межи росли...

– И вот этот василёк рядом. – Губошлёп изо всей силы сдавил шейные позвонки мастера снайперских дел. – Он по черепам дубасил... я трупы топить отказался...

– Связь времён, – перебил героя Сергей Иванович. – Не суди человека, которого жизнь протащила по ухабам... Путь судьбы самый извилистый...

2

Иногда приближение обморока Натан Натанович чувствовал за версту. Сознание гасилось медленно, реальность куталась в дымку.

Недавно в толще могучего обского яра была свалка бывших существ, отведавших и его смертельных пуль... Колпашинская драма, в которой никудышный актёришка Воробьёв сыграл не второстепенную роль.

Слова обличителя Глухаря доносились из гнусной захлорированной преисподней. Её сейчас не существовало,

она уплыла через береговой проран вместе с обитателями. Но толща земли дышала смертью... яр вроде очистился, оставив для чикиста бессмертный призрак сжатого кулака. Не его ли ожившие пальцы злорадно мяли шею, продавливали вершину позвоночника?

Одoleвало похожее на сон ломучее состояние... мозговые извилины сплетались в змеиный клубок.

Потянуло к обрезной черте яра. С земли поднимался медленно, с задышкой. Лунатично побрёл в сторону Оби. Горелову померещилось: даль ужалась, в страхе отодвинулся синеющий, выгнутый полукружьем горизонт.

Влекли уплывшие трупы... б е р е г р а с ч ё т а не представлял опасности, не грозил вечным укором.

За секунду до рокового шага шграфбатовец ухватился за воротник плаща, но резко не дёрнул. Он развернул фронтовика лицом к жизни, схватил в объятия и дружески отвёл от песчаной вертикали.

Губошлёпу желалось другого исхода. Привыкший не доверять своей судьбе, он и на чужие смотрел с опаской и недоверием. В начальную фазу момента Глухарю не терпелось схватить чикиста за руку, подвести к смертной крути. Созрела мысль столкнуть в Обь нерешительного фаталиста. Где ему набраться сухого пороха, чтобы решительно шагнуть в бессмертную стихию воды?

– Наган Наганыч, пойдём, повторим подвиг, – встретил ехидством невменяемого гвардейца наследственный алкаш. – В тебе жизнь борется со злыдней-смертью: дай ей потачку, уважь...

– Замолчи! – оборвал Сергей Иванович бестактного говоруна.

– Слушаюсь! Замолкаю.

– Иди, вызови «Скорую».

– Есть!

– Мы потихоньку пойдём к больнице... ты – мигом!

Сунув в карман энцефалитки початую бутылку водки, ломтики колбасы и сыра, Глухарь враскачку полетел в городок.

Отрешенный взор, дрожащее обмякшее тело пугало сослуживца комендатуры и Ярзоны.

Горелов поддерживал:

– Крепись, Натан, крепись! Фронт вспомни, окопы...

– Ко-ман-дир... за-да-ние выпол-нил...

– Молодец!

– Ты кто?

– Штрафбатовец Горелов.

– Ообь зоовёёт...

– Забудь... нас жизнь зовёт...

Всё тяжелее становилось быть подпоркой малоподвижному телу. Присели на пяточке прогретого песка. Отсюда не виделся даже краешек могучего плёса, зато небеса раздвинули границы, притягивали к себе: синий магнетизм ощутил даже больной:

– Таам хоорошоо... – в поблёкших глазах Воробьёва оттиснулся свет зовущих высот.

– Там, Натанушка, лучше, чем на земле, – заговаривал сердечника историк, – там непогрешимая свобода... воля вольная...

В вялом разговоре больной прикусил язык, струйка крови с пеной скапливалась в устье губ.

Промокнув носовым платком розовое скопление, Сергей Иванович слегка потормошил товарища. Потрогав руки, ощутил проникший в них коварный холодок.

– Снайпер, держиись!

Массажировал островок тела над сердцем по часовой стрелке, чтобы продлить часы и дни жизни: они тоже текут в одном направлении. Поглядывал на дорогу – скоро ли покажется «неотложка».

О попытке добровольного полёта к Оби и горизонту учёный не стал рассказывать врачам. Психическое расстройство переживал и сам. Историк представлялось: нет на Советской земле человека из низов, который бы сберёг своё сердце от продуманного насилия властей, от общегосударственного психоза. Адская машина управления массами, давления на умы работала от политической смазки, строгого контроля над паствой.

Разуверился в истории. Разуверился в тягомотине времени. Паразитический класс управленческой элиты решил обессмертить себя и семейные кланы.

Часто историк обтачивал в мыслях вывод веков: «В России было две напасти: сперва в л а с т ь т ь м ы, теперь т ь м а в л а с т и...» И народ пребывает во тьме, и знать расплодилась тьмою ночной. Какую может иметь власть безгласная тьма? Разве устоит она против сплочённых сил тьмы власти?

И новое историческое полотно оказалось прелым. Партия помыкает людишками... даже трупам нет защиты, покоя в земле. Отказ от перезахоронения невинно убиенных не прибавит уважения и славы правящей верхушке, её многочисленной прожорливой свите.

Нынешнее состояние нации можно назвать з а т я ж н о й а п а т и е й. От безразличия к серой жизни и лозунговой напасти у народа оставался старый проверенный способ сошествия с ума – питье. Учёный, путешествуя по городам и весям многострадальной Родины, видел: народ спивается. До коммунизма, вроде, рукой подать, отсветы рая долетают из будущего, а глупый народишко хочет обезуметь, забыться, уйти в новую тьму существования.

Давно уяснил Горелов: на историю брюзжать не надо. Хотелось бы видеть её не зигзагообразной, не кровавой, не

хищной. Такой не будет. За власть бьются не ради процветания народов – ради сохранения правящего класса, мечтающего о баснословной наживе. Чернь на полях, у станков, в шахтах, на стройках. Знать сколачивает капиталы...

Азбучные истины лезли в голову в гостиничном номере. Вековое бессилие и бесправие народа представилось его расплатой за безразличие к собственной воле и свободе. Людишек несло в мутном потоке истории брошенным щепьём. Они тащили необременительное ярмо дураков. У власти ума оказалось на полушку больше, это дало право быть вечными погонялами.

Чувство ревности Сергей Иванович научился отгонять порывами сильной воли. Загостилась где-то мадам Лавинская – пусть. После проверок, ревизий застолье – обычное дело. Но сегодня провидение бесновалось, выставляя картинки напоказ: Полина с кем-то в постели... проявляет свой безудержный бабий пыл... самец намного моложе дорожного любовника... усердствует на пышке...

«Расстанусь с ней в Томске без сожаления...»

Стал припоминать изречение какого-то зарубежного писателя о таких вот любвеобильных особах: «Добродетель, которую надо стеречь, не стоит того, чтобы её стеречь...»

«Действительно, не стоит. Кто она мне? Полужена? Полулюбовница? Держит на привязи, и верёвочка не рвётся... Где-то терзается муж... разведись скорее с пугалом...»

Вчера полячка-гордячка потешила слух бравой частушкой:

Эй, подружка, не зевай,
Кто попросит – всем давай,
Не фарфоровая чашечка –
Не выломится край.

«Мера её испорченности даже мне не известна. Вроде не чужая душа, а потёмки непроглядные...»

Она ввалилась в номер пьяной.

– Ссерж, вот и я... прости... потасканная...

– Вижу.

– Козёл! Видит он!..

– Молчи и... присядь...

– Мне прилечь надо... с тобой...

– Полина Юрьевна, я провожу в ваш номер.

– Мои номера везде... даже... хочешь, срифмую?

Большого труда стоило историку уговорить бунтаря в юбке. Пришлось включить радио почти на полную катушку, чтобы заглушить местное би-би-си.

Такой развязной, изрядно выпившей любовницу раньше слышать и видеть не приходилось. Боялся одного: не появилась бы дежурная, не увидела Лавинскую в состоянии постельного режима. В свой номер идти отказалась наотрез... Проводил часа через три, пока не выклянула беглой, безвкусной встречи...

Медики Колпашинской больницы настаивали на долгом лечении фронтовика Воробьёва, но он через три дня сбежал в больничном халате. Глухарь сходил к главврачу, принёс халат, письменный отказ от лечения, забрал одежду боевого снайпера.

На Губошлёпа находили волны озлобления. Его почти на каждом шагу попрекали знакомством с бывшими энкавэдэшниками.

– Фронтовики они, – отбодрялся Васька, – вас, дураков, спасли от чумы фашистской.

Он бесцеремонно брал из бумажника Натана Натаныча по пятёрочке да по десяточке, радуясь тому, что у пенсионера их почти что не убывает.

Когда квартирант ввалился под вечер в больничном халате, стоптанных тапочках – удивилась не одна хозяйка. Напуганный кот Дымок, выгнув спину, попятился к порогу.

– Туда ли я попал?.. Изба, вроде, знакомая... Варвара тут...

Напряжённо всматривалась Октябрина в измождённую фигуру, в землистое лицо. Раскрытый рот, испуганные глаза, дураковатый вид привели хозяйку в недоумение и налётный испуг.

– Натаныч?!

– Наганыч... Не ошиблась, Варвара...

«Неужели так люди сходят с ума?»

Октябрина проводила больного к постели, с трудом убедилась прилечь.

– Отдохни, дорогой, дома... больница хоть кого сомнёт.

«Навязала на мою головушку постояльца... о Варваре бредит... пусть приезжает, забирает героя... умрёт – с похоронами возись...»

Участковый кот обходил кровать стороной. Его лечебная миссия закончилась. Дальше пациента брали на поруки иные силы. Дымок чуял веяние наступающей гибели.

За глубокими провалами памяти наступали минуты и часы прозрения. Рождался совсем другой человек с осмысленным взглядом, связной речью. Ветеран стоял на пограничной черте между миром реальным и давящим – потусторонним. Его кто-то перетягивал туда-сюда через линию неравной борьбы.

Красный Октябрь с улицы Железного Феликса тоже подвергалась обстрелу земляков:

– Хорош у тебя квартирант... палач – одним словом...

– Вовремя появился – своими жертвами полюбовался...

– Расстрельщик!

– Гони его в шею!..

Заступалась опешившая Октябрина:

– Его война простила... изранен весь... Сам маршал Жуков снайпером восхищался...

Нюра – вдова расстрелянного Каллистрата, отважилась плюнуть в Красного Октября:

– Приду с кочергой – пристукну твою гада...

Взвешивала пожилуха Октябрина все «за» и «против» – выходило по-народному: напрасно она до сих пор не отказала в жиле сомнительной личности... Но как прогонишь – увечный войной и памятью человек...

Глухарь по-прежнему выуживал из бумажника ветерана водочные... Не стеснялся снайпера:

– Не горюй. Отработаю на побегушках.

– Вася, ты меня не бросай... я тебе машину-инвалидку по завещанию отпишу.

– Не надо, Натаныч, мне позорную машинёшку. Порадовали фронтовиков чудо-техникой. Сами тыловые засранцы на ч л е н о в о з а х разъезжают, а вам – и н в а л и д к и . Я подкоплю денегат – новую дюральку куплю. На той, с которой трупы топили, ездить не могу. Шагну в лодку – хруст черепов слышу.

– Помогу дюралевую лодку купить с самым сильным подвесным мотором. В Томске на сберкнижке деньги есть.

– Тогда я за тебя, Наган... Натан Натаныч, век молиться буду.

– Не надо... Ты своди меня к Прасковье Саиспаевой.

– К гулёне городской? Зачем она тебе? На ней только ленивый не валялся. Но Глухаря брезг берёт. Я – пас.

– Поменьше болтай, гусарик!

Двор полуостячки Праски оказался запущенным. На чурке у рассыпанной поленницы щучьи головы. Со

сломанной изгороди взлетели две вороны, рассерженные приходом неожиданных гостей.

Давняя любовь ч и к и с т а Воробьёва валялась на кровати в грязном мятом платье.

Сердце Натана Натаныча ёкнуло и сжалось от боли.

– Здравствуй, Прасковья!

Расширила затуманенные глаза, медленно потянулась за полотенцем. Швырнула его в бывшего полумужа:

– Изыди, призрак! Чё припёрся?

– Сама приглашала.

– Когда это?

– В больнице.

– Ааа...

Глухарь направил в Саиспаиху стеклянный оружейный ствол: бутылка водки подействовала ударом гаубицы.

– Поставь гостинец на стол и... сматывайтесь оба... Уходи, стрелок, уходи... Какую стыдобу от людей наслушалась! С того и запила... Несчастье ты мне принёс... В ворота не выходите, огородами проберитесь... Марш!

– Вот так встреча! – развёл руками Губошлёп. – Водку зря оставили.

– Мы куда сейчас заходили?

– К твоей Праске, – уточнил Василий.

– К Варваре?

– Далась тебе эта томская Варвара... Остячку по молодости топтал?

– Не помню.

– В НКВД служил?

На лице снайпера выступили пятна, похожие на сыпь. Налитые испугом и недоумением глаза округлились: озеринки наполнились слезами. Даже подсознание было оглушено таким резким анкетным вопросом.

Плач навзрыд тронул не совсем затянутую ряской душу Глухаря.

У ворот обиженные гости остановились. Васька посчитал унижением воровски пробираться огородами. Пусть ветеран порыдает не на улице – у шаткого воротного столба. Если жизнь получилась кривая, расшатанная судьбой – можно её оплакать на грязном дворе Саиспаихи. Ведьма! Так позорно изгнать из грязной халупы... водки зря лишились...

– Натаныч, успокойся. Пускай весь городок восстанет против тебя, проклянет за старые грехи – я тебя не предаю... Прости меня, дурня, за грубые шутки на яру... Васька Глухарь – не совсем конченный алкаш... мы с тобой – божьи коровки, испятнанные точками...

Словесный поток самозваного ординарца приглушил рыдание гвардейца. Вскоре иссяк поток слёз.

Покинули неудобный двор Саиспаихи. Шагали медленно, ни от кого не таясь, никого не боясь.

– Мы где?

– Идём по улице Железного Феликса, – уточнил маршрут ординарец, – чтоб она под яр провалилась... именами отъявленных палачей сотни улиц в стране названы... мавзолеи... памятники... Твой грех, Натаныч, – ничто по сравнению с м а с с о в и к а м и - з а т е й н и к а м и, потопившими страну в народной кровушке... Понимаешь меня, снайпер, обласканный маршалом Жуковым?

Ответа не было.

Урывками историк Горелов записывал в дневнике разрозненные мысли. В городке образца семьдесят девятого года работалось хуже, чем в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах. Причину сбоя в труде он видел в Полине Юрьевне: д о б р о д е т е л ь успела наследить в спокойной

душе учёного. Её отлучки по делам затягивались до полночи.

Временами Сергей Иванович представлял историю Руси Великой огромной свалкой, куда набросали за века массу хлама. Он – старьевщик – роется в полуистлевших армяках, зипунах, кафтанах, мундирах. Покрылись ржавчиной короны, ордена, сабли, пики... хронология событий превратилась в расшатанный частокол.

«Бреду по этой свалке всю сознательную жизнь, стараюсь кристаллизовать чистую правду. Я – алхимик веков – оплакиваю жертвы, осуждаю палачей. Есть жертвы – найдутся виселицы и гильотины. Сыщутся палачи.

Что делают правители, если жертва – весь народ? Они усиливают полицейский режим, готовят карателей специального назначения. Отсюда тюрьмы, концлагеря, такие вот Ярзоны, куда падалью сброшены сотни трупов в расстрельные годы и отправлены в глубины Оби в новое равнодушное время...

Докторскую диссертацию мне не защитить, Не пропустят новейшие воззрения на продажную власть, на партию-колосса: на глиняных ногах, но стоит на подпорках услужливой пропаганды... Без всеобщего покаяния клан коммунистов долго не продержится. Но он и не думает признавать промахи, допущенные даже в новейшей истории. Пример тому – предание воде трупов совсем не в р а г о в н а р о д а. Правители той эпохи без зазрения совести перевели предательскую стрелку на б е л ы х, пропитав их не только кровью, но и ненавистью оглуплённых масс... Революции, сотворённые ядовитыми умами махровых властолюбцев, услужливыми руками недалёковидного простолюдья, не принесли ни свободы, ни земли, ни полноценной радости труда. Одна формация рабства перетекла в другую – изощрённо хитрую, скрытую во лжи, похожей на правду... В л а с т ь – о т

дьявола... Солнцем предоставлена свобода задолго до богов. В его благотворных лучах сосредоточена истинная суть правления миром... Человек вторгся в пределы света со своим непродуманным уставом, приняв Вселенную за тихий заброшенный монастырь...»

За дверью номера гудел пылесос, мешая сосредоточиться на главной мысли трактата.

«...История равна отпущенному времени на производство войн, лет мира... Греховное человечество развивается по чьей-то навязанной спирали. Если так, то цари, короли, шахи, рабы – простые марионетки веков. Немногие дорвались до сладкой жизни, большинство горбчатся на прохиндеев в коронах и мантиях... Существует одна защита от навязанных идей – слитая воля миллионов. Вот с этим водоёмом землянам не повезло. Разброд в умах – колоссальный. Государства – вотчины. В каждом – свой удельный князёк и масса прикормленных холуев, сторожей заведённого порядка. Полиции, тюрьмы, суды, чиновничество – класс, который никогда не будет раскулачен... Ненавижу жадную свору притеснителей, обирал народа. Помыкают чернью во имя личных дворцов, не хилых окладов, жирных пенсий...»

Не даёт покоя Колпашинский многострадальный яр. Трупы вопиют. Не души ли казнённых засветились ритуальными огнями во время размыва берега? Последний всплеск траурного света... Прощание с землянами перед уходом в придонные струи Оби...»

Настойчивый стук в дверь привёл историка к тихому матерку.

Лавинская пропустила вперёд капитана, он с заискивающей улыбкой протянул учёному пухлую руку.

– Сергиенко Вадим... а вы знаменитый Горелов, труды которого мы изучали в благословенных стенах КГБ...

Рад, весьма рад познакомиться с боевым сотрудником органов госбезопасности.

От капитана попахивало коньяком и трубочным табачком.

Победно посматривала Полина на растерянного борца за народ.

Сражённый бесцеремонностью, даже наглостью надоедливой любовницы, Сергей Иванович в первую минуту растерялся. Он осматривал ладную фигуру молодого офицера со всей тщательностью постельного соперника.

«Чтобы моя золотая стерва да не переспала с этим усачом... домогался её на катере связи... не получилось на водомёте – дождал бабу на суше...»

– Серж, Вадиму очень хотелось познакомиться с легендарной личностью...

– Да, да, – запальчиво подтвердил капитан. – Только героическая личность могла в расстрельные годы бросить вызов НКВД.

– Почему же грозный КГБ не бросил вызов нынешней системе?.. Топить трупы на глазах встревоженных горожан.

– Сергей Иванович, НКВД чикал, нам досталось разгребать завалы...

– Чисто разгребли?

– Обь разберётся, – ушёл от честного ответа капитан. –

А вы – молодчага! Настоящий чекист!

– Я – учёный, разгребаящий завалы истории.

– Интересно будет почитать ваши новые труды, – искренне пожелал капитан современной госбезопасности и так же искренне водрузил на стол бутылку армянского коньяка.

Не успел защелкнуть на замочки дорогой портфель из чистой кожи, услышал резкое:

– Вон из моего номера, доблестный сотрудник!
Убирайтесь вместе с этой шлюхой!

– Не понял, – вздрогнул от неожиданной развязки усач.

– И никогда не поймёшь резкой правды.

– Что взять со штрафбатовца?! – заступилась Полина Юрьевна. – Сделаем поправку и скидку на его психическое состояние... контузии, ранения...

– Непредсказуем учёный народец, – вымолвил офицер, опуская коньяк в нутро коричневого портфеля...

3

Белые ночи были на ближних подступах к Оби, яру, игрушечному городку.

Блаженный матовый свет дольше обычного задерживался в поднебесье, прилипал к разгонистому плёсу, крышам, тихо оседал на улицы и переулки.

Городок Колпашино можно было отнести к столице Нарымского края. Трудная судьба передёрнула карту времени, вручив ему две эры: первую – до обрушения яра, вторую – после страшного берегового позора.

Обь и раньше точила земную твердь. Ни природа, ни люди никогда не таили обиды на недюжинную силушку реки-великанши.

Властители выдували из народа священный национальный дух, гнули в бараний рог коренную волю. Скрипело высушенное ярмо веков.

Даже вольных гордых сибиряков сломила коварная власть, привыкшая черпать из родникового труда людей золото и уголь, железную руду и зерно. К тронам правителей ползли прихлебатели, увивались возле доходных, кормёжных мест. В головах – крупные оклады, награды, пышные мундиры.

Г о р о д а Г л у п о в ы были в Щедринские времена, хватало их в Сталинские, Хрущёвские, Брежневские.

Уютненький город Колпашино глупостью не отличался. Северный форпост труда поставлял стране лес и рыбу, меха и богатый опыт по селекции картофеля. Город содержал в безопасности воздушные ворота Нарыма: к самолётно-вертолётному гулу здесь привыкли так же давно, словно к музыкальному погуживанию комарья.

Ни к лику святых, ни к лику грешных нельзя было причислить горожан после болевого майского события семьдесят девятого года.

Никто не взял на себя смелость перезахоронения обнаруженных останков. Обь предьявила их людям в доказательство своей преданности к истине бытия. Но солюдие прищурилось от позора и страха, дало д о б р о на недоброе дело.

Винить ли горожан, не отстоявших вековую честь яра?

Выгнанный из номера капитан КГБ являлся мелкой сошкой. За него решили в верхах. Ему оставалось одно – разьезжать на водомёте, осматривать широкую панораму обнажения яра, следить за правилом затопления трупов.

После изгнания из гостиничного номера снюхавшейся парочки, Горелов испытал солоноватое чувство: правильно поступил? Не оскорбил офицера?.. Разве капитан не опозорил коренного любовника, не вторгся нагло в чужую область?! И полячка хороша! Заявиться с наглецом, прихватив для примирения армянского пойла.

«Может быть, к лучшему... К границам сердца приближен разрыв отношений... В Томск улетаю один... без этой обременительной связки ворованных ключей...»

В детстве Сергей любил смотреть в широкий окуляр бинокля: даль была беспредельная, предметы лилипутскими. Подумав о годах адской работы в комендатуре, о Ярзоне, Горелов увидел даль лет в тот

самый окуляр удаления, ощутил призрачность прожитого времени. Он дрался за вверенную судьбу до крови, до томительной свободы. Что вышло?

После часовой прогулки по городу захотелось доверить дневнику новые записи. Он прятал общую тетрадь для исповедей под матрасом, в ногах. Не обнаружив на прежнем месте, испытал головокружение. Перерыл постель – доверительная толстушка в коленище исчезла.

Номер пока не убирали, с горничной спроса нет.

Дежурная посмотрела на кандидата исторических наук с нескрываемой презрительностью.

– У нас вещи из номеров не пропадают... обслуга честная... К вам дама частенько похаживает – подшутила, поди...

В доказательство своей невиновности Лавинская неумело перекрестилась.

– Вот те крест, Серж, не брала твои записи. К чему они мне?!

– Капитану служишь? Мстите за выдворение из номера?

– Фи! Опупел совсем.

– В дневнике – моя жизнь, мои сокровенные труды... Полина, именем Бога прошу – верните тетрадь.

По хитрым, затуманенным ложью глазам Горелов догадался: нудная любовница причастна к исчезновению выстраданных записей.

Заявилась без стука администратор гостиницы, огорошила:

– С двенадцати часов дня освободите номер... общее решение администрации...

– Похоже на ультиматум! – возмущился учёный.

– Решение! У нас порядочный отель, не ночлежный дом.

– Прикуси язык! – заступилась Полина Юрьевна. – Не дадим вторгаться в нашу частную жизнь.

– Ч а с т н о й ж и з н ь ю занимайтесь в Томске, здесь общественная, на виду всех проживающих... К вам, чиновница-инспектор, такое же требование: освободите номер к полудню... заселяем других. Не советуем поднимать шум – очень сильно отразится на карьере... аморалка сейчас карается строго...

Подскочила разгневанная Полина Юрьевна, еле сдержалась, чтобы не надавать пощёчин наглой администраторше.

– Подавай заявление по собственному желанию, работать в гостинице не будешь.

– Коренная нарымчанка – не из пугливых... Удержись сама за тёпленькое местечко в Томске.

– Ах ты, дрянь, запугивать вздумала.

– От дряни слышу...

– Хватит ругани! – оборвал историк. – Убирайтесь обе.

Ошеломляющие, лавинообразные обстоятельства обрушились с утра: они не предвещали покоя мыслей.

«Капитанишка мстит... они из органов все с гонором... с генеральскими заскоками... Табак «Золотое руно» покуривает... помню аромат трубочного зелья... сам баловался трубкой, вырезанной из корня вереска... У офицеров могут быть одни пристрастия, но шкурничество – беда индивидуальная... Если бы собрал частушки времён действия НКВД – хоть сейчас на самолёт... Давно тяготит красноцветное время мая. Давно выталкивает меня городок, Обь поглядывает недружелюбно. Яр наэлектризован, исходит по ночам свечением загубленных душ... Прочь отсюда... Ночи две переночую у Киприана Сухушина... старичина добрый – не откажет...»

Вспоминал последнюю запись в дневнике: «Народ до сих пор не научился распознавать врагов внутренних. Они существуют, притом изощрённее, коварнее внешних супостатов...»

Пропажу дневника переживал до обмороков сердца. Временами оно переходило на полумёртвый режим. Пробовал прощупать пульс – он не подавал признаков биения. Участились головные боли. Нудной дрожью затряслись руки. Ладони покрывались липким потом... Не так часто историк, штрафбатовец Горелов чувствовал свой возраст. После кражи дневника грузно навалилась старость. Заныли раны тела и души. Время начинало обретать тяготы бессмысленности. Обесцвечивалось бытие. Кто-то с высот звёзд подавал сигналы никчемной вечности...

Долго не могла заснуть Октябрина с улицы Железного Феликса. Тяготил болезный фронтовичок, стонущий на перине. Учёный кот Дымок давно перестал общаться с недугами квартиранта, хотя докторская деликатесная колбаса доставлялась Васькой Глухарём с завидным постоянством.

Натану Натанычу снился странный сон: кудлатый бог обжигал горшки. Он заправски ставил большой горшок на широкую деревянную лопату и отправлял поделку в огромную русскую печь.

«Отче наш, дай помогу, – услужливо предложил снайпер военных времён, – смотреть больно на хилую твою фигуру...»

Охотно передал лопату бледнолицый бородач.

В руках нового мастера горшки странным образом превращались в оскаленные черепа и не хотели лезть даже в устье пышущей жаром печи.

Больной застонал.

Вдруг из нутра кирпичной машины показался огненный кулак и подлетел к лицу ветерана. Вспыхнули ресницы, брови. Оранжевое полыми втягивало голову в жерло огромного кулака – предвестника страшной беды.

Попав под гипноз обрушительного огня, сердечник со стажем стал дожидаться спасительной кончины. Она походила на вхождение в ад и вполне устраивала раскаявшегося грешника... Усилился нудный, затяжной стон.

Встала хозяйка, потрясла за плечо.

Квартирант лежал на спине, глаза светились страшным фосфорическим огнём.

Долго не мог прийти в себя человек с большим сердцем, травмированной душой. Сегодня сон не выпускал из огненной тайны.

Напуганная Октябрина зажгла свет.

– Натаныч... проснись... сон дурной прогони...

– Зачем разбудила? – осерчал сновидец... мир иной был так близок...

– Не долечился, соколик. Зря сбежал из больницы...

Когда подбелённая светом ночь полностью окунулась в темь, снайпер вышел на крыльцо и попал под гипноз живого огонька лампы. Успокоительное пламя посылало золотистые лучики.

Человек медленно побрёл на новый свет.

Зрение фронтового снайпера не совсем осеклось от времени мира: в центре двора различил табуретку, дымокурный череп на ней. Лампа стояла рядом, бросая нежные отсветы на опозоренную кость.

Сознание работало без сбоя.

Поставив доверчивый огонёк на донышко черепа, ветеран побрёл к калитке. Она не скрипнула в ночи, пугаясь лишнего шума.

Пространство улицы, носящей имя грозного поляка, уходило в перспективу ночи. Жидкий свет уличных фонарей не позволял Железному Феликсу скатиться в сплошную темноту.

Из черепа выбивался лунный свет.

Во дворе Красного Октября явилась спасительная мысль пройти с лампадкой мимо окон, совершить ночное запоздалое покаяние.

– Простите, люди, добрые... простите великого грешника Руси...

Держа череп, как драгоценный сосуд, Воробьёв обходил дом за домом, вымаливая прощение за себя, за равнодушную власть, за прикормленные государством органы внутренних дел.

Не твякнула ни одна собака. Не встретилось ни одного запозднившегося выпивохи.

С Оби налетел порывистый ветер, обрадовался огоньку лампады, словам покаяния.

Неожиданно под ногами качнулась земля. Натан Натаныч мгновенно припомнил сторожевую вышку Ярзоны. Вот так же происходило лёгкое землетрясение и тогда, только ночь была морозной и долгой, как вечность.

– Сползёшь в священную Обь и ты, Железный Феликс.

Слова были произнесены взволнованно и громко, даже пламя лампадки ощутило волнение ночного каяльщика.

Красный Октябрь шла по пятам. Она, ночь, избы, ветер с реки могли подтвердить на исповеди праведные слова покаяния.

Чудаковатый Васька Глухарь в благодарность за водку-хлеб-соль выставил лампадку у черепа в надежде на помощь святого огонька. Если Дымок перестал врачевать сердечника – навыки лекаря должны перейти к кадровому алкашу.

Утром с радостью узнал о покаянии полуночника.

К Нагану Наганычу явилась напускная весёлость. Запросил у Красного Октября чарочку. Сожалел о хрустальной рюмахе сапожком, оставленной у Варвары.

– Загостился я у вас, дорогая хозяйюшка, давно пора в град старинный возвращаться.

– Там и врачи – не чета нашим, – поддержала Октябрина.

– На врачей надейся – сам не плошай.

– Ты у меня, Вася, настоящий философ, – похвалил фронтовик. – Твоя лампадка меня воскресила.

– Какая лампадка? – схитрила удивлённая пенсионерка.

Она незаметно проделала весь путь раскаяния ч и к и с т а времён НКВД. Лампадку оставила на табуретке. Дымокурный череп упрятала надёжно – никакие сыщики не обнаружат.

На вопрос Красного Октября Губошлёп не нашёл ответа. Обсасывая ломтик колбасы, причмокивал от восторга:

– До чего вкусная! Не зря её Дымок обожает... Оставайся, Натаныч, у нас. Моя хата – твоя хата.

– Нет, кореш мой ненаглядный, в Колпашине мне жизни не будет...смертью сквозит каждый клочок земли... Поеду умирать на родину Сергея Есенина... рязанщина примет... Поэт меня не раз спасал.

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, чёрт их на землю принёс.
В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слёз.

Ни луны, ни собачьего лая
Вдалеке, в стороне, в пустыре,
Поддержись, моя жизнь удалая,

Я ещё не навек постарел...

... Пусть моя жизнь не удалая, но что постарел не навек – точно. За жизнь цепляться не надо – всё равно выскользнет из рук. Я, дорогие мои, прошёл ад НКВД и войны, хочется немного и в раю социализма посибаритничать. Уеду на реку – Оку, поселюсь в Константинове. Буду учить ребятишек снайперскому искусству.

– Натаныч, возьми меня с собой, – после съеденной колбасы Губошлёп смачно облизнулся, – буду верным твоим ординарцем... слугой.

– Пенсия не густая, чтобы слугу содержать. Обещанную мотолодку с сильным мотором куплю.

– И на том спасибо, – буркнул обиженный столяр, – меня Колпашино не отпустит. Тут я каждую речную протоку назубок знаю, каждый подводный карч в уме держу. На Оке рыбачить будешь?

– Обязательно. На фронте крючок с леской всегда при мне были. Правда вода рек кровью пахла, рыба клевала плохо: наверно уходила в чистые придонные воды... За Одером ссадил я с дерева вражеского снайпера. Позже при осмотре в кармане маскировочного халата такую же снасть удильщика обнаружил. Пошутил тогда: «Вот рыбак рыбака убил издалека».

– Мог и тебя грохнуть первым.

– Мог, Васенька, мог. За мной немецкие меткачи долго охотились. Меня в разведроте д е с я т о ч к о й прозвали. Фрицы листовку забросили: «Всё равно в «десяточку» пулю всадим».

Хозяйка слушала, вздыхала. Короткий военный эпизод привёл в глубокое раздумье.

– Не сидели бы мы с тобой, Натаныч, не выпивали за жизнь... И зачем войны проклятые придумали...

– Чтобы мир слаще казался, – подсказал весёлый Глухарь.

– У тебя на всё про всё всегда затычка найдётся.

– Хочешь знать, Красный Октябрь, я и винной бочке понадоблюсь. Пусть заткнут Васькой – всё содержимое высосу.

Октябрина косо посмотрела на свистуна. Давно собиралась спросить гостя о приёмном сыне Никодиме. Саиспаиха скупилась на правду. Рассказывала: Воробьёв увёз его крадом.

Всё было не так.

Устав от пьянок матери, от вечных разборок с новым энкавэдэшником, Никодим сбежал в Томск к Натану Натанычу. Получив прописку, женившись, стал выживать фронтовика из квартиры. Распустил слух: приёмный отец п о д б и в а е т б а б к и к его смазливой жене.

Оставив тёплый угол, снял комнату у Варвары.

Своих деток у доблестного фронтовика не было. До войны не успел обзавестись ими, а после тяжёлого ранения в пах доктора вынесли суровый приговор: никакую женщину дитём не осчастливишь.

– На Никодимку зла не держу. Молодёжь пошла хваткая, бесстыжая. Выпив, сын Прасковьи стал валить на меня тяжкие беды, творимые в застенках НКВД. Мать подогревала чувства ненависти ко мне. В письмах к Никодиму посылала проклятья к полумужу. Я не был полуотцом по отношению к её сумбурному сынку. Не стал судиться из-за квартиры... вручил ключи на серебряном подносе... с пенсии помогал.

– То-то Саиспаиха скрытничала, утаивала подробности.

– Октябрина Петровна, Прасковью тоже не виню. Каждый человек проходит дорогой ошибок.

– Непутёвая она, – подсказал Губошлёп.

– А ты путёвый?

От скорострельного выстрела взгляда Красного Октября Васька пригнул голову.

– Согласен. И я никудышный для общества человек. Но за правду на виселицу пойду.

– Сиди уж, висельник!

– Не груби, соседка. Уедет фронтовик, а нам с тобой вековать у Оби до смертного часа... Натаныч, хочешь я тебе диван по заказу сделаю. Меня считают толковым краснодеревщиком.

– Зачем он мне? Немного осталось разлёживаться на мягкой мебели... Скоро земелька мягкая позовёт... пухом будет – говорится при прощании с усопшим.

– Не разводите могильщину! – оборвала квартиранта Октябрина. – Такие мысли надо в тряпочке держать, не выпускать на свет божий.

– Красный Октябрь, а тьма – тоже творение божье?

– Чьё же еще – всё от Бога: власть и сласть.

– И наша власть – от Всевышнего?

Васька хитренько посмотрел на соседку: как она осилит каверзный вопрос.

– От Бога – великая, всесветная власть. С нашей пусть чёрт разбирается. Господь – святой властодержец... наш глупый народ – властоненавидец, своевольник. От того беды бедские приключаются.

– Что остаётся делать рабам?

– Ты, сосед, не раб. Рабы каждый день водку не хлещут, не бездельничают неделями.

– Не упрекай. Сейчас у меня заказов дельных нет. Мастерить скамейки да табуретки для промартели звание мастера не позволяет. Мне бы мебельный гарнитур замастрячить – пить брошу, буду неделями строгать, шлифовать, малиновой политурой покрывать. Я столяр – генеральского звания.

Кот Дымок произвёл затяжное мяуканье.

– Вот, даже лохматая животинка поддерживает Глухаря.

4

Несколько раз историк Горелов предпринимал попытки проникнуть в засекреченные архивы НКВД. Не допустили даже к личному делу.

Что же за тайны отлёживались на пыльных полках строгого комитета?

Дневник канул не в воду, попал не в огонь. Уверен учёный: его выкрали не без помощи коварной полячки... капитан новой госбезопасности привезёт улику в Томск... выслужится... получит благодарность... повышение.

Тягостнее всего было думать о потаскухе. Предать давнего любовника, предать нагло, открыто... Вот вам и Лавинская – обрушила внезапно лавину позора и унижения.

В номер сусликами прошмыгнули ребяташки.

– Вы Сергей Иванович Горелов?

– Так точно! С чем пожаловала юная гвардия?

Затараторили наперебой:

– Совсем недавно узнали...

– ... Что вы в нашем городе...

– ... Человек – легенда...

– ... Придите в школу...

– ... На урок о патриотизме...

С широкой открытой улыбкой слушал штрафбатовец гомонливую ребятню. Вот кто не покрылся пока плесенью вранья, открыт всем тёплым ветрам жизни.

– Вас кто надоумил?

– Классный руководитель...

– Историю преподаёт.

– Серьёзный предмет, – Горелов распечатал коробку

шоколадных конфет, принесённых Полиной с очередного проверяемого объекта. – Угощайтесь...

Свежим ветерком с Оби повеяло от стайки снегирей. Глазёнки блестят, щёки раскраснелись. Придётся отказать непоседам... не расположен читать лекцию о патриотизме на фоне вольных событий новейшей истории.

Только выпорхнула из номера последняя птичка, появился лейтенант милиции – коренастый малый со шрамом на лбу.

– Вы Горелов?.. Предъявите документы. – Поданный паспорт после двухсекундного осмотра исчез в кармане кителя милиционера. – До выяснения обстоятельств...

– Каких обстоятельств?! – в голосе Сергея Ивановича послышались нотки гнева.

– Через час вас ждёт начальник милиции... он вам всё объяснит.

Без стука вошла Полина Юрьевна, презрительно посмотрела на лейтенанта.

– Этот гусь уже здесь! Серж, нас приглашают на допрос о краже в продовольственном складе. Нашли в моём номере три баночки растворимого кофе, упаковку индийского чая со слониками...

– ...Вот такие конфеты, – добавил службист, осматривая коробку дорогих конфет, наполовину съеденных школьниками. – Придётся взять их, как вещдок...

Лейтенант милиции браво козырнул, удалился.

Немая сцена между подозреваемыми в краже фигурантами длилась несколько секунд.

– Серж, они охренели! Подозревать нас в хищении социалистической собственности... Это даже фантаст не придумает...

– Вот до чего довели подношения после ревизий... достукалась...

– Ты виноват! Зачем так дерзко прогнал из номера офицера госбезопасности...

– Сдаётся мне, твой капитанишко из разряда сотрудников г о с о п а с н о с т и.

– Он не мой... ты в такой же фирме служил... НКВД ещё подлее и коварнее был, чем наш орган из трёх почтенных букв.

– Послать бы его на три непочтенные буквы и куда-нибудь подальше.

– Что будем делать?

– Что ты будешь делать? Я со склада излишки не приносил коробками.

– Давали – брала. По такой вечной схеме умные торгаши живут. И не умные тоже.

– И у тебя паспорт забрали?

– Хренушки! Опытная – не дала... не отдала...

– Надо бы коллегу навестить в больнице.

– Сбежал он оттуда – в халате и тапочках... Вы из органов – народец чокнутый. – Полина победно посмотрела на растерянного любовника. – Всех вас надо через химчистку пропустить... О краже не беспокойся – найдут виновных. Кто-нибудь из складских лапу в добро запустил.

– Поля, как ты могла предать меня?! Верни дневник – прощу всё. Я не из тех мужей, которые волосы от ревности рвут...

– Прости, Серж, запуталась совсем... Проклинаю тот день, когда кагэбисту подмахнула – прости за вульгарность... ты для меня, как дорогая подружка, ничего не хочу и не могу скрывать... СМЕРШ, действительно надо переиначить: с м е р т ь ш л ю х а м... Ты не представляешь, сколько подстилок на службе... кто цианистым калием травится, кто петлю из капронового чулка смастерит... уходят самостоятельно... добровольно... Меня не однажды настигала мысль – покончить с

канителью лживого бытия. До чего же мы скурвились, ссучились, оподлились. Ведь и мужики в проститутов превратились. Г о м и к о в сначала вычислят, потом на тайную службу в органы забирают. И сексотят напропалую, собирают компромат на директоров заводов, на учёных, писателей, неугодных политиков...

– Перед тюрьмой разоткровенничалась?

– Да пошёл ты! Ему – другу – из души, как из лейки, родниковую водичку лью, он гнусные мысли в сердце запускает...

– Вот что, шпионка образца развитого социализма, из отеля-борделя нас гонят. Перекочую к старику Сухушину, тебя пусть капитан из органов трёх букв устраивает на ночлег.

– Бросаешь меня окончательно?..

– Бесповоротно...

За штрафбатовцем Гореловым никогда не тащился позор тяжким грузом. Страдал за правду сосланный в Нарым отец. Сыну тоже выпала привычная для русского человека доля страдальца. Бунтовал непокорённый дух, рвался на волю, но крепкие волосяные путы держали в широких границах беззаконья.

Славно прожить на земле не рабом, дышать чистым воздухом свободы. Но из русского духа давно выветрились запахи воли.

С крутояра далеко просматривалось синеватое заречье. Великая Обь, не показывая усталости, неслась к безмерной воде океана. Стайка легковесных облаков звала за горизонт, манила в заповедные края высот.

Недавно в принудительном порядке вода из-под сильных винтов обрушила плоть несчастного яра. Наплывный шум дизелей глушил грохот залежалых костей. В мешанине воды, песка, глины мелькали черепа,

конечности трупов.

Такого вандализма, варварства историк не мог припомнить, пробираясь памятью по туманным векам. Верхушка власти напрочь забыла о человечности, о благородстве, о покаянии.

Затопление останков явилось главным пунктом приговора прогнившей системе.

Май семьдесят девятого года стал заросшей межой, отделившей народ от болтливой партии. В неё проникли чуждые элементы, для кого Родина, Нация не казались святынями, а слово П а т р и о т и з м звучало пустым звуком.

Внутренние враги в Отечестве были всегда. Они маскировались под народных заступников, п л а м е н н ы х р е в о л ю ц и о н е р о в, партийных чинух высокого ранга. Сергей Иванович насмотрелся оборотней в просторных кабинетах. Сам он был не безгрешен: нарушал моральные устои, без разбора наступал на старые грабли дерзкого блуда. Вот чем обернулась очередная полулюбовная авантюра. Предчувствовал серую развязку отношений, но не до такой степени поражения.

Вода с лентой плескалась у подножия яра, в её медленном набеге чувствовалась непростительная вина. Природа мудрее человеческого сообщества: стихия воды извинялась за принудительное вторжение в параллельный мир двуногих существ.

– Ни в чём не виним тебя, Обь! – крикнул мудрец с израненным телом и покалеченной душой. – Мы... мы... только мы повинны в бедах природы, в страшном разломе нации.

Слова утонули в просторе.

Недавно у кромки крутояра стоял снайпер, прицеливался к прыжку. Мог шагнуть... уйти под воду вослед за пригруженными трупами. Короток путь из

реальности в нереальность... раз – и вычеркнут из жизни, только лохмотья души повиснут на выступающей береговой дернине.

В Томске на банкете в Доме Учёных выходца из ада однажды спросили:

– Пехота из шпрафбата ходила в психические атаки?

– Нет! – резко ответил фронтовик. – С психикой всё у нас было в порядке. Шнапса, как немцам, нам никто не давал. Мы шли в бой с осознанным желанием не первой крови – первой победы... Не показным героизмом смывали навязанную органами вину... Отступлений не знали... Мы были фронтовыми п е ш к а м и... Бегу, бывало, по минному полю и, словно, воочию вижу под землёй коварные тайники. Прыгаю, как по шахматной доске, в границах, отведённых жизни...

Память разложена по блокам: комендатура, Ярзона... ледяные Соловки... война... борьба после Победы... защита кандидатской... подготовка к докторской...

Рассуждал вслух. Слушала доверительная Обь.

– Зачем взял с собой накопленные дневниковые записи? Там жизнь, там боль, там раскопки пластов истории... На поклон к мстительному капитану не пойду: дневник не вернёт, только сердце унижу...

За спиной вырос Васька Губошлёп.

– Лекцию Оби читаете? Приветствую славного гвардейца!

– Здравствуй, земляк.

– Вас Натаныч ищет. В Томск собрался лететь.

– Здоров?

– Не бык, но за овцу сойдёт... Память у него отшибает... лечу, лечу – без толку. Иногда речами умными поливает, Есенина подолгу читает... душевно поэта любит. Порою меня не узнаёт, хозяйку с томской Варварой путает.

– Пойдём, навестим.

– Здравия желаю, славный лейтенант госбезопасности!
– Привет, Натан!
– Можешь и Наганом называть. Не обижусь.
– То имя давно ржавчиной покрылось.
– Вспомнил высказывание Бунина: «Что за странная и страшная вещь наше существование – каждую секунду висишь на волоске!»

– У Лескова не хуже афоризм: «С умом на Руси с голоду издохнешь...»

Глухарь облизнулся.

– Академики, встречу надо обмыть... росой незабвения...

– Наливай! – скомандовал штрафбатовец.

Бумажник Натаныча пустел день ото дня. Ординарец Глухарь вышвыривал из кожаного гнезда бумажных птенцов с опытом завязанного фокусника. Устыдила Октябрина:

– Сосед, не орудуй так прытко... месячную пенсию инвалида к смерти приговорил.

– Скажи, Красный Октябрь с улицы Железного Феликса, куда ты череп священный затырила? Я лечение Натаныча не закончил... мне кость из тридцать восьмого года ещё понадобится.

– Сиди, мозгоправ! Людей до смерти пугаешь...

– Не права: до жизни возвращаю.

В милиции извинились, вернули штрафбатовцу паспорт.

– Работники торговли напрасно шум подняли. Распихают дефицит по разным подсобкам, потом эти бурундуки забывают – где прятали орешки золотые... Говорят, вы лейтенантом госбезопасности были при Ежове...

– Был, но не в этой жизни...

– Рассказали бы личному составу горотдела милиции о службе чекистов далёких лет. Все мы под шинелью Дзержинского греемся...

– Вот блох, наверно, накопилось...

Выйдя из милиции, Горелов встретил Полину Юрьевну.

– Освободили уже? – с веселеньким ехидством спросила шпионка. – Серж, не гляди волком – я постаралась. Промыла мозги кое-кому из торготдела – всплыли все коробки.

– Пусть всплывёт дневник...

– Вывала к совести капитана – клянётся честью офицера – не знает, о чём речь.

– Честь и у собаки есть... Ты где устроилась?

– У подруги... холостякуем... коньячок КВВК попиваем... присоединяйся...

– Не обидишься, если по-другому расшифрую аббревиатуру коньячной марки?

– Валяй! Ничего хорошего не жду от грубияна.

– Курвы Выдержанные Высшего Качества...

– На сей раз угадал: обе п р о й д ы ещё те... Да и ты не святой. Сколько раз тебя за аморалку трясли в институте?

– Всего два раза.

– И Светку – подругу тоже два... Ты знаменитую поэму о Луке Мудищеве читал, помнишь строчку: «На передок все бабы слабы...» В любом веке ценный бабий т о в а р в п о д с о б к е очень дорого стоил. И по дешёвке разбирали...

Обезоруживающая исповедь полячки приводила учёного в хмельное замешательство... Захотелось тесной встречи с бестией.

– Подруга на работе?

Всё понявшая любовница повертела ключом от квартиры холостячки: Горелову понравилось совпадение цифр разборок за аморалку.

Плёлся бычком на заклятие.

Недавно клялся своей душе – никогда не влетать в объятия очаровательной полячки. И вот вызграло позорное слабоволие. Давно собирался жёстко проучить плоть, но она уклонялась от ударов и похихикивала над умником...

Среди майской ночи фронтового снайпера вновь посетил двойник-подселенец. Он не зверствовал, не душил, не бил наотмашь. Огненная рука приглаживала редкие волосы ветерана, давно награждённого именованным наганом.

Двойник-подселенец умильно смотрел из зазеркалья на пригорбленную фигуру хозяина и артистично декламировал:

Цветы мне говорят – прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Её лицо и отчий край...

Двойник исчез...

Сердце проваливалось во тьму...

Великая Обь, испытывая радость от вольного бега, спешила к океанским просторам. Её вполне устраивали границы отведённых природой берегов.

Могучий опозоренный Яр хранил смертное молчание.

Песок веков вложил в нетленную память грустную череду недавних событий...

Старенькая изба Октябрины давно была напугана близостью отвесного яра. Испуг, наверно, передался старинным часам. Однажды ночью ходики сорвались со стены, грохнулись об пол. Маятник погнулся, цепочка

разорвалась.

Остановилось механическое время, но космическое продолжало путь тихим уверенным курсом...

2010 – 2012 гг.

Томск – Академгородок.

Примечание: Роман «Тот самый яр...» впервые опубликован в журнале «Начало века». №№ 3,4 за 2013 год.

Адрес: Россия. Томск. 634055, ул. 30 – летия Победы, дом 9, кв.50. Колыхалов Вениамин Анисимович.

Дом. Тел. 49 – 25 –18.

Сот. Тел. 8.923.419.9430.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая	5
Глава вторая	82
Глава третья	123
Глава четвёртая	169
Глава пятая	231
Глава шестая	279
Глава седьмая	305
Глава восьмая	348